



Михаил Шолохов завершил роман «Тихий Дон» в свои 35 лет, и он по современным меркам был молодым писателем. Все авторы «Первой тетради» журнального номера не перешли этот возрастной рубеж.



Российский ордена Дружбы народов литературно-художественный ежемесячный журнал



Издаётся с апреля 1925 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ		ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ	
Марина Марьяшина		_ ПРОЗА	
ОБРЕТЕНИЕ НАЧАЛА. Стихи	3	Геннадий Соловьёв	
Наталья Новохатняя		ВОЛК. Рассказ	108
КАБАРЕ.		Мария Бородина ЛЕСТНИЦА СО СЛОМАННЫМИ	
ПОД НАСТОЙЧИВОЙ КИСТЬЮ.		СТУПЕНЯМИ. Повесть	125
УЛИЦА ЧКАЛОВА. Рассказы	9	Михаил Моргулис	120
Владимир Антипов		ЗОЛОТАЯ НИТЬ. Рассказ	201
НЕБЕСНАЯ СТЕПЬ. Стихи	32	_ ПОЭЗИЯ 	
Елена Тулушева		Анатолий Аврутин	
ДЕВЧОНКИ.		ВОССТАНЬ НАД БЕЗДНОЙ	98
ПЕРВЕНЕЦ.		Максим Ершов	116
НИКА.		ПРЯМОЙ ВЗГЛЯД Александр Макаров-Век	110
Рассказы	37	КРАСНЫЙ УГОЛЬ	193
Людмила Клочко		Александр Паксиваткин	
ОДНАЖДЫ СКАЗАНО. Стихи	50	НАКЛОНИЛАСЬ К ОМУТУ	
Андрей Тимофеев		РЯБИНА	206
ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР.	56	Александр Радашкевич	010
НА НЕСКОЛЬКО МГНОВЕНИЙ.		ДЫМ ОБУГЛЕННЫХ БЕССОННИЦ Сергей Крюков	213
Рассказы	61	ХОЛСТ	219
Елена Грозовская		_ ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИКИ	
ПОЛЫНЬ-ЛЕБЕДА. Стихи	67	Евгений Шацкий	
Юрий Лунин		СЛЕДУЯ ЧЕХОВСКОЙ	
ПРУДКА. Рассказ	73	ТРАДИЦИИ	223
Мила Машнова		_ СВИДЕТЕЛЬСТВО	
ХАРЬКОВ – МОСКВА. Стихи	81	Виктор Петров	
Алёна Белоусенко	0.5	ЖДАНОВ, МОЖАЕВ, КАРЯКИН	235
ДОЧКИ-МАТЕРИ. Рассказ	85	НАШ ШОЛОХОВ	
Алёна Малиновских	٥٢	Иван Гаранин	
ПОСЛЕДНИЙ МОСТ. Стихи	95	БЛИЗКИЙ КРУГ	240
		1	

Марина Марьяшина

ОБРЕТЕНИЕ НАЧАЛА

* * *

Воздух этот – густой, колючий, как в первый день, Поселился в тайге, спустившись с Уральских гор, Как дремучий старик, репейником поредел И кривые белёсые когти вонзил в бугор.

И остался он здесь, крепчая на пустырях, Разговляясь к зиме, сбивать человека с ног И на горках кружить укутанных пострелят, Чтоб никто никуда уйти от него не смог.

Молодые блёкли, кукожились старики, Устремлялась вода, и рыба на ней спала. И никто не ходил за город и в брод реки, И катилось холодное солнце на край села.

А за краем села, в болотах, в глухих местах Янтарилась брусника, плясала лесная чудь; До рассвета судачили, кто говорить мастак, И струился ровней дымок от ночных лачуг.

И казалось, что небо, прибитое на гвоздях, Растрепалось на нитки, когда я шла по лесам. И шумело вокруг, и в душу струил сквозняк, Выдувая искон и становясь исконом сам.

Оставьте осень во дворе Чернеть обугленными вётлами, И день, обрубленный на треть, И копоть солнца полумёртвого,

И тишину на шесть шагов Раскачивающейся комнаты, Где мир и Царствие Его Окном заклеенным разомкнуты.

К чему белила наносить, Рядиться в платье подвенечное, Когда, кровавей Хиросим, Закат чадит над человечеством,

И правда корчится в бреду Последней прихотью пресыщенных, О том, что завтра снег дадут И ничего за то не взыщут с них.

* * *

И метнуло меня через сон в темноту декабря, Где ревут под ботинком до крови разбитые лужи. У чужих и стеклянных глаза с пустотой говорят. Научите меня. И пускай безучастное глушит,

И пускай заливает глаза свежевыжатый свет: Электрический рай сквозь сырое окно электрички. Если я не онлайн, это значит: меня уже нет, А слепой объектив принимает лицо за обличье.

Лайкни фото моё, здесь любовь обращается в ноль, Обрастает корой и горой безучастного хлама. Да простит нам Господь, у которого фото одно Бесполезно висит на груди деревянного храма.

Не мозоль глаза, не ходи окрест. Гребень под ноги выпадет – встанет лес. Ни души, ни голоса, ни жилья, Льётся эхо стеклянное на поля.

Проще – спрятаться, лучше – залечь на дно В лёд врастать – не гнить. И не холо-дно. И лицо свежо, и душа молчит. Вот и день прошёл холостым, ничьим.

Белый кречет за море улетел. Здравствуй, суженый, – вьётся у ног метель. И струится воздух, как самогон, На снежок, раздавленный сапогом.

Во гробу хрустальном уснула плоть Не резон теперь пустоту молоть. Спи да ешь, да пей, да расти большой. День прошёл. Глядишь, вот и век прошёл.

* * *

От Болшево до Подлипок – полпарка и гаражи. Пустое четверостишье, засохшая резеда. Чтоб солнце весь день горело – На цепь его привяжи, Из мусора и окурков поэзию созидай. «Да чтоб тебе было пусто,» – мне комната говорит, А окна откроешь – то же, и ветер горяч и жухл. От Болшево до Подлипок – проносятся фонари, Окно запеклось от пара.

- Выходите?
- Выхожу.

Прошлогодняя тает вода, отворяется боль, Как худое окно на пустырь, оголяющий рёбра. Уходящий февраль в чёрно-белом зовёт за собой, И старуха навстречу несёт опустевшие вёдра.

Убывает луна, превращается в лунку, куда Расщепляясь на свет и пыльцу, уплывают растенья. Ветер воет в полях, это ртом шевелит темнота – Первобытный приют, так похожий на девичье пенье.

Что останется нам? Слишком много случилось до нас, Сытых дедовским хлебом, умытых водой прошлогодней. Это мы убываем. И лунный смыкается глаз, Да Симурги крылатые воют из всех подворотней.

* * *

Чьё-то окно, ты смотришь на гаражи, На магистраль, на снег, поражённый оспой. Шторам приснится солнечный Геленджик, Квас ледяной, чурчхела, табак и осы.

Маленькой мне за шиворот лезет снег, Над головой смыкается белый купол. Папа! – кричу, – мне холодно! И во сне Он, как живой, сквозь снег, подаёт мне руку.

Улица, осень, зачем тебе эта муть? Спим и сидим – зашторены и свободны. Стали мы старше, строже. И потому, Как в детсаду, не ходим за руки по два.

Ходим одни, наматываем круги, Чёрные окна пялятся на прохожих. Мы ещё живы. Господи, помоги. Мы ещё живы, значит, мы что-то можем... Чувствую, как рушатся опоры, Заплывает кто-то за буйки, Кверху брюхом, надвое распорот, Над землёй кровавит рыба-кит. Площади полны химер и чудищ, Полых изнутри папье-маше. Смотрят на тебя, а ты не чуешь, Темноту хранишь среди вещей, Надеваешь новое, как тело, Принимаешь форму и фасон Вбитый в быт, зажатый до предела, Бытию удобного во всём.

* * *

Потому что не надо молчанием душу сверлить, Деревянное время тик-так – и похоже на жизнь. Сколько было до нас: не догнал, поскользнулся – верлибр. Притворись будто спишь, но не спи и тихонько лежи.

Не смотри на меня, разукрашенный панцирь тоски, Не качай головой, не толкуй о карьере и целях. Притворяйся, что спишь и не помнишь Великую Скифь, Что поила ветрами и сроду была на прицеле.

Притворяйся что спишь. И не страшно проходит зима Между утром и днём, между улицей и кабинетом. У кого ничего не болит, тот не сходит с ума, У того есть семья и работа, а родины нету.

Накупи себе разных вещей и закутайся в них, Проживи как другие, не хуже Европ и Америк. Телевизор поёт: «только миг, ослепительный миг...» Притворяйся, что спишь, только я ни за что не поверю.

И нет ни горницы, ни света, Ни пресловутого угла, Чтоб память, как ночная Сетунь, Своё начало обрела,

Чтоб не болталась по бульварам, Как по полю сухой колтун, Летя легко и промтоварно То в эту сторону, то в ту.

И вот, уже не замечаешь Как люди ходят сквозь тебя: В лохмотья кожу измочалят И волосы истеребят,

Как будто ты уже не с ними Скользишь по глади хрупких вод Над вымерзшими мостовыми. И снег идёт, идёт, идёт...

г. Заводоуковск, Тюменская обл.

Наталья Новохатняя

КАБАРЕ

Рассказ

Тома была продавщицей. Не из тех, наспех состряпанных девяностыми из очкастых филологинь, громкоголосых учительниц и прочих дам с лопнувших НИИ и дышащих на ладан заводов, — о нет! Тома была продавщицей самой настоящей. В советские времена она даже окончила кишинёвский торговый техникум по специальности... да бог с ней, со специальностью, главное — окончила. И как только в её маленьких, но на удивление цепких ручках оказалась твёрдая, ещё пахнувшая типографской краской корочка диплома, юная Тома с головой погрузилась в мутные воды торговли.

Более опытные товарки быстро обучили её, как заработать на дефиците и как завести полезные связи. Науку двойного обмана доверчивых покупателей и ушлого начальства Тома освачвала постепенно и уже сама, вначале стыдливо прикрываясь фразой «надо же как-то жить», а потом и вовсе войдя во вкус. Правда, муж Васечка (к тому времени Тома успела выскочить замуж) жаловался, что её ночное бормотанье типа «не бейте меня, я всё отдам» мешает ему спать. Но Тома только отмахивалась – не бреши.

А вот девяностые, раздаривая направо и налево кооперативные киоски, французского происхождения бутики и высокомерно посматривающие чистенькими, будто вылизанными, стёклами магазины, Тому обошли стороной. Как раз тогда в самых что ни на есть муках родилась её ненаглядная Ирка. Поэтому время, отмеченное не только бутиками с довеском в виде бритоголовых братков, но и злобой, пенящей рты молдавских националистов, кровью, пролитой на бендерском мосту¹, истерией повальной еврейской иммиграции, для Томы навсегда пропиталось безгрешным запахом грудного молока.

¹ Бендерский мост* – речь идёт о вооружённом конфликте в Приднестровье (1992 г.)

Но ворошить прошлое Тома не любит. А если и канючила порой ненаглядная Ирка, ма, а какая я была маленькая, сразу обрывала — некогда мне, у отца спроси. И безотказный Васечка, неспешно перебирая губами, рассказывал и про самый первый многострадальный молочный зуб, и про ма-па, тоже первые, невнятные, с царственной важностью перенесшие весь шквал слюнявой родительской радости, и про многое другое. А непоседливая Ирка на удивление тихо сидела рядом, и только светлые глаза её задумчиво смотрели куда-то вдаль, Васечкины глаза.

На самом деле жизнь у Томы с тех пор мало изменилась. Она по-прежнему в продавщицах, также по-птичьи быстро вспархивает со стула, и звенит навстречу покупателям её фирменное «что желаете?». Правда, нет больше ни будто подсвеченной изнутри фарфоровой кожи, ни гибкой талии, к которой так и тянулись жадные до обладания мужские руки, ни аристократически тонких лодыжек. Что поделать – возраст.

Зато, словно в утешение, время наградило Тому пышной, как дрожжевой пирог, нет, как два дрожжевых пирога, грудью. В такую грудь хочется уткнуться и плакать, плакать, пока не выплачешь все беды мира. И Тома охотно подставляет её всем желающим мужского пола, никого не обижая невниманием, даже Васечку. Впрочем, тот сдобным прелестям жены всё чаще предпочитает стаканчик доброго домашнего вина. А Тома и не переживает, вот ещё, из-за Васечки переживать, у неё для переживаний Ирка имеется да вон работа, будь она неладна.

Работает Тома в парфюмерном бутике. Куда там скудным промтоварным отделам, в которых она когда-то начинала! Здесь всё поражает изобилием и роскошью. Все эти переливающиеся в лучах искусственного солнца изысканные флаконы, эти круглые, квадратные, большие и маленькие бутылочки, эти разноцветные коробочки, упакованные в раздражающе скрипящий целлофан, но без него нельзя, как же без него, не будет ведь никакого шика. А ласкающие слух названия, которые можно произносить только с придыханием и никак иначе?

Но главное, конечно, не это, и уж совсем не бутылочки-коробочки, а мускусные, цветочные, цитрусовые и ещё чёрт знает какие ароматы, волшебными джиннами притаившиеся внутри. Впрочем, как их ни прячь, наружу всё равно выбираются. Душистыми волнами носятся они по бутику, а потом и вовсе сливаются в единое умопомрачительно-пахучее облако, попадая в которое млеют и капризные покупатели, и восторженные продавщицы, и вообще все. Одна Тома кривится – глаза бы не глядели, вернее, нос не чуял. Оно понятно: целыми днями талдычить про ноты сердца, ноты базы да всякие тренды-бренды. Ладно бы, покупали, а то поспрашивают-поспрашивают и уходят. Не покупатели, экскурсанты музея, прости господи. Ну ничего, дотянуть бы до весны, а там придётся что-то решать.

Решать можно было только одно — уезжать. Давно ли молдавская земля, благодатная, щедрая, могла обласкать и своих, и чужих, но только с тех пор многое изменилось. Вот и уезжают сейчас все кому не лень, кто на работу, а кто и вовсе на постоянку.

Постоянку Тома отмела сразу, поздно ей, да и боязно, а по поводу работы... Бывшая товарка, третий год подряд выносящая судно за выжившей из ума итальянской старухой, и, как все гастарбайтеры, мигом подсевшая на окультуренное, европейской выделки, счастье, звала Тому в Рим.

Обхаживать чужую старость Томе не хочется, но ненаглядную Ирку иначе не поднять. На Васечку рассчитывать нечего. Толку, что рукастый, а как пришёл смолоду на свой завод, так и застрял, и никакими пассатижами его оттуда не вытащить. А ведь уговаривали, оклад приличный обещали — упёрся, как баран. Не брошу, говорит, родной завод, и точка. Вот и жди, пока родной завод твою преданность оценит или хотя бы зарплату за прошедшие полгода выплатит.

Между тем подходило время обеда, а кроме уборщицы, едва скользнувшей по полу шваброй (а что, и так чисто), в бутик никто больше не заглядывал. Может, сглазили? Неприятные мурашки в испуге разбежались по телу.

Когда из бывшей пионерки-комсомолки Тома успела стать не то чтобы верующей, но суеверной уж точно, она и сама не знала. Только не менее старательно, чем в школьном актовом зале вслед за звонкой пионервожатой повторялось «перед лицом своих товарищей торжественно обещаю», теперь бормоталось «иже еси на небеси», причём бормоталось по любому, самому пустяковому, поводу – про не поминать всуе Тома, похоже, просто не слышала.

На этот раз одной молитвы показалось ей недостаточно. С трудом согнувшись из-за выпирающего валика живота, кряхтя и охая, Тома полезла в пыльный, заваленный разным хламом прилавок и извлекла на свет припасённую для таких случаев бутылочку со святой водой. Благословенные брызги щедро окропили бутик. Теперь торговля пойдёт, не может не пойти.

Но то ли вода была несвежей, а значит, не такой действенной, то ли по какой другой причине, только покупатели всё не появлялись.

Оставалось ещё одно средство, последнее. Правда, средство это одинаково не одобряли ни грозные хозяева бутиков, ни высокомерная администрация всего торгового центра, зато действовало оно безотказно.

Дело в том, что стоило выпить на работе стаканчик-другой водочки ли, винца, да и любого другого горячительного напитка, как клиент шёл косяком. Объяснить этот феномен продавщицы не то что не могли, даже не пытались, справедливо полагая, что важнее не объяснение, а конечный результат.

Оксанку с Лилькой, девчонок из бутика напротив, от нечего делать выщипывающих друг другу брови и рискующих в итоге остаться вообще без них, долго уговаривать не пришлось. Закуску решили купить здесь же, в центре, а вот беленькую – в магазинчике через дорогу, там дешевле.

Это же не просто так, а для дела, неизвестно перед кем оправдывалась Тома, шелестя по прилавку купленной ещё утром, но так и не прочитанной газетой. Уютно расположившиеся на газете коробочки с салатиками почти полностью закрыли статью о престарелой, но всё ещё неугомонной певице, которая... впрочем, это уж точно не важнее салатиков. Как и влажных от рассола близнецов-огурчиков – дружной семьёй устрочлись на тарелке – и от души нарезанного хлеба, на крупных белоснежных кусках которого застенчиво розовели соблазнительные колбасные кругляши.

Но то, ради чего всё затеяно, на прилавок не выставляется. Волшебным зельем льётся оно в пластиковые стаканчики, внизу, чуть ли не на полу, прячась не столько от усмехающегося с пониманием охранника, для верности подкупленного сложносоставным бутербродом, сколько от любопытных тёток из бухгалтерии (бегают туда-сюда, как чуют, заразы!), чтобы наконец очутиться в нетерпеливых руках продавщиц.

– Ну, за торговлю! Чтоб пришли и сразу всё купили! – по-деловому кратко говорит Тома и одним махом опрокидывает стаканчик в рот. Девчонки хоть и морщатся, но не отстают, уж очень хочется, чтоб всё так и было.

За первым стаканчиком галопом мчится второй, и уже никуда не торопясь, степенно шествует третий.

О закуске Тома с девчонками тоже не забывают. И только отдав должное и салатикам, и колбаске, одобрительно похру-

стев огурчиками – для магазинных очень даже ничего, сытые, расслабленные, заводят разговоры.

А поговорить всегда есть о чём, к примеру, о нерадивом правительстве, в котором сплошь одни ворюги, и им бы наши проблемы, или о последних платёжках за квартиру, вот и я говорю, проще сразу в гроб, да нет, какой гроб, хоронить сейчас так дорого. Неодобрительно поцокали языками на вконец распоясавшихся националистов и уже взяли было курс на пресловутую Италию, как подала голос молчавшая до сих пор Лилька.

Надо сказать, что Лилька вообще неравнодушна к Томиному бутику, вернее, не к самому бутику, а ко всем этим дремлющим по стеклянным полкам бутылочкам-коробочкам. Из особенно полюбившихся мысленно был даже составлен список, который всё удлинялся и удлинялся, уменьшая и без того низкие шансы завладеть ароматными сокровищами всеми сразу. Вот если бы чудо...

Но чудо явить себя не спешило, и Лильке оставалось только вздыхать. Да ещё с какой-то чуть ли не обидой поглядывать на Тому — неужели той действительно ничего не нравится, из парфюмерии, в смысле? Может, не в её отделе, а вообще.

Обижалась Лилька, как правило, молча, а тут вдруг не выдержала – спросила.

Ну и дурища, совсем голову потеряла от всех этих ивсенлоранов, шанелей и прочих гуччи, пожимает плечами Оксанка. Сказать бы что-то злое, едкое, да неохота, ещё и губы как-то странно отяжелели. Она не пьяная, нет, лишь самую малость.

Зато Тома, чья словоохотливость после нескольких стаканчиков обычно возрастала, с удовольствием откликнулась. Да, были одни, Кабаре назывались. Аромат группы шипровых, цветочных. Верхние ноты: пион, ландыш, роза; ноты сердца...

Дойдя до сердца, Тома запнулась и только многозначительно покачала головой. Потом, чуть прикрыв голубоватые, в тонких прожилках, веки, отчего её тёмные, почти чёрные глаза сделались сладострастно-томными — ну точь-в-точь как у красоток из глянцевых журналов — принялась рассказывать.

История была, конечно же, любовной. Девчонки слушали, раскрыв рты. А Тома, виртуозно вывязывая петли событий, имён, подробностей, плела затейливый словесный узор. И какая разница, что всё это от начала и до конца было полным враньём, – кому, в сущности, нужна эта скучная, ничем не примечательная правда? А вот почему, зачем в самом центре узора оказались ни в чём не повинные духи Кабаре (золотисто-красная с тон-

кой талией бутылочка, больше похожая на шахматного ферзя, чем на легкомысленную, взметнувшую юбками кафешантанную танцовщицу), остаётся только гадать. Может, чудилось в названии что-то нездешнее, какая-то иная жизнь, которую не знала и знать не могла обыкновенная продавщица, да только кто ж её разберёт, эту Тому...

Совсем скоро стало не до историй. То ли средство, наконец, подействовало, то ли по причинам более прозаического свойства – конец рабочего дня, пятница, и почему бы не побаловать себя после трудовой недели, – только сонные коридоры центра зашевелились, ожили, пошёл долгожданный покупатель.

Оксанка с Лилькой умчались к себе, а Тома отяжелевшей ланью заметалась по бутику. И вот уже сурового вида мужчина методично отсчитывает купюру за купюрой за сто миллилитров чего-то очень брутального, а гривастая девушка, что та лошадка копытом, нетерпеливо постукивает ухоженным ногтем возле широко разрекламированной паточно-сладкой новинки. Сейчас, сейчас.

Напрасно плакали майонезными слезами салатики, о которых как-то разом забылось. А когда, после прощальных реверансов с покупателями (благодарю за покупку – и вам спасибо, приходите ещё – обязательно), всё-таки вспомнилось, салатики выглядели так неаппетитно, что участь их была решена окончательно и бесповоротно – в мусор.

Но волшебное средство выливать нельзя, ни-ни, ни в коем случае, его надо допить. И Тома допила.

Тётки из бухгалтерии – вот ведь заразы! – понапридумывали потом всякого. Будто напилась Тома до такой степени, что стала приставать к зашедшему на свою беду в бутик покупателю. Когда мужчина деликатно попытался её урезонить, то был расстрелян на месте прицельной очередью неприличных (читай: матерных) слов. После чего Тома и вовсе впала в буйство – расколотила целую кучу бесценных бутылочек. И расплачиваться ей теперь за них до конца жизни.

Брехня, конечно. Ни к какому мужику Тома не приставала, разве в шутку, и разбила всего-навсего один флакон, да и то случайно. Но воняло, как от целой кучи, это да.

А потом Тому вообще увели. Перепуганные Оксанка с Лилькой вызвонили и Васечку, и ненаглядную Ирку, и те мигом примчались. Сутулый, с помятым лицом, Васечка и его улучшенная копия — ненаглядная Ирка. Заботливыми ангелами-хранителя-

ми подхватили они Тому под руки и повели. Но она всё-таки успела махнуть на прощанье пухлой, ещё в советском золоте, ручкой – пока, мол.

Пока-пока, Тома.

* * *

Не знаю, что меня поразило больше: то, что на месте дорогого парфюмерного бутика стояли теперь абсолютно голые, в неопрятных разводах, стены, или то, что вместе со всеми бутылочками-коробочками исчезла, испарилась забавная продавщица Тома. В любом случае, настроение моментально скисло позабытым на жаре молоком.

Извините, вы не знаете...

Две молоденькие продавщицы из бутика напротив знали всё. Оказалось, парфюмерия съехала ещё три месяца назад, аренда дорогая, и вообще. Да вы не расстраивайтесь, у этой фирмы бутики по всему городу разбросаны. Хотели именно у Томы? Это невозможно.

Невозможно. Слово отозвалось гулким от одиночества тупиком (как насмешливо переглядываются помноженные на три окна!), а откуда-то, не иначе как из разлинованного автомобильного пространства, идеально-круглым фантомом выплыл строгий дорожный знак. Тот в красно-белом цвете молчаливо подтвердил, да, мол, проезда нет.

Только чего вдруг засуетились дурные предчувствия? Ясно же, что такие, как Тома, не созданы для трагедий, что трагедии, едва задев их рукавом чужой жизни, бегут себе дальше, искать кого-то более подходящего. Но предчувствия, знай, нагнетали: как же так, совсем ведь не старая, совсем не...

Нет-нет, ничего такого, словно прочитав мои мысли, успокоила одна из девушек. Просто Тома теперь в Италии. Как что делает, за старушками ухаживает, что же ещё.

...Путь к выходу из центра показался очень длинным, хотя и не длиннее дороги к изрезанному средиземноморскими волнами щеголеватому итальянскому сапожку. Почему-то подумалось, что Тома уже вовсю болтает по-итальянски. Да нет, вряд ли, разве что отдельные слова, все эти певучие «грация», «скузи», «мольто бене», «арриведерчи»...

Но скоро я про Тому забыла. И неудивительно – суетливый и шумный, меня подхватил, закружил город. Он мчался потока-

ми разноцветных машин, подмигивал расшалившимся светофором, дружелюбно вилял хвостом пробегавшей мимо собаки. Он был совсем неплохим, этот город, особенно сейчас, по весне.

А весна была повсюду. Будто надушенная самым прекрасным на свете парфюмом, весна благоухала ароматными вишнями и яблонями, ещё тянулась в небо стройными свечками каштанов, изо всех сил набирала липовый цвет, и была она неповторимо, невозможно хороша, уж поверьте мне на слово.

ПОД НАСТОЙЧИВОЙ КИСТЬЮ

Рассказ

Ну что, приступим, – сказал Марк и шагнул к мольберту.
 И в решимости, что была написана на его лице, я прочитала собственный приговор.

...Всё началось с прикосновений, они будто задались целью вырвать меня из дрёмы, бывшей до этого моей единственной реальностью. Меня тормошили и тормошили. Потом отовсюду хлынул яркий свет, и мир открылся мне во всей своей пестроте и суете. Однако это не было полным пробуждением, ещё нет. Настоящее пробуждение наступило позже, когда, заслоняя мир, на меня надвинулось нечто. Через мгновение (знание необъяснимым образом вливалось вместе со светом) стало ясно: нечто – это лицо, точнее, лицо мужчины. Оно неприятно поразило меня. Трудно было представить что-то более несовершенное, чем эти хаотичные линии – они разбегались и сбегались, как им заблагорассудится, образуя углы и скосы назло всем законам гармонии. Смотреть на них не хотелось, и если бы у меня был выбор... Тем временем два чёрных влажных глаза внимательно изучали меня, а мясистые губы беззвучно шевелились. Было в этом шевелении что-то пугающее. А когда длинные узловатые пальцы потянулись ко мне, я, обречённое на неподвижность, внутренне сжалось. Он не мог этого знать (или почувствовал?), но рука повисла в воздухе, так и не дотронувшись до меня.

«Всё хорошо...»

Оказалось, я понимаю слова. Но не они рассеяли мои страхи – голос, низкий, густой, успокоил и одновременно заставил

трепетать. Удивительный голос! Он почти примирил с некрасивостью его обладателя. Впрочем, так ли он некрасив? В поисках ответа я вглядывалось в мужчину, попутно отмечая рассыпанные по плечам иссиня-чёрные волосы, атлетическую фигуру, которую не могла скрыть даже мешковатая одежда... Именно тогда я впервые ощутила наплыв своего пола. Что-то внутри меня откликнулось на несомненную мужественность обладателя голоса и, откликнувшись, качнулось в противоположную сторону. Рядом с таким плюсом я не могла стать ничем иным, кроме как минусом. А мужчина уже отвернулся от меня. «Всё хорошо, друзья, всё просто замечательно!» В ответ засмеялись, зааплодировали, закричали на разные голоса: «Марк, ты молодец!», «Ура художнику!». Десятки рук с бокалами взлетели вверх, и льющийся с потолка свет раздробился в тонком стекле.

Неподвижная и безгласая, я только и могла, что смотреть. На мужчин с бесстрастными глазами, женщин с щедро накрашенными лицами. Казалось, все они исполняют какой-то замысловатый танец. Вот, меняясь друг с другом местами, они перемещаются по комнате. А то сбиваются в группы, и шелест одежды сменяется шуршанием голосов. Скоро я поняла главное: эти люди поклонялись успеху. Сегодня успех олицетворял Марк. Мужчины одобрительно хлопали его по плечу, женщины норовили на этом же плече повиснуть. Такова магия успеха – все хотят к нему прикоснуться, даже просто физически. Меня они не замечали. Лишь однажды чей-то перекошенный рот обронил непонятную фразу. «Силки для новой птички», - прозвучало это или что другое, я не знаю, но я ещё долго чувствовала на себе липкий взгляд. И, конечно, Марк – тот, беседуя с одним из гостей (обтянутая пиджаком мощная спина, голый, в световых бликах затылок), всё поглядывал в мою сторону, и потаённая мысль, что плескалась в глубине тёмных зрачков, странно волновала. Но выловить её не было никакой возможности. оставалось лишь надеяться, что всё прояснится само, а пока...

Они были здесь повсюду. Мы смотрели друг на друга, так смотрят кровные родственники, машинально отмечая разницу и – удивлённо-благодарно – общность. Я должна была казаться им младшей сестрой, несмышлёнышем, у которого всё впереди, тогда как они... Отработанный материал? Любимое выражение Марка. Он часто повторял его, пытаясь отгородиться от чужого назойливого любопытства. Но это я узнаю потом, а пока я вглядываюсь в картины, пытаясь разгадать тайну – их, Марка, свою?..

Большинство из них были женскими портретами. Были ли они хороши, я не знаю. Слух мой обострился, я без труда улавливала восторженные слова — перезрелыми плодами те легко слетали с человеческих губ. Подобная лёгкость настораживала, не часть ли это давно и хорошо отработанного ритуала. Что касается меня, я быстро соскучилась от этого пиршества профилей и локонов. Но были другие картины, они и привлекли моё внимание. Три из них висели на стене как раз напротив меня, поэтому и запомнились в мельчайших подробностях.

Первая была премилой пасторалью: окаймлённая деревьями лужайка, на ней пастушка — та плела венок из полевых маков, — и пастушок, чей взгляд не отрывался от нежного девичьего лица. У ног пастушка замер кудлатый пёс, а любимица-овечка жалась к пышным юбкам своей хозяйки. Можно ли представить себе более умиротворённую сцену? Но чем дольше я смотрела, тем тревожнее мне становилось. Повинен ли в этом недобрый блеск в глазах пастушка, кривая ухмылка, что больше подошла бы сладострастному сатиру, разбойнику с большой дороги, но уж никак не влюблённому юноше? И какие громадные клыки у его собаки! А пастушка с овечкой так схожи в своей беззащитности... Даже маки, и те, казалось, предвещали беду, полыхая так ярко, так кроваво.

Вторая картина — балкон старинного особняка. На балконе флиртующая пара: великолепные бакенбарды, белоснежная пена жабо с одной стороны, золотые букли, безупречный фарфор лица и плеч с другой. Ещё веер, трепещущий затейливой бабочкой в тонких, изящных пальчиках. Тот на своём немом языке красноречиво намекал на... любовь? Но взгляды скрестились острыми кинжалами, и не было в них ничего, кроме стали и холода. Неудивительно, что один из атлантов, чьи мраморные руки, вздуваясь жилами, держали балкон, гневно нахмурился. А мускулистый торс изогнулся таким образом, будто его хозяин вот-вот спрыгнет с постамента — стоит ли удерживать мир, в котором нет настоящего, живого чувства...

И, наконец, третья. На убогой постели лежит старик. Истончённое болезнью тело почти полностью накрыто простынёй, снаружи только лицо и ступни ног. Но если в искажённом от боли лице ещё пульсирует жизнь, то восковые ступни скорее говорят о том, что все земные дороги позади. На эти ступни и уставился мальчик, судя по сходству, внук старика, и взгляд его, полный не жалости, нет, но жадного любопытства, смотрелся чуть ли не непристойно.

Забыла упомянуть: все мужские персонажи на этих трёх картинах были похожи на своего создателя. Это его ухмылка кривила лицо псевдопастушка, и его глаза мерцали холодом со второй картины. Да и старик с мальчиком, оба они напоминали Марка, с поправкой на возраст, конечно. Что это, случайность, авторский замысел? Я так долго всматривалась, что стала видеть даже то, чего, возможно, и не было вовсе: например, два женских персонажа, пастушка и светская кокетка, уже казались мне схожими между собой. Картины мучили меня, не давали покоя, и я испытала облегчение, когда Марк составил их в угол, отвернув к стене. Он вообще стал очень деятелен: всё ходил по комнате, что-то куда-то запихивал, переставлял с места на место. Меня он выдвинул на самую середину комнаты, там, залитая светом, я и стояла, ожидая неизвестно чего — судьбы?..

А потом появилась Нора.

К тому времени я успела привыкнуть к Марку, неправильность черт больше не пугала меня, наоборот — глядя на него, я получала неизъяснимое удовольствие. На таком фоне тихая ненавязчивая гармония лица Норы казалась чуть ли не изъяном. Хороши были волосы, струящиеся по плечам каштановыми прядями. Но всему её облику не хватало чего-то главного, может, яркого мазка. Явно стесняясь собственной фигуры, Нора держала на весу перед собой руки — прикрывала полноватое тело. И говорила, говорила, про портрет (причуда мужа), про своё нежелание позировать. «А это долго? Бедная моя спина...» С виноватой улыбкой она развела руки в стороны, на мгновение став крылатой. Тут бы мне и разглядеть её — но нет! Крылья обмякли, а сама Нора очутилась сбоку от меня — туда, к стулу, её незаметно подпихивал Марк, — теперь я отчётливо слышала её дыхание. Почему-то казалось, что это дышу я сама.

Что послужило толчком, одно на двоих дыхание, нацеленная на меня длинная тонкая кисть в руке Марка, – я не знаю. Только всё вдруг сошлось в одной точке: непонятная фраза, странный взгляд Марка, упоминание про портрет... Так и есть, мне суждено стать двойником Норы! Чувство, которое я испытала, было похоже на сожаление. Словно меня лишили выбора. Хотя его и так не было, но сейчас это стало очевидным. Поэтому каждое прикосновение кисти я встречала внутренним протестом. Неподвижность моя при этом оставалась неизменной, но у Марка всё равно ничего не получалось. Наконец, он сдался. «Не возражаете, если я закурю?» – спросил он у Норы. Та не

возражала, мало того, сама попросила сигарету. И вот мы трое уже окутаны дымным облаком, линии смягчены, очертания размыты. Теперь-то я понимаю: судьба настойчиво намекала на переплетение наших жизней, но тогда... кто мог прочесть её знаки, кто вообше может...

Но возвращаясь к Норе — догадывалась ли она о нашем с Марком противостоянии? Во время сеансов Марк был сдержан и улыбчив. Но стоило Норе уйти, как выражение его лица менялось. Растерянность, недоумение, недовольство, даже ярость. Однажды Марк так разозлился, что отшвырнул от себя ни в чём не повинную кисть. Окроплённый краской пол мгновенно стал веснушчатым. Я сказала, что в присутствии Норы Марк был сдержан. Да, но не взгляд. Этот не признавал никаких ограничений и запретов. Однако не было в нём ни намёка на мужское вожделение, так можно смотреть на сложный механизм в попытке разобраться, что и как устроено. Не вина Марка, если его взгляд, сам того не желая, пробуждал женскую чувственность. Кстати сказать, женское воркование не единожды доносилось до меня откуда-то издалека (об истинных размерах мастерской я могла только догадываться).

Хотя кое о чём (не о женщинах, но о нас с Марком) Нора всё-таки подозревала, недаром вспомнила то стихотворение. Она читала его медленно, нанизывая на нитку ритма бусиныслова. Слова находились не сразу: раскатились по закоулкам памяти, – и Нора, пытаясь отыскать нужное, снова и снова возвращалась к началу. От такого круговорота в памяти моей всё перемешалось, остались лишь отдельные строки. А начиналось стихотворение так: «Под настойчивой кистью приходится быть равнодушной». Рассказ вёлся от лица полотна, которое, как и я, превращалось в картину. О качестве стиха судить не берусь, но мысли, эмоции – всё было мне знакомо. И горькая ирония – «С полотном церемониться? Вот ещё – кто я такая!» – и обида, что стекала по каплям, «нарушая рисунок и цвет то ли грёз, то ли снов»... Только образ художника – безумца, садиста? – показался мне слишком утрированным. Как всё, изображённое только одной краской. А потом я услышала концовку и...Сострадание, жалость - я знала значение этих слов, но впервые испытывала нечто подобное. Как же я удивилась, услышав смех Марка.

– Это написала женщина, – проговорил он уже спокойно, но морщинки в уголках глаз продолжали досмеиваться. – Только женщины из ничего умудряются сделать трагедию. И вообще, вы уверены, что речь идёт о картине?

А о чём? Жаль, что я не могу говорить.

Зато это могла делать Нора, и я даже не представляла себе... Но всё по порядку.

– Расскажи что-нибудь, – фраза, небрежно брошенная Марком во время одного из сеансов, меня возмутила. Не знаю, что меня покоробило больше: неизвестно откуда взявшееся фамильярное тыканье или это «что-нибудь». Как будто можно вот так, по заказу. Однако Нора и вида не подала, просто стала рассказывать. Хотя я не назвала бы это рассказом, скорее картинами, написанными при помощи слов. Но в отличие от картин Марка с их безрадостным сумраком эти искрились светом. Герои вызывали симпатию, будь то уличный музыкант, так артистично откидывающий со лба чёлку, что хотелось одарить его только за это (слова Норы), или крикливая, пропитанная летним зноем торговка виноградом. Толстые пальцы этой последней, все в тёмно-лиловых пятнах, невольно притягивали к себе внимание. Чернила? Ах, вы уже не в том возрасте. А ведь не скажешь.

В какой-то момент Нора оказалась передо мной, и я, наконец, разглядела её настоящую. Тёплые волнующие глаза, губы, что трепетали лепестками на ветру, тогда как прежде смотрелись наглухо закрытыми створками, и вся она — натянутая струна, с которой звучал гимн жизни. Вот чего ей не хватало, запоздало поняла я. Какими же пресными по сравнению с этой нынешней Норой выглядели женщины на портретах Марка (да простят меня мои товарки-картины)! Всё-таки хорошо, что мне суждено стать ею, а не какой-нибудь приторно-зефирной мордашкой.

Марк, тот тоже смотрел не отрываясь. Марк, Марк, мы оба с тобой были слепы!

А Нора уже спешила дальше, перемещаясь по странам, городам. Некоторые места казались мне смутно знакомыми, например, тот город. Изысканно-серый, он дремал на берегу залива. Покатые от времени ступени лестниц, словно измученные жаждой путники, стремились к лениво плещущейся воде, а увенчанные крестами храмы в не меньшей жажде тянулись к небу. И только статуи стыдливо прятали свою мраморную наготу в зелени парков. Этот город тревожил меня, как тревожит всё однажды незавершённое, внезапно прерванный разговор, встреча без продолжения. Может, это просыпалась моя память? Ведь до того, как стать натянутой на мольберт тканью, была же я чем-то — травой, проросшей из пустых глазниц выбеленного

временем черепа, комком земли, из которой всё произрастает и в которую возвращается... Но почему я так быстро стала понимать человеческую речь, больше того — почему мне так близки и понятны человеческие мысли и чувства? А знания, которые неожиданно обнаруживали себя безо всяких усилий с моей стороны... Я не знаю, куда завёл бы меня путь из догадок и домыслов, но Нора замолчала, наваждение закончилось.

«Мне пора». Лицо, ещё недавно озарённое светом, сейчас будто угасло, но это уже не имело никакого значения.

– Вы ведь придёте завтра? – спросил Марк, опять перейдя на «вы». Всё лишнее, наносное, маска, которую он натягивал на себя по привычке или в угоду светской публике, слетела с него. С надеждой и страхом – вдруг не придёт? – он заглядывал Норе в глаза, и такая просительная интонация была в его голосе... «Да», – прозвучал ответ.

Любовь накрыла их, как ливень накрывает город. А я, что испытывала при этом я? Странно, но моя женская суть, пусть и закованная в рамки холста, оказалась неожиданно восприимчива к вопросам... гм... физиологии. В одиночестве Марк часто снимал с себя одежду, нагота давала ему ощущение свободы, в которой он так нуждался. Его тело, напряжённость спины, чётко прорисованные жилы на руках и шее, мышцы, что перекатывались под смуглой кожей подобно извивающейся под водой змее, – всё это было так близко от меня. Возбуждение накатывало, не находя выхода. Как же я завидовала Норе, она могла насладиться этим прекрасным телом, тогда как мне доставалось немногое: голос, взгляды, осторожные прикосновения. Но ревности во мне не было. С каждым новым мазком кисти я всё больше превращалась в Нору, видеть этого я не могла, просто знала, чувствовала. Я смотрела на Марка её глазами, улыбалась её улыбкой. А когда губы её сливались с губами Марка, я словно ощущала вкус... Как могла я ревновать к самой себе!

Мы втроём были неразделимы, во всех смыслах. Я казалась себе то ребёнком, плодом любви Марка и Норы, то ангелом-хранителем обезумевших от страсти любовников. Но было ещё одно, непонятно откуда взявшееся знание: однажды мы уже были связаны друг с другом. Когда — не знаю, но в той реальности я наверняка была человеком. Почему мы опять вместе, путь не был пройден до конца? Хотя какое это сейчас имело значение, сумеем ли мы воспользоваться новым шансом, вот что меня беспокоило. Сумеют ли эти двое! Пока страсть толкает

их друг к другу, я могу быть спокойна, но что если... При мысли об этом «если» я затрепетала.

— Она движется! — воскликнул Марк. Кисть в его руке удивлённо замерла. Не желая выдавать себя, застыла и я. Впрочем, у меня не было никакой уверенности, что через мгновение это не повторится. Меня спасла Нора. «Это просто усталость...» Голос был нежен, ласка успокаивала. Слова возражения замерли у Марка на губах. Ласка стала настойчивей, вскоре эти двое уже скрылись в глубине мастерской, откуда послышались... Впрочем, неважно. Однако сделанное Марком открытие меня поразило: неужели я могу двигаться, я, так страдавшая от собственной неподвижности! Но от чего это зависит? Я попыталась шевельнуться — безуспешно. Значит, одного моего желания недостаточно, должна быть какая-то причина, её мне и предстояло выяснить.

Я наблюдала за своими ощущениями с педантичностью учёного, поставившего эксперимент на собственном теле. Но прошло время, прежде чем это повторилось. В тот день Марк с Норой поссорились (размолвки между ними происходили всё чаще, увы). Марк сказал что-то резкое, настолько резкое, что Нора в обиде выбежала из комнаты. Марк бросился её догонять. Наверно, я инстинктивно дёрнулась следом, и чуть было не рухнула вниз вместе с мольбертом, в последний момент еле удержала равновесие. Только позже, уже успокоившись, я смогла всё проанализировать. Вот что я поняла: моя новообретённая способность напрямую зависела от моих переживаний, и чем сильнее эмоциональный всплеск... Но что мне теперь с этим умением делать? Представилось, как переступая тонкими ногами мольберта, я выхожу на улицу. И мир, который до этого был лишь звуками, скупыми красками в окне, наконец вижу воочию. Спутанные, будто со сна, гривы деревьев, бегущие разноцветными машинами дороги, ослепительный мяч солнца, закинутый в небо чьей-то атлетической рукой да так там и оставшийся... Невозможно.

Между тем я с каждым днём хорошела. Другие картины, прежде смотревшие на меня свысока, теперь признавали во мне равную. Марк, тот хоть и придирался по привычке, но тоже казался довольным. А уж восхищению Норы не было предела. «Это лучшая твоя работа!» – не уставала она повторять. Но откуда этот испуг в её глазах? Предчувствовала, что плата за красоту окажется непомерно высока (любовь)? Последнее время Нора вообще выглядела какой-то подавленной. Едва размыкая

губы, сухо сообщила, что муж обо всём догадывается. Бедная Нора, представляю, как измучила её эта двусмысленная ситуация, как претила её честной натуре. Не знаю, слышал ли сказанное Марк, только он вдруг заговорил о свободе. Он вообще часто о ней говорил, причём, с таким выражением, что само слово «свобода» звучало у него с заглавной буквы. «Настоящий творец должен быть свободен!» В подтверждение этой мысли – кстати, не особенно оригинальной – Марк приводил цитаты каких-то людей (подозреваю, они давно умерли, так что он ничем не рисковал), факты из чужой жизни... В какой-то момент, спохватившись, что наговорил лишнего, и желая загладить собственную то ли бестактность, то ли жестокость, Марк становился удивительно нежен. Под влиянием всё той же нежности даже заикнулся о том, что вот пройдёт выставка (он собирался выставлять свои работы), и тогда... Закончить фразу он не смог закашлялся.

Неудивительно, что однажды Нора просто не пришла. В тот день мы прождали её до вечера. Марк не отходил от мольберта. Писать не писал – не было настроения, всё старался найти себе какое-то занятие. Курил. А то вдруг стал выуживать из карманов скопившийся там хлам: какие-то бумажки, записки. И долго, с упоением разрывал на мелкие клочки, после чего запихнул всё это в пепельницу. Марк часто бросал туда всякий мусор, Нора всегда его за это ругала. Говорила, незачем искушать судьбу. (Интересно, что она имела в виду?) Теперь ругать было некому, свобода, не этого ли он добивался. Я же старалась не смотреть в сторону пустого стула, но всё равно помнила о нём, и эта пустота ощущалась мной, как сквозная дыра в собственном теле.

Скоро Марк вообще утратил ко мне интерес. Правда, и портрет был закончен, но после такого внимания одиночество показалось мне пыткой. И хотя вокруг были картины, я слишком привыкла к человеческой речи, чтобы их молчаливое сочувствие могло стать равнозначной заменой. Постепенно я впала в странное состояние. Словно вернулись те времена, когда, лишённая чувств, мыслей, мучительного ощущения пола, я была непроявленным нечто. Непроявленным, с человеческой точки зрения. На самом же деле была энергия, много энергий, они плавно перетекали друг в друга. И ещё — ощущение абсолютного покоя. Но посещали меня и вполне земные видения: я видела Марка, Нору, чокаясь пузатыми бокалами, они счастливо смеялись. Другой раз на меня надвинулись чьи-то глаза. Я знала их — не могла не знать! — и всё-таки не узнавала, так

они были мрачны. Сделав над собой усилие, я заглянула в этот мрак: там, на самой глубине, ворочалась громадная, как гигантская рыба, печаль. «Я не гожусь на роль мужа, ты же понимаешь...» Слова прошелестели чуть слышно. Да нет, почудилось.

К реальности меня вернул дуэт из мужских голосов. Я сразу узнала роскошный бархат Марка. Но второй голос был мне незнаком. Впрочем, он тоже был неплох: уступая в богатстве тембра, он восполнял это мощным нижним регистром, и когда он говорил, всё вокруг вибрировало. А вот и его обладатель. Мужчина смотрел на меня с таким непередаваемым выражением, что мне стало неловко. Почему-то я сразу поняла, кто это. Я представляла его разным: то брутального вида усачом, то субтильным очкариком, короче, не самым приятным типом. И, конечно, не ожидала, что он мне понравится. Крупная, без растительности голова, умные глаза, крепкий мужской подбородок. Ростом мужчина был ниже Марка, но ощущалась в нём недюжинная сила. Видимо, он привык её сдерживать, движения его были мягкими, слишком мягкими для такого мошного тела. Я прослушала его имя, но я в нём и не нуждалась, зачем, в моём внутреннем пространстве он давно существовал, как муж Норы, этого было достаточно.

Кстати, деньги за портрет – увесистую пачку купюр – он небрежно бросил на тот самый стул, на котором во время сеансов всегда сидела его жена. Мужчина об этом не догадывался, но жест от этого не стал менее пошлым. Марк автоматически проследил за рукой взглядом, но я видела, мысли его заняты другим. Его заботила предстоящая выставка. И в связи с этим он хотел попросить уважаемого гостя, чтобы тот... чтобы портрет его жены...

— Нет, — голос звучал ровно, но было ясно: своего решения мужчина не изменит. Марк начал уговаривать. Но я знала, надолго его не хватит, и даже не удивилась, когда, оборвав себя на полуслове, он смолк. Эти двое застыли друг напротив друга каменными утёсами. А ещё они любили одну и ту же женщину. Мне вдруг стало страшно. В воображении возникло протянувшееся до самого горизонта поле, на нём две враждующие армии. Мгновение — и они сойдутся в смертельной схватке. Повторюсь, мне стало страшно. Наверное, мужчины что-то почувствовали: не сговариваясь, они одновременно посмотрели на меня. Нет, не на меня — на Нору! Что они прочитали в её взгляде, я не узнаю никогда, только лица их прояснились, позы стали менее напряжёнными.

Хорошо, но только на один день, — негромко сказал муж Норы, после чего развернулся и пошёл к выходу. Глядя вслед удаляющейся спине, я вдруг вспомнила, и её, и этот затылок. Это случилось в первый день моего так называемого пробуждения. Люди, много людей. Рядом с Марком какой-то мужчина, он стоит ко мне спиной, и Марк поглядывает на меня поверх его гладкой безволосой головы. Норин муж, значит, это был он. Тогда же они и договорились о портрете. Обнаруженная взаимосвязь меня взволновала. Как всё переплетено в этом мире, причины, следствия... Впрочем, для самоуспокоения всё можно свести к простой схеме: мужчина, женщина, портрет в качестве подарка, художник, он же любовник, — обычная жизнь.

Потом была выставка. Мне казалось, про тот день я могу рассказать всё от начала и до конца. Как же я удивилась, обнаружив в памяти неожиданные пробелы! Я отлично помнила, как Марк наряжал меня в раму цвета усталой бронзы, и я совсем по-женски вдруг засомневалась, идёт ли мне этот цвет, не старит ли. Но как я оказалась в том зале – сияющие люстры, фигурные колонны, натёртый до блеска паркет, - не помню вовсе. Ещё были большие, почти в пол, окна. В одно из них, любопытствуя, заглядывал симпатичный, весь в каменных завитках дом. В обрамлении оконной рамы он смотрелся совсем как картина, лучше многих в этом зале. Но вскоре я о нём забыла, переключилась на людскую толпу. Она же, будто стараясь поразить, демонстрировала то смешливую молодость, то сдержанную зрелость, то тщательно напудренную, снисходительную старость. Вдалеке мелькнула высокая фигура Марка. Рядом с ним была какая-то женщина в классическом чёрном – Нора? Толпа заслонила их прежде, чем я успела рассмотреть. Но пока я наблюдала за людьми, те, в свою очередь, смотрели на меня. И шептали, шептали про настоящую, не зализано-открыточную нежность, про удивительный свет... «А вы знаете, что она, что они... неужели не слышали...» Я только равнодушно улыбалась Нориными губами.

Я всё ещё искала в толпе Марка и Нору, как вдруг обнаружила этих двоих прямо перед собой. Марк в костюме выглядел безупречно, впрочем, он всегда был хорош, но как же восхитительна была Нора! Высокая причёска открывала грациозную шею, строгий футляр платья делал фигуру стройнее. Вот только лицо... все краски словно покинули его, сосредоточившись в пульсирующем на груди кроваво-красном кулоне. Марк и Нора.

Как бы мне хотелось увидеть их улыбающимися, даже спорящими! Но ничего этого не было: они стояли и молча смотрели на меня. «Насмотришься ещё», – криво усмехаясь, сказал Норин муж, внезапно появляясь рядом. Я сразу возненавидела его за эту усмешку, но больше за то, что, взяв Нору под руку, он уводил её от нас. Будто дожидаясь этого самого момента, заистерила скрипка, глухо заворчала виолончель. Тоскуя, я вспомнила о доме – как он там? Но за окном была только густая, как кофейная гуща, ночь.

...Мы снова в мастерской. Мы — это Марк и я. Картин нет, часть из них осталась на выставке, другие давно разобрали предыдущие заказчики. Издалека до меня доносятся шаги Марка: он кружит и кружит по мастерской. Иногда он заходит ко мне, и я вижу его растерянное лицо. Будто никак не может поверить в случившееся. Благо, весь трагизм ситуации ему недоступен. А ведь развязка нашей общей истории опять отодвинулась на неопределённый срок, возможно, на века. При этой мысли я содрогнулась — словно заглянула в бездонную пропасть.

«Насмотришься...» В таком контексте слова Нориного мужа звучали зловещим пророчеством. Хотя мужчина говорил совсем не об этом. Впрочем, его словам, в их первоначальном значении, я всё равно не поверила. Он ведь не сумасшедший держать у себя дома портрет жены, зная все подробности. Скорее всего, я окажусь в какой-нибудь галерее. Представилась длинная, как кишка, комната, увешанная полусонными картинами. За каждой потускневшим от времени шлейфом тянется своя собственная история, в которой правда и вымысел так перепутались, что сама хозяйка не в силах отличить одно от другого. Неужели мне суждено стать одной из них, беспамятной, ко всему равнодушной, засиженной мухами? Мухи. Почему-то эти безобидные, в общем, создания вызвали у меня приступ брезгливого отвращения. Но о какой ерунде я думаю, мне ведь предстоит расстаться с Марком!

Расстаться с Марком – невозможно. В поисках выхода мысли мои лихорадочно заметались. Я придумывала вариант за вариантом и тут же отбрасывала их за негодностью. Ах да, я же могу двигаться! Если, конечно, можно назвать движением одинединственный рывок, а ведь это всё, на что я была способна. Кроме того, я совершенно не понимала, как это использовать. Но в тот самый момент, когда я почти отчаялась, я вдруг вспомнила стихотворение, которое читала Нора. Рецепт был так потрясающе прост, даже странно, почему я не подумала об этом раньше.

Я повторяла строку снова и снова, пять раз, десять, сто. Это сработает, не может не сработать. В конце концов, я так неистово поверила, что даже не удивилась, когда Марк, зайдя в комнату, не вышел, как обычно, сразу, а сел напротив меня и закурил. Курил он долго. Раньше я отмечала бы каждое движение, поворот головы, взгляд, но не сейчас: нервное возбуждение было настолько сильным, я еле сдерживала себя, чтобы не дёрнуться раньше времени. Наконец он докурил и вышел из комнаты. И, конечно, не потушил сигарету, отчего мусор в пепельнице (Марку и в голову не пришло его выбросить) радостно вспыхнул. Я смотрела на огонь, мигающий маяком в ночи, и понимала, что пора решаться. В этот момент силы чуть не покинули меня. Неужели я боюсь, но чего, ведь смерть – это иллюзия, всего лишь переход. Тем временем, перебирая красными, оранжевыми, жёлтыми лепестками, огонь рос. Он стал похож на яркий экзотический цветок. В самом центре цветка я вдруг увидела лицо Марка. Он так смотрел на меня, будто звал. Ни в чём больше не сомневаясь, я качнулась ему навстречу.

УЛИЦА ЧКАЛОВА

Рассказ

Лето, жара и эта улица, заросшая одноэтажными домами, что сорной травой... Впрочем, трава тоже была. Тонкие зелёные стебли пробивались сквозь асфальт (не от этого ли он пошёл трещинами?) и тянулись вверх. Словно хотели что-то комуто доказать. Или не хотели, просто у них не было выбора.

У меня с выбором тоже не сложилось. «Ты сходишь со мной?» – спросила Лилька по телефону. Вопросительной интонации не вышло – привычка командовать взяла своё. Вроде как Лилька уже всё решила, а меня просто поставила в известность: ты сходишь.

И вот мы плетёмся по пыльному неровному асфальту, осторожно переставляя ноги, останавливаясь лишь для того, чтобы вытряхнуть из босоножек случайно закатившиеся туда камешки.

Лилька злится, к ней камешки попадают чаще. И пока она трясёт ногами и почему-то головой, я впитываю в себя всё: без-

упречную лазурь неба, рябые от ягод деревья, сомлевшего в тени забора кота, золотистый в обрамлении белёсых ресниц ромашковый глаз и крохотных красно-чёрных солдатиков, застывших в любовном соитии прямо у меня под ногами.

Только людей нет, будто вымерли все. Лишь однажды в одном из окон дёрнулась кружевная занавеска, и я почувствовала, как меня ощупывают взглядом. Да пёс неподалёку зашёлся лаем, нет, даже не лаем — надсадным кашлем. И тотчас смолк, усмирённый кем-то невидимым.

Странная это была улица, сонная, как стоячая вода. Совсем не похожа на городскую. И по чьей безумной прихоти её нарекли именем знаменитого лётчика, который уж никак не отличался спокойным нравом? Поражало и другое: как, каким образом в разгар непримиримой борьбы со всем советским это название сохранилось? На фасаде одного из домов даже была табличка. Неказистая, проржавевшая, зато по-русски. Удивительно – правда, Лиль?..

В ответ Лилька неопределённо дёрнула плечом. И вперёд пошла. Переступив через солдатиков (плодитесь и размножайтесь, аминь), я двинулась следом.

Лилька вовсе не равнодушная, просто не умеет раздваиваться. Сейчас все её мысли направлены в сторону собственного брака, который разваливался на глазах. Лильку этот факт не столько удручал — хотя и это тоже, — сколько озадачивал. Казалось, она никак не может поверить в происходящее, что, впрочем, не мешало ей вкусно, с пафосом страдать.

Но Лилькиным коньком всё-таки было действие. Вот мы и шли по этой улице и, судя по нумерации домов, уже приближались к цели.

Гадалка Катя оказалась крашеной блондинкой с одутловатым лицом. Она встретила нас, вытирая руки полотенцем, и при виде этого полотенца, сероватого, несвежего, Лилька выразительно посмотрела на меня.

«Что мы здесь делаем?» Я только плечами пожала: сама захотела...

Вслед за Катей мы зашли в очень просто меблированную комнату: пара стульев, продавленный диван, стол. Занавески в такой комнате смотрелись неоправданной роскошью. Лишь колода карт на столе красноречиво намекала на род занятий хозяйки.

По одной... вместе нельзя, – почему-то сердито (почувствовала наше с Лилькой недоверие?) сказала Катя и взялась за

карты. Последнее, что я увидела, закрывая за собой дверь, был растерянный Лилькин взгляд.

Сколько я простояла в длинном, узком, как кишка, коридоре, не знаю. Полчаса, час, целую жизнь?.. Время, замедлив ход ещё на улице, здесь окончательно остановилось, повиснув вместе с пауком на невесомой, едва заметной глазу, паутинке. Казалось, качни этот живой маятник, и время двинется по своему привычному пути: тик-так, тик-так. Я бы и качнула, если бы не Лилька.

– Иди скорее!

Жадным взглядом я окинула Лилькино лицо. Что я ожидала на нём увидеть, следы каких откровений? Но ничего не было, только румянец, которым Лилькины щёки заливались по поводу и без.

Успокоенная (или разочарованная?), я вошла в комнату.

... Карты летали, как птицы перед дождём, шумно и стремительно. Не торопись, Катя, я вовсе не уверена, что хочу знать...

Прочитала ли та мои мысли, бог знает. Только вдруг одним резким движением Катя смешала уже разложенные на столе карты и уставилась на меня. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга, и тут...

Её можно было бы назвать молодой, если бы не глаза. Мрачные, как самая глухая ночь, они видели слишком много. А за спиной... сколько же дорог было за её спиной! Они петляли, переплетались, спешили куда-то, а ей уже ничего не хотелось, ни власти, ни знаний, ни любви. Покоя бы. А он всё не давался... которую жизнь подряд...

Потом я очнулась. Передо мной сидела прежняя Катя. Глаза её были закрыты.

«Уходи».

Кто это сказал? Может, ветер, что незаметно пробрался в комнату и теперь трепал ни в чём не повинные занавески? Я не знаю.

...Улица была всё такая же неоживлённая, но выглядела по-другому. Буйно зазеленели деревья, заборы оказались вызывающе разноцветными, а стайка блёклых нарциссов обрела белоснежное оперение. Словно мир за время нашего с Лилькой в нём отсутствия удивительно похорошел.

Я подняла голову: в вышине виртуозным росчерком белел след от недавно пролетевшего самолёта.

«Чкалов», – подумала я и невесело усмехнулась. Мистики на сегодня было достаточно.

И тут заговорила молчавшая до сих пор Лилька.

- Катя сказала, он мне изменяет - представляешь?

Я представляла это, как никто другой. Стоило закрыть глаза, как на меня наплывало ритмично покачивающееся лицо, влажный, в бисеринах пота лоб и губы, с которых одинаково легко слетали слова любви и пустые обещания, и которые хотелось зацеловать до смерти, его, моей – неважно.

- Как ты думаешь, он меня любит?..

«Ненавижу! Эту её узколобость, категоричность, вечную тягу поучать...»

Слова, слова. Светленькая болтушка Лилька и задумчивая темноволосая я, мы были как день и ночь, как Солнце и Луна, и обе были ему необходимы. Или не нужны вовсе. Уже скоро наш любовный треугольник распадётся, и мы все разбежимся в разные стороны. А улицу всё-таки переименуют, но это будет потом. А пока она тянется и тянется к горизонту, видимо, надеясь там, вдалеке, влиться в небесную синь. Думаю, однажды это получится.

г. Кишинёв

Владимир Антипов

НЕБЕСНАЯ СТЕПЬ

* * *

Дон после злой ночной грозы Смирен и отутюжен будто. Ракушка, высунув язык, На мелководье впала в дрёму. И вновь желтком разлилось утро По сковородке водоёма.

Туманец лёгкий в берегах Успел спуститься к вербной лапе. И как бы мгла ни берегла Древесное от взора тело, Но звуки кротких слёзных капель Скрыть на рассвете не сумела.

Волна от вёсельных потуг Вот-вот оближет кромку пляжей – Баркас, как будто острый плуг, Пробороздил пузенью воды, И вновь рога донских коряжин Проткнут на миг зрачок восхода.

СНЕГИРИ

Из прохудившегося звёздного ковша, Насквозь простреленного лучиком зари, Туман парным прольётся молоком.

И пресной этой свежестью дыша, В багряно-серых распашонках снегири На пальчиках рябин щебечут за окном.

И клювом чуя приближение зимы, С её колючею щетиною мороз, Нафыркавшись, кучкуются они.

Пыхтящих труб столбёные дымы Дают весьма неутешительный прогноз Пернатым «щебечам» на будущие дни.

* * *

Прилабунилась¹ зорька остывшая К тополям, будто грешник к распятию. Помню, это мгновение вышито На канве мелким бисером матерью.

Помню, белое чистое облако, Будто пухом овечьим набитое, Над закатом, что в медленный обморок Падал перед вечерней молитвою.

Птичий клин над донскими просторами... Помню, ландыша лист с колоколенкой. Мне канва эта стала иконою, Светлым образом милой мне Родины.

¹ Прислонилась, прильнула

Как будто счастье с солью перемешано – Его уже давно не сладок вкус. Из окон, хмарью полузанавешенных, Гляжу на умирающую Русь.

Пустая обезлюдевшая улица, Заброшенных домов обрюзглый вид. И не стучит кувалдой нынче в кузнице Мастеровитый Шалый Ипполит.

Всё отжило. Под крышей камышовою Уже не бьётся прежней жизни пульс. Моя страна любуется оффшорами – Плевать на умирающую Русь!

* * *

Косой походкою дождей, Накинув рыжий шарф на плечи, Пришла осенних дней простуженная грусть. Багряной пятерней своей Кленовый лист искрою свечки Сверкнёт, и медью вспыхнет сентябрьская Русь.

Бездымным пламенем язык Оближет утренние рощи, Луга с потрескавшейся кожею дорог. Мочалка выжатой грозы До пузырей намылить хочет Залитый лужами сезонистый ожог

ПИСЬМО КАЗАЧКЕ. 1916 ГОД

Как же ты, бабочка, сердцем моим завладала начисто? Ажник не верится! Только теперича худо ведь. Давеча слышал, что люди гутарят по хутору, Мол, мы живём, не боясь никого, не таясь, не прячемся...

Ежели знают за грешную нашу любовь сердечную, Что жа годим мы? Так, стало быть, каяться впору нам?! Но отчего жа закрыта дороженька в божий храм? Не от того ль, что с другими мы были до встречи венчаны?!

* * *

Ну вот и скрипнула сдряхлевшая калитка Охрипшим голосом изржавленных петель. Её потрепанной капроновою ниткой, Продрогшей лошадью в суровую метель,

К сутулому столбу кладбищенской ограды, Привязанную будто на покойный стан, Корёжа душною могильною прохладой, Раскрыли, словно пасть, разжавшую уста.

По ком же ты сегодня расскрипелась снова? Кого в себя проглотит изгородь навек? Успел ли всем сказать задуманное слово Тот обреченный умиравший человек?

Когда-нибудь и мне придётся неизбежно Втянуть в себя последний вдох мирских минут. Заприте же за мной «сдряхлевшую рубежность» Промеж живущих и ушедших в дальний путь.

Погляди на закат! Он похож на огарок истлевшего дня. Дня, в котором упряжка событий бежит по накатанной. Сколько ж пепельниц смог я наполнить такими закатами, Не пытаясь обыденность жизни на перекладных поменять?

Постоянство сродни пустоте. С пустотой опустел календарь. Постоянно пустая постель – манекен одиночества. Но обыденность жизни сегодня менять мне не хочется: Миг в окне караулю, когда будет гаснуть небесный фонарь,

Чтоб на нём нацарапать гигантские наши с тобой имена, Привязав меж ветвей тот огарок стальными канатами. Пусть, как прежде, упряжка событий бежит по накатанной. Я прошу, погляди на закат! Ты мне очень сегодня нужна!

НЕБЕСНЫЕ КОСТРЫ

Как будто вдалеке горят в степи небесной Костры уставших путников, приюта не нашедших. Так пусть же мой костёр для них звездою станет, А желтопузый сена стог щербатою луной. Когда же солнца луч проткнёт ночи завесу, Как челюстями сладкий фрукт оголодавший шершень, Вновь путников степных мерцающая стая Продолжит возвращение домой.

ст. Вёшенская, Ростовская обл.

Елена Тулушева

ДЕВЧОНКИ Два рассказа

ПЕРВЕНЕЦ

Лида в который раз пыталась сложить ноги поудобнее. Никак не получалось найти нужную позу. Разозлилась, резко встала, но голова закружилась. Снова села на край кровати, начала раздражённо постукивать по холодному металлическому изголовью. Решётки... Везде решётки: на окнах, на кроватях, ещё бы шкафы решётчатые сделали... Ходить от окна до двери надоело. Стала расковыривать трещину в штукатурке на стене. Потом вдруг почувствовала очередные толчки. Подняла футболку и уставилась на свой живот, на котором то появлялись, то исчезали бугорки.

Там что-то происходило. Что-то, что раньше не касалось Лиды. А последние два дня её лишили всего остального мира, и вот она осталась наедине с этими толчками.

Накануне тощая медсестра ставила Лиде капельницу и, видно, от скуки спросила, мол, как зовут. Лида не сразу поняла, про кого она. Та кивнула на живот: «Назовёшь как?». Лида удивлённо разглядывала мужеподобную тётку: сухая, с одутловатым алкогольным лицом и короткой стрижкой под ёжик. Алкоголиков Лида определяла легко, даже тех, кто работал и выглядел прилично. Тётка смотрела безразлично, двигалась, как робот. А потом сказала, что надо разговаривать с ребёнком, чтобы слышал голос. Лида только и смогла что промямлить: «А о чём?». Медсестра уставилась на Лиду стеклянными глазами: «О погоде».

И вот ребёнок *там* снова шевелился. Кто его знает, просит что-то или просто переворачивается. У него уже есть руки и ноги, наверное... А волосы? Они с волосами рождаются или лысые? Да какая разница. Лида старалась отгонять эти мысли.

Они приводили всё к новым и новым вопросам. А в конце — в конце вообще непонятно. Несколько месяцев получалось об этом не думать. Лида жила с ощущением, что можно будет задуматься потом, что ещё есть время. И вот это «потом» настало. А думать совсем не хотелось. От мыслей в голове начало пульсировать, хотелось бежать отсюда скорее... Лида снова упёрлась взглядом в решётку на окне.

Через три дня она неспешно поднималась по лестнице женской консультации, поторапливаемая Алевтиной — тучной социальной работницей, которая резво семенила, хоть и краснела всё гуще с каждым пролетом. Они опаздывали. Лида специально тянула время при выходе из центра и здесь, в холле поликлиники.

Врачиха приняла вне очереди, хотя и была недовольна. Лида разглядывала непонятные картинки на стенах: развитие плода по месяцам. Фотография девушки на плакате была дополнена рисунками наподобие иллюстраций школьных учебников. Лицо девушки на плакатах не менялось, а живот становился всё больше, эмбрион увеличивался и менял положение. Лиду затошнило. Ей казалось, он какой-то уродливый, скрюченный. Такие кривые ноги наверняка не смогут ходить. Похоже, он был слепым! Лида взглянула на лицо девушки: та выглядела счастливой. С чего бы?

- Так... значит постановка на учет, услышала Лида голос врачихи. Ты бы ещё на сороковой неделе пришла...
- Да вот как её привезли, так мы сразу к вам вступилась ещё не отдышавшаяся Алевтина.

Доктор смерила социального работника недовольным взглядом.

- Где до этого была? Где наблюдалась?
- Да так... Лида ощутила подкатывающую тошноту, ладони вспотели. Хоть бы отвлечься. Мерзко. Тяга пошла. Сбежать бы скорее, да куда тут. Живот разросся. Жирная утка. Надо хитростью. Как из больницы. Думай. А чем думать, мозг не варит. Сейчас бы хоть один укольчик, хоть маленький. Просто, чтоб в себя прийти.
- Доктор, там выписка из детдома. Она как из больнички-то сбежала зимой, так вот её всё искали.
- Я вообще-то не пряталась! огрызнулась Лида. В детдоме знали, где я была. Им лень приезжать было.
 - Сиди уж! шикнула Алевтина.

- Ну и где же ты была всё это время? доктор смотрела мягче, как будто озадаченно. Переводила взгляд с Лидиного живота на теребящие край футболки пальцы.
 - У молодого человека... своего.
- Молодой! фыркнула Алевтина. Сорок шесть лет юнец просто! Уж ты, Лида, давай тут дуру-то не валяй! Время не тяни. Некогда доктору твои сказки слушать! Наркоманила, так и говори, теперь вот и расхлёбываешь свое! А этого твоего упечь бы пожизненно за такие дела, так ведь никто не займётся! Сам наркоман паршивый, и девку за собой уволок!

Медсестра оторвалась от талончиков и нерешительно взглянула на врача. Та, опустив взгляд, чуть хрипло сказала:

 Алина, сходи-ка... К-хм, сходите пожалуйста с социальным работником к заведующей, надо оформить документы на государственного ребёнка и рецепты на витамины и молоко.

Медсестра поднялась:

- Идёмте, я вас провожу. Девочка несовершеннолетняя, нужно ваше согласие, как представителя опекуна.
- Да, окликнула врач. Потом ждите в коридоре, осмотр буду проводить без посторонних.
- Да я что, я с радостью! Вот только за ней, доктор, глаз да глаз нужен! Вы учтите, из наркологички сбежала, из приюта сбежала, а нам вот теперь отвечай!
 - Я поняла, идите.

Врач замолчала. Уставилась куда-то, так и замерла. Потом как будто заметила Лиду и немного нахмурилась.

- Значит, срок беременности не точный?
- Ну да.
- А почему до этого никуда не обратилась? Или обращалась?
 - Да как-то не до этого. Виталик сказал, рожай.
 - Виталик это тот мужчина, который старше тебя?
 - Да. Наркоман.
 - Ты... тоже употребляешь?
- Да. Лида отвечала быстро, на выдохе, не дослушав вопрос. За последнюю неделю посещения всех этих детских комнат, приютов, инстанций, она повторяла свою историю не раз.
 - Значит, и во время беременности?
 - Да.
 - Внутривенно? Как часто?
- Раза три-четыре в неделю, всё также быстро, пока не передумала говорить, как есть.

- Как насчёт стерильности?
- Плохо. Там вон в карте есть все анализы.

Только сейчас врач посмотрела на кипу бумажек, разложенных у неё на столе. В анамнезе значился ВИЧ положительный, впервые выявленный два года назад.

- Это он тебя наградил или кто-то ещё?
- Не, наверное, кто-то ещё. Виталик говорит, он чистый.
- В смысле: говорит? Ты анализы его видела?
- Не-а. А зачем ему врать. Это ж он хотел ребёнка.
- Если ты от него забеременела, то теперь он тоже инфицирован.
 - Да?

Врачиха внимательно взглянула, помолчала.

- Так, а что ты думаешь с родами? Тебя вообще кто-то консультировал за это время? Хоть один врач?
- Нет. Я у Виталика жила. Я же сказала. Он говорит, рожай, деньги будут.
- Он говорит, рожай... эхом повторила врач. Так, ладно.
 Нам надо с тобой многое успеть обсудить. Давай попробуем поговорить честно.
- Да я и не вру. Чё теперь врать-то. Только пить очень хочется.
- Сейчас мы обсудим, и попьешь в коридоре. Лида, твой ребенок может заразиться от тебя ВИЧ-инфекцией. Но если приложить усилия, он может родиться относительно здоровым.
 - Да какой он здоровый, он же уже наркоман там, да? Как я.
- Сейчас речь не об этом. Если сделать кесарево сечение, то риск заражения во время родов значительно снижается. То есть если мы проведем операцию, то он может родиться без ВИЧ, понимаешь?
 - А это больно?
- Нет, операция проводится под наркозом и быстрее обычных родов. Потом чуть дольше восстанавливаться, но нам важно сейчас думать не об этом.
- Ну да, я согласна. Только вон соцработники, они же вроде всё теперь решают, мне нет восемнадцати.
- Решать будем мы с тобой. Но здесь есть одно «но». Операцию нужно успеть сделать до начала схваток. Обычно на тридцать восьмой неделе. Пока мы не знаем, какой у тебя срок. Но учитывая твои побеги...
 - Что?

Ты сможешь дотерпеть до тридцать восьмой или опять убежишь?

Лиде не хотелось врать. Врачиха первая за эту неделю, кто хотя бы не пилил, не давил на вину. Хотя у Лиды уже выработался иммунитет к таким разговорам, но чего она только не наслушалась и в полиции, и в детском доме. А ведь какое их дело...

- Да куда тут сбежишь, я вон едва хожу.
- Человек зависимый может убежать и при более сложных обстоятельствах... она недолго помолчала, и продолжила как будто сама с собой. Я видела молодого человека, который из реабилитационного центра сбежал, сломав ногу, когда выпрыгнул из окна. Это не помешало ему бежать дальше и ещё две недели лежать в притоне с распухшей посиневшей ногой, пока не нашли.
- Ни фига себе! Лида было ухмыльнулась, но доктор посмотрела на неё как-то странно, скривившись, как от боли.
 - Лида... А ты сама-то хотела рожать?

Лида постаралась отвечать также на выдохе, быстро и по делу. Но с каждым разом говорить становилось сложнее. Почему-то с соц работниками и их нотациями было проще. Они обвиняли, Лида огрызалась. Злиться было проще. А сейчас, когда врачиха говорит «мы» и «нам»... Как бы не разреветься.

- Сейчас, конечно ничего уже не изменишь. Надо будет рожать. Судя по размеру, тебе осталось немного. Как я понимаю, до этого родов у тебя не было. А аборты или выкидыши?
 - Ну... чтобы у гинеколога делали аборт нет.
 - В смысле?
 - Был один. Мать таблетки купила.
- Ты имеешь в виду не операционный, а медикаментозный аборт? Давно?
- В одиннадцать. Только я не знаю, это беременность была или просто.
 - А зачем тогда таблетки, если не точная беременность?
- А мамкин сожитель меня изнасиловал со своим другом.
 Она тогда отрубилась от героина. А они того. Она проснулась, ну и поняла. Наорала на него. И в аптеку со мной потащилась.
 Мать сказала, что на всякий случай, а то мало ли: забеременеть от таких...
 - Господи, в одиннадцать...
- Да это давно уже было, не переживайте. Мать его выгнала, но он нам денег дал тогда много. Правда, мамка, наверное,

их все спустила, я не помню. Потом меня бабка к себе забрала. А этот мужик снова потом к матери переехал.

- И в милицию не заявляли?
- Не-а. Мамка сказала никому не рассказывать. Ещё меня обругала: вечно я дома ошиваюсь, вот и неприятности. Я только года два назад рассказала психологу в приюте. Она говорит, наверное, потому я к мужикам старым и бегаю, что у меня вроде как травма.

Лида тараторила всё быстрее. Она ничего не чувствовала, когда это рассказывала. Но обычно те, кто слушал, ужасались или почти плакали. Странно было это видеть и ничего не ощущать...

В дверь заглянула Алевтина:

– Доктор, я всё оформила. Мне чего с ней, на УЗИ ещё? Это мне сейчас талон взять в общую очередь, или нам приехать в другой день? Нам бы лучше сейчас, а то сбежит опять, она ведь беглая у нас, даже не думает, что беременная! А у нас машина одна. Таких, как она, ещё пятнадцать девок. Только поумнее.

Доктор раздражённо подняла глаза.

– Ждите в коридоре. – Потом посмотрела на Лиду. – Тебе получается больше некуда пойти, только к ним? Они ж тебя съедят своими нравоучениями...Может, есть сёстры или тётки? Не хотелось бы, чтобы их нотации спровоцировали тебя на побег. И здоровым самостоятельным женщинам иногда беременность даётся нелегко, особенно когда вокруг некому пожаловаться. Здесь у меня часто ноют. А тебе, несовершеннолетней, без семьи с постоянными мыслями о наркотиках... Их упрёки могут тебя окончательно измотать, не выдержишь – уйдёшь ведь...

Зря она сказала про упрёки. Копившееся за последнюю неделю напряжение, наконец, прорвалось слезами. Рыдать или подвывать Лида разучилась давно: через год, как забрали от матери. Видимо, прорыдала всё там, в первом ещё приюте. Но сейчас так жалко себя стало, оттого что идти некуда, и даже единственную радость — героин — отобрали. А там, на свободе, Виталик гуляет, и ему хорошо...

– Да они мне всю неделю мозг пилят, какая я бесстыжая. И запугивают, что ребёнок будет больной, оттого мне придётся труднее, чем другим девочкам – с инвалидом на руках. А я сама виновата, потому что бессовестная, убивать ребенка наркотиками. Ещё всё время водят на беседу с какой-то настоятельницей. Она меня пугает, как надо будет ребенка воспитывать. Что Бог дал мне ребёнка, чтобы я жизнь поменяла. И если даст больно-

го, то чтобы грехи мои искупать мучениями... А мне и так жить тошно! Сил нет, ходить тяжело. Как я с ним потом – я же вообще ничего не знаю! Я не хочу никого растить, я плохая мать буду, у нас в роду не было хороших!

Врач встала. Налила в стакан воды из-под крана.

- На, попей. Она подошла так близко, как будто вот-вот обнимет. Лида невольно отстранилась, но доктор только отдала стакан и отошла к окну. Поплачь, Лида. Тебе можно. Ты беременная. Ты умничка... Потом они долго молчали. Врачиха о чём-то своём у окна. А Лида всё никак не могла унять слёзы: только вытрет, а они снова.
- Всё у нас получится. Сейчас бумаги оформим, сходим вместе на УЗИ и посчитаем, сколько нам нужно дотянуть до кесарева. Всем беременным тяжело, тебе тем более. Поплачь, может, хоть чуть полегче станет.

Она вернулась за стол, когда Лида перестала всхлипывать.

- Давай мы с тобой договоримся. Я знаю... ждать обещаний от наркомана дело глупое. Я и не прошу. Давай мы просто договоримся, что ты попробуешь дотянуть до кесарева. Ведь если ты убежишь, Лида, ты не вернёшься. Мы же обе понимаем, где ты будешь. И будешь там прятаться до самых схваток. А там поздно будет оперировать. Да и роды для тебя будут тяжёлым испытанием. Это физически тяжело.
 - Да я понимаю. Я не сбегу.
- Ты просто постарайся поставить себе одну цель. Ничего большего. Очень прошу, не думай, оставишь малыша себе или нет. Ты уже дала этому ребенку, что могла. Лучшее, что ты можешь сейчас сделать попробовать помочь ему родиться без ВИЧ-инфекции. А уж будут силы или нет, захочешь ли воспитывать это ты станешь решать сама, в любой момент. Поняла меня? В лю-бой!
- Да вроде. Но они говорят: потом привязанность... Сама не откажусь. Правда, я совсем не понимаю, что надо будет делать... Как это... Там, конечно, в центре помогают, но они запугивают, что ночи бессонные, и что никто за меня ничего делать не будет, притворщицам-наркоманкам не верят... Лида снова почувствовала, что ревёт. Это было так непривычно. Наверное, первый раз за последние полтора года. И как будто легче от этого становилось. Хотелось плакать и плакать.
- Так, Лида, соберись. Ты забыла, о чём мы договорились. Наша цель просто дотянуть до кесарева. И всё. Дальше даже не думай ни о чём. Болтают эти соцработники, а ты не слушай,

кивай просто. А сама думай – мне бы только до кесарева, а там выдохну. Поняла меня? Твой финиш – кесарево, всё.

– Угу, – прошмыгала Лида.

То ли от слёз, то ли от тона доктора, но ей как будто стало легче. Начал рассеиваться жуткий страх от слов «будущая мама». Эти навязчивые картинки больного скрюченного младенца. Если только до кесарева — можно попробовать. Тем более, если под наркозом. А то эта монашка как затянет своё про муки роженицы, аж до дурноты. Половину слов не понять, чтото про грехи... Стоп, не думать... Надо не думать. Как врачиха сказала: просто кивать и всё. Надо попробовать.

- Ну что, сейчас сходим с тобой на УЗИ, и поедешь отдыхать. Тебе нужно сейчас побольше отдыхать и научиться играть в глухую. У тебя важная миссия: дотянуть до кесарева.
 - A это... осмотр?
- Да какой осмотр на твоём сроке. Только УЗИ теперь и померить живот. Это я так, чтобы выпроводить твою надзирательницу.

Они прощались после выхода из кабинета УЗИ.

- Тридцать три недели, девочка. По УЗИ пока без явных патологий.
- Спасибо, Лида не знала, как завершить разговор. Мне ещё к вам прийти... можно? То есть...это... надо ещё?
- Да, Лида. Тебя должны привезти через десять дней, тогда будут готовы анализы, и мы всё обсудим. Береги себя, отдыхай. Жду тебя через десять дней, постарайся приехать.
 - Спасибо...что поговорили...

Доктор кивнула и двинулась дальше по тусклому коридору. Сначала хотела было отвести в сторону соцработника на пару слов: попытаться объяснить ей, что давить на Лиду сейчас нельзя. Иначе точно сбежит. Да и что за бред: оставить новорождённого Лиде. Девочка ведь малыша к себе в притон потащит... Но потом поймала себя на мысли, что снова начинает играть в спасателя. Где она – грань бессилия и безразличия?.. Где грань чужой и своей истории?..

Она открыла дверь в туалет. Никого. Подошла к наполовину закрашенному окну и открыла тугую форточку. Задышалось легче. Достала телефон, пролистала недавние вызовы... Не нашла. Набрала вручную цифры. Телефон высветил «Лёшенька»... Никто не отвечал. Она начала набирать сообщение, но

после слова «сынок» не смогла ничего написать... Где ты?.. как нога?.. приезжай... возвращайся... Всё это было не то. Ответа она не получит.

Она родила своего первенца в тридцать четыре года... «старородящая»... Родила здоровенького, красивого мальчишку... В детском саду он заболел гломерулонефритом, стал инвалидом, набрал огромный вес, почти не мог ходить... Пять лет она практически носила его на руках, лежала с ним по больницам, не давала посадить на гормоны. И все-таки вытащила его каким-то чудом... К началу шестого класса, по его инициативе, они отказались от инвалидности, всех полагающихся льгот и пособий... Хотя с деньгами тогда было очень туго... Лёша стал ходить в школу и на физкультуру, от которой был освобождён, записался на фехтование... До 9-го класса был идеальным сыном и учеником.

И вдруг в пятнадцать лет попытка суицида. Вроде из-за несчастной любви. А потом депрессия, таблетки и через полгода наркотики... И этот последний его глупый побег из реабилитационного центра, когда он сломал ногу... последняя попытка поговорить с ним, после которой он перестал отвечать на звонки... За что? Ну, ладно эта девчонка Лида, из неблагополучной семьи, дочь наркоманки... А ведь у Лёшеньки было всё...

Она посмотрела на продолжающий светиться экран мобильного телефона... Где он сейчас? Ей хотелось надеяться, что и ему, быть может, встретится кто-нибудь, кто, как она сегодня, найдёт несколько лишних минут, чтобы выслушать и поговорить.

НИКА

Ох, какие же вы соблазнительные! Ровные, круглые. Как будто циркулем вымеряли. А цветовое сочетание – просто блеск. И этот дымок, как настоящий... Как не стыдно делать такую рекламу – ведь не оторваться!

Ника разглядывала новый постер маленького сетевого кафе: два румяных сырника с ложкой малинового джема и кружка пенистого капучино. Она пыталась утешить себя, что в реальности это выглядит наверняка менее аппетитно, но внутренний голос ворчал: уж точно аппетитнее её гречки.

Ника двинулась вперёд, решительно настроив себя на быструю дорогу без всяких фантазий. К счастью, соседняя булочная всё ещё была закрыта на ремонт, и малярная пыль покрыла забытые на витринах муляжи хлеба.

На перекрёстке в её мысли ворвался мужской высокий голос:

– Шаурмэ, вкусна шаурмэ!

Ещё до того, как подняла глаза, Ника почувствовала дурманящий запах жареного мяса. В маленькой стеклянной палатке весёлый смуглый продавец в грязном фартуке лязгал ножами, привлекая клиентов. На огромном вертеле крутилась башенка из нанизанных лоскутков мяса. Возле засаленных окон горками лежали нашинкованные овощи.

Она посмотрела вдоль улицы, оценивая силы. Впереди оставалось несколько препятствий. Пиццерию она прошла достаточно быстро, стараясь не смотреть на картинки. Официанты только начинали открывать террасу и расставлять бокалы. Следующим через несколько домов был рыбный ресторан. Тот закрыт до шести вечера, специализируясь на обеспеченной публике, пришедшей отужинать.

Сразу после библиотеки Ника уткнулась в рекламный щит знакомого вегетарианского кафе. «Нет уж, сегодня вы меня не соблазните! Сельдереевый фрэш, ты больше не в моём вкусе. Морковный, кстати, тоже выбыл из фаворитов. Разве что цитрусовый... Посмотрим, может, загляну к тебе вечерком!»

До училища оставалось всего три дома, как вдруг она застыла у огромной витрины. За стёклами виднелись длинные ряды пирожных и булочек. Французская кондитерская... Запах, доносящийся из-за её дверей был похож на самые потрясающие запахи детства. И как назло, именно с утра, когда Ника спешила на занятия, с противней снимали свежий хлеб, и этот запах растекался по всей улице...

Ника заворожённо смотрела туда, где за столиками с чашечкой кофе и утренним круассаном сидели болтливые домохозяйки. Четыре дня назад она также сидела здесь со своим любимым ванильным эклером. Она растянула удовольствие минут на сорок, и всё равно этого казалось мало. Тогда она не выдержала, взяла ещё и ягодную тарталетку. Ника сглотнула, вспомнив сочетание хрустящего песочного печенья, тягучего ванильного крема и кисловатых сочных ягод. Чувство вины, как и тогда снова накатило, смешавшись с завистью к самой себе. В выходные она экстренно устроила себе интенсивную трени-

ровку, чтобы «сжечь» всё лишнее, но не рассчитала силы и в понедельник на занятиях в училище с трудом кое-как выполняла упражнения.

Из кондитерской вышел паренек с шуршащим бумажным пакетом. Ника зажмурила глаза от невыносимо дурманящего запаха свежей выпечки, бормоча себе под нос: «Любимый мой! Мы обязательно ещё встретимся! Я всё отработаю, и к середине следующей недели мы снова будем вместе! Прибегу к тебе, будем сидеть здесь долго-долго, ты и я...» Паренёк хмыкнул, косясь на странноватую девушку. Ника открыла глаза, метнула в него злобный взгляд и быстро зашагала вперёд.

Её опоздания за последний месяц приобрели регулярный характер. Ника потянула на себя тяжёлую дубовую дверь. Та, по привычке, как будто нехотя, начала открываться, чтобы затем всей своей тяжестью утянуть внутрь хрупкую ученицу. Училище обдало прохладой и тишиной. Ника помчалась было по старинной мраморной лестнице, как позади раздалось:

- Это куда мы так спешим, позвольте узнать?
 Ледяной голос на мгновение как будто оглушил Нику.
- Эмиля Павловна, доброе утро! Я немного задержалась...
- Утро, Вероника, начинается в пять часов с восходом солнца. А сейчас, дорогая моя, для человека трудящегося, уже разгар дня без четверти девять. Класс начался пятнадцать минут назад. Если вы хотите чего-либо достичь в нашем ремесле, вам придётся кардинально пересмотреть своё отношение к времени.

Ника растерянно смотрела на директрису, в который раз невольно восхищаясь её удивительной красотой и ухоженностью. Она как будто бы сейчас сошла со сцены: классическое серебряное платье, длинные серьги, мягкий макияж, лёгкий шейный платок, удачно маскирующий следы морщин, и всё тот же туго затянутый пучок. Её фигура – плод зависти всех учениц. Сохранить такую стройность, не выступая уже более тридцати лет – такое под силу единицам. Большинство остальных учителей балетного представляли собой нечто шарообразное, обычно облекаемое в свободные ткани и пышные причёски, отвлекающие от свисающих подбородков. Наверное, уходя со сцены. они и не замечали, как постепенно позволяют себе всё больше и больше. Правда, несмотря на желейные формы, они всё ещё прекрасно двигались и с лёгкостью могли показать самые сложные элементы. Хотя внешний облик никогда бы не выдал в толпе прохожих их балетного прошлого.

- Вероника, вы кажется меня не слушаете?

Ника с ужасом поняла, что отвлеклась, и теперь её опоздание усугубляется ещё больше.

- Простите, я задумалась...
- О чём. позвольте узнать?
- Я…я…
- Судя по всему, явно не об учебе.
- Я плохо спала, извините, пожалуйста, сегодня похоже не мой день.
- У балерины слишком короткий срок годности, Вероника, чтобы позволить себе «не мои» дни. Полагаю, что вам известно об этом.
 - Да-да, я всё понимаю. Я исправлюсь.

Директриса пристально и как будто с тревогой смотрела на ученицу.

– Ника, у тебя что-то случилось?

На «ты» Эмиля Павловна переходила крайне редко, причем в совсем разных ситуациях. Иногда это бывало после того, как ученицу отчисляли за неуспеваемость. Тогда директриса после оформления всех бумаг брала девушку за руку и душевно её успокаивала, уверяя, что та найдёт в жизни своё истинное призвание. Иногда на «ты» она могла обратиться к заглянувшей в альма-матер успешной выпускнице. Ещё реже, если после экзаменационных смотров кого-нибудь сразу приглашали в труппу. Ника настолько не ожидала такого перехода, что судорожно пыталась понять его причину.

- Кажется, нет.
- Кажется?
- Да вроде всё в порядке. Просто немного сложное время.
 Столько эмоций.
- Эмоций?! Эмоции должны быть только в танце и только соответствующие!
 - В танце, это конечно. Просто сейчас сложный период.
- Ника, сейчас у вас последний месяц перед выпускными экзаменами. Понимаешь ли ты, насколько это важно для твоего будущего? Это будут решающие смотры, которые развернут твою жизнь либо в сторону тяжелейшей, но восхитительной работы в труппе, либо навсегда оставят тебя на задворках балетного мира, какой-нибудь учительницей в частной детской школе. Ты понимаешь меня?
- Да, кажется, Ника запнулась, увидев изумлённое лицо директрисы. То есть, конечно, понимаю. Немного сложно со всем этим совладать. Столько всего вокруг!

Эмиля Павловна прищурилась и взглянула на Нику так, будто разглядывает микроб под микроскопом.

- А не угораздило ли тебя влюбиться? Или ещё что похуже?
- В смысле «похуже»?
- Ну вот, так и знала! она театрально всплеснула руками. Первая любовь! Ну неужели нельзя потерпеть до зачисления в труппу?! Неужели все эти люди не вдохновляют вас полностью отдаться искусству, отодвинув земные развлечения на потом?! Эмиля Павловна шагнула в сторону портретной галереи знаменитых танцовщиц.
- Посмотри на эти лица, посмотри на их счастье! Они добивались высот, день изо дня забывая о примитивном, о ненужном, слишком простом! Наше искусство не терпит отвлечений! Все эти люди жили только танцем!

Ника невольно улыбнулась, вспоминая любимые байки их учителя по истории балета. Добродушный Антон Семёнович, как будто замумифицировавшийся ещё со времён СССР, любил рассказать им о тайнах и сплетнях мира балета, каждый раз сдабривая историю своими комментариями и ехидным смешком.

- Не вижу ничего смешного!
- Прошу прощения, это я представила себя когда-нибудь висящей здесь и улыбнулась...
- Лично тебя здесь вешать не хотелось бы, а вот твой портрет мог бы стать гордостью вашего поколения. Но полагаю, что, несмотря на твой явный талант, ты начинаешь сбиваться с пути.

Ника стояла молча, виновато теребя ремень сумки. Ей ещё предстояло выслушать за своё опоздание от учительницы, ощущая при этом любопытно-насмешливые взгляды однокурсниц.

- Я надеюсь, ты меня услышала.
- Конечно, Эмиля Павловна. Я постараюсь.
- Ника, я хочу тебе только добра. Ты действительно очень одарённая. И уж поверь, первая любовь всегда проходит. Крайне редко остаётся что-то ценное.

г. Москва

Людмила Клочко

ОДНАЖДЫ СКАЗАНО

Ещё нигде не задержалась... Жизнь – дом. Я – гость. Меня не нагоняет жалось.

Жизнь – пол. Ты – гвоздь.

Спешу! Пока не грянет милость: Уйти под пол... Не разминулись... Зацепилась – Рвану подол!

* * *

Ты спрашиваешь, чем я занята И встретимся с тобой когда и где? А я сейчас как будто бы – не та... И то ли свет на сердце, то ли тень...

Но я освобожу – день...

Его не будет жаль моей судьбе – Счастливым дням ведется точный счёт. А мне сейчас так хочется к тебе, И говорить не стоит наперёд...

Но я освобожу – год...

Побыть с тобой – не глядя никуда И на тебя рукою опершись... Пугают мимолетностью года... И если ты попросишь: задержись...

То я освобожу – жизнь...

* * *

Две женщины живут во мне. Страдают – обе. Я из-за них горю в огне И бьюсь в ознобе. Одна чиста, и райский сад – Её награда. Другую не пугает ад: Сама из ада. Ведь каждая для той, другой -И зверь, и клетка. Друг друга тянут за собой И держат крепко. Кто в небеса, а кто ко дну – Любая губит. И каждая – ее одну! – Другую – любит.

* * *

Руку мою нежно сжимаешь в горсти...
А у меня на руке – кожа разошлась по швам...
А у меня на руке – мясо отошло от кости...
Боюсь, что останется не просто шрам –
От тебя... А никакого шрама!
Не останется – и руки... Не останется – и меня...
Перекрестись передо мной! У бесславного храма –
Перекрестись! На пороге такого дня,
Когда заговорят, что Бог дал и взял...

А во мне он еще не помер! О любви так нельзя! Говорю о чём хочешь другом... Говорю – о любом... Ты же видишь, как я уязвима...

Ты же видишь, что я без рёбер... И могу отгораживаться только взглядом, пальчиками и лбом! Не принимай во внимание, что мне меньше,

чем четверть века...

Наши души уже начали обнимание...

Наши глаза завели разговор...

И я Бога! – благодарю за то,

что встретила непонятого – человека!

И я себя укоряю за то, что не понимаю тебя до сих пор! А стоило бы не укорять никого и благодарить себя! Мы родные не по красной крови, не по костной ткани... Это уже не просто наша небудущая семья... Это не что-то общее... Это не связь между нами! Потому что оно – не между!

Ты мне однажды одно слово скажи! Можешь его не повторять. Можешь – повторить... Можешь считать его рубцом на правде или остриём лжи... Можешь потом никогда со мной не говорить... Мне и этого хватит...

День за днём, день за днём, день за днём Не могу я придумать ответа... Я тебе рассказала о нём. Ты меня закрываешь от ветра...

* * *

Заходи на треклятый часок! Посмотри, я не так уж и рада... Он пониже. И ты не высок... Получилась дурная шарада!

Ты всё ходишь и ходишь вокруг... Разговор не закончен, не начат... Я сказала, что это мой друг. И не спрашивай, что это значит... – Ты меня помнишь? – голос из мрака... Помню: в глазах опьяняющих – драка. Помню: слова твои шорохом глушат Нетерпеливые, жадные уши... Помню: колени тонули в бессилье Перед твоей обнимающей силой. Помню: ладони такие большие... Помню: тебя я себе – разрешила. Плечи ищу твои каждою ночью! Мы расходились четырежды точно... Помню: ногами вставала на ноги. Чтобы проститься с тобою в пороге... Помню: бессвязность и связанность дней... Помню: всего мне хотелось – сильней! Ты меня помнишь? – голос из ночи… Я не отвечу... Думай что хочешь...

* * *

Ты ведь не думаешь, что я трачу молодое время попусту, когда смотрю на тебя просто? Ты руками не ешь, хотя ты их мыл, и режешь в руках, чтобы не мыть доску... Представь, что я маленький подсматриватель очень маленьких вешей... Тебе нравится сидеть при свечах, хотя тебе и в голову не пришло бы купить свечей... Зачем я буду тебя рисовать, как это часто делали великие наблюдатели? Ведь я на словах – и то не всё могу передать! Не дрогнув рукой, взять и передать его человека, которого я называю по имени. И по отчеству. Ничего не может быть красивее, чем из своего одиночества

любоваться на твоё одиночество... Если ты делаешь два шага вперёд, то, на всякий случай, сделаешь хоть полшага назад... А я чувствую себя самой везучей, когда трогаю тебя во все руки! Смотрю на тебя во все глаза! Так дети смотрят на льва и нарадоваться – не могут! Что же ты лежишь? Ну давай! Порычи! Я знаю, какую первой ты обуваешь ногу. Откуда достаёшь ключи... Я смотрю на тебя много и поглядываю понемногу. Я знаю, когда ты тих, а когда – особенно тих... Мне нравится в тебе каждая мелочь! Ей-богу! Я влюблена в того дьявола, который кроется в них!

* * *

Я смотрела, как снег превращается в воду, И не знала, что снег – это тоже вода... Я искала свою неземную свободу, Ту, которую я не найду никогда...

И на срезе блестящей полуденной пыли В створках наспех открытого настежь окна Я читала о том, что мы есть и мы были И что жизнь, слава богу, такая одна...

И когда от порывов моих и увечий Где-то в мире останется маленький след – Если даже и будет он увековечен, То никто не поймёт, что меня уже нет...

Лучше начать беседу издалека... Долго душа попутного ветра ждёт! Может, моя рубаха мне велика... Может быть, сапожок мой кому-то жмёт...

Реки текут из прошлого – в никуда... Люди за память держатся... Чёрт бы с ней! Жизнь будто в воду канула... И вода Стала ещё прозрачнее и вкусней...

Видится столько ясного впереди И безутешно верится миражу... Было однажды сказано: «Не суди!» Будет однажды понято: «Не сужу...»

Много о жизни думала не о той... И ни на что бы мысли не навели... Помню, кораблик видела золотой, На бок упавший замертво на мели...

г. Минск

Андрей Тимофеев

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР Рассказ

Когда однажды я оказался в городе, где прошли мои студенческие годы, я вдруг особенно явно осознал, как изменился за это время. Прошло всего несколько лет с тех пор, как я окончил институт. Всё осталось прежним и в студгородке, и в учебных корпусах, но я-то был уже другим, и студенческая жизнь казалась мне теперь лишь забытым сном, отчего-то некстати всплывшим в памяти.

Я вошёл в институтскую читалку, огромную комнату с ровными рядами столов, за которыми вразнобой сидели студенты, готовясь к занятиям, и пристроился на свободное место в углу. Мне нужно было провести здесь три-четыре часа до встречи со старым приятелем, но заняться было нечем, и это бессильное бездействие тяготило меня.

Неожиданно кто-то окликнул меня, и я увидел перед собой девушку, лет восемнадцати, с весёлым хвостиком собранных назад волос. Её учебники были разложены на одном из передних рядов, но, заметив меня, она, видимо, подошла ближе и теперь неловко переминалась с ноги на ногу. Я вспомнил её — она училась в моей школе, но гораздо младше, а год назад мы даже встречались с ней у моей бывшей учительницы, и я, кажется, рассказывал об институте и как лучше готовиться к вступительным экзаменам.

Я так долго и пристально смотрел в её лицо, что девушка смутилась.

 Даша? – спросил я, наконец, и она торопливо закивала, радуясь, что я помню, как её зовут.

Я заговорил с ней, и мне было приятно наблюдать, как она отвечает, немного смущаясь и морща лоб. Я спрашивал самые простые вещи: к какому предмету она сейчас готовится, как ей живётся в общежитии, но в тоже время был уверен, что всё, что

я спрашиваю, хорошо и что мне не нужно волноваться, как она воспримет мои слова. Мне нравилось, что я старше, и потому всё, что я делаю, выходит просто и одновременно весомо.

Даша же любые слова принимала всерьёз. И, как делают в таких случаях хорошие и внутренне тревожные девушки, сразу же стала рассказывать о себе так много, что могло показаться — она говорит всё, о чём думает. И только внимательно присмотревшись, можно было понять, что эта открытость от неуверенности и сильного стеснения. Впрочем, мне показалось, что я смогу вывести её из этого состояния, и мне стало легко с ней.

 Ну как, трудно учиться? – спросил я, лукаво улыбаясь, и мы рассмеялись, потому что оба знали ответ.

Мы пошли пить кофе в буфет, а потом я подсел к ней и стал помогать делать задание по математике, с удовольствием отмечая про себя, что ещё что-то помню из программы первого курса. Иногда мы отвлекались, и тогда я рассказывал забавные случаи из студенческой жизни. Даша слушала меня и смеялась, а я чувствовал тёплое расположение к ней, как если бы она была младшей сестрой моего лучшего друга.

Когда мы вышли на улицу, уже стемнело. В воздухе чувствовалась едва ощутимая радостная лёгкость, какая бывает, когда сделал всё, что нужно, а у тебя есть ещё лишние пятнадцатьдвадцать минут. И ты можешь идти, сколь угодно медленно, чувствуя, как льются эти минуты, но тебе до них нет дела. Я уже думал о чём-то другом — о встрече со старым приятелем, которая ждала меня сейчас, и о том, что мне нужно было с ним обсудить. Так хорошо и быстро прошли эти три часа, которые должны были оказаться скучными и тягостными.

Я вдохнул. Хотелось напоследок поговорить о чём-нибудь приятном.

– Зайдёшь? – спросила вдруг Даша неожиданно слабым, срывающимся голосом. Я повернулся к ней и удивился тому, что она вся словно уменьшилась. – У меня есть пирожки, правда, позавчерашние...

Некоторое время мы ещё шли молча. Её обессиленная улыбка и этот дрожащий голос – всё это было таким явным, что я удивился, как же мог не замечать этого раньше. Меня сковало боязливое желание не отвечать ничего или пошутить, но не касаться чужого чувства. Я всё ждал, что она сейчас заговорит о чём-нибудь весёлом, и тогда мы пойдём дальше, как ни в чём не бывало, но Даша всё так же потеряно молчала. Мы уже приближались к перекрёстку, где должны были попрощаться, а я чувст-

вовал, что теперь уже нельзя просто сказать, что я тороплюсь или ещё что-нибудь в этом роде, нельзя оставить её одну с этим тоненьким «Зайдёшь?»

- Ты в четвёртом общежитии живёшь? спросил я раздражённо.
 - Да, тихо ответила она и опять опустила глаза.

Мы остановились, словно завязнув в странном неловком молчании.

– Что ж, и чаем напоишь? – выговорил я вдруг едко, удивляясь своему неожиданно развязному тону. Но она как будто не заметила моей грубости, торопливо закивала и слабенько улыбнулась. И эта её навязчивая покорность вдруг так рассердила меня, что захотелось сделать что-нибудь злое, совсем уж грубое, и тогда я легонько приобнял её, будто желая довести до предела, заставить хоть немного сопротивляться мне. Но Даша только сильнее оробела, и мы зашагали дальше, оба чувствуя неестественность этого ненужного обнимания. А уже через минуту я поспешно убрал руку с её плеча, злясь уже не только на неё, но и на себя.

В лифте ехали молча, чувствуя неловкую близость другого человека. Вышли на восьмом этаже. На площадке перед лифтом было по-обычному накурено и грязно — всё как и несколько лет назад. Даша торопливо прошла вперёд, звякнула ключом и распахнула передо мной дверь в комнату.

– Проходи.

Я с опаской шагнул в темноту, стараясь случайно не налететь на что-нибудь, но уже через секунду Даша включила свет, и я смог оглядеться. Внутри оказалось неожиданно уютно — в маленькой комнатке с двумя кроватями и большим платяным шкафом повсюду висели яркие картиночки, под потолком лениво перекатывались два огромных жёлтых шарика, а в пузатой трёхлитровой банке на подоконнике стояли розы. Я ревниво взглянул на них, и мне отчего-то не понравились и эти цветы, и весёлые шарики.

– Ещё с восьмого марта осталось, – пояснила Даша легко и естественно, не думая. А потом торопливо принялась доставать из холодильника укутанный полотенцем поднос, но пирожки стали выскакивать из подноса, и тогда она отчаянно присела на корточки, чтобы те падали ей на колени. Я засмеялся её неловкости, подбежал, начал помогать, а она вдруг тоже рассмеялась сама над собой. И мгновенно стало как-то спокойно, исчезла

острота – мы снова стали равны, так что теперь я уже ни за что не решился бы приобнять её.

Когда мы собрали пирожки, Даша принялась заваривать чай, а я медленно подошёл к окну. Там, внизу, раскинулись знакомые мне здания, горевшие ровными рядами одинаковых окон. Моя старая жизнь текла за этими окнами, совсем не замечая меня и не останавливаясь ни на секунду оттого, что я уже не живу ею.

Я поглядывал на часы и ждал, что сейчас позвонит телефон, и я скажу Даше, что мне нужно идти. Мне не очень хотелось покидать эту тёплую комнату, отказываться от чая и пирожков. Но в то же время я знал, что вполне смогу справиться с таким необычным порывом.

В этот момент действительно раздался звонок. Я взял трубку и услышал на другом конце знакомый виноватый голос. А потом с каждым словом моего старого друга мне становилось всё веселее

- Вот, моя встреча отменилась, и у меня теперь свободный вечер, – сказал я и понял, что мне приятно сообщить ей об этом.
- А ты? Ты так и не рассказал, чем занимаешься ты? спрашивала Даша через полчаса, когда мы шли по освещённой редкими фонарями дорожке от студгородка в сторону дачного посёлка. Здесь было лучшее место для прогулок в этой части города, и мы оба это знали, так что свернули сюда, даже не сговариваясь.
- Рисую иногда, сказал я и увидел, как обрадовалась Даша, может, ещё и оттого, что это как будто сближало нас с ней, с её романтическими мечтами и надеждами. Но я сразу же перевёл разговор на воспоминания о школе, и мы ещё какоето время беззаботно болтали об учителях и общих знакомых тема, на которую можно было говорить вечно.
- Кажется, так давно это было, сказала Даша взволнованно, а я по-доброму усмехнулся этим словам, потому что давно это было у меня, а не у неё.

Мы шли вперёд, а дорожка становилась всё уже. Где-то совсем рядом, за маленькими одноэтажными домиками, загрохотала электричка — чёрный густой воздух вокруг задрожал от её близкого движения. Дорожка заворачивала налево, к станции, а справа виднелись уродливые, но таинственные очертания незаконченной стройки. Я вспомнил, как раньше мы с друзьями часто забирались на неё и по юношеской глупости лазали по балкам.

– Знаешь, я всегда хотела сходить туда, – неожиданно сказала Даша, будто слыша мои мысли, – но почему-то откладывала... страшновато...

Я невольно улыбнулся этому совпадению и лёгкости, с которой я сейчас мог совершить любой, даже совсем несерьёзный поступок.

- Так давай пойдём, предложил, лукаво следя за её реакцией – не испугается ли, и заметил, как удивлённо загорелись её глаза:
 - Сейчас, в темноте?

Я взял её за руку и настойчиво потянул вперёд. А Даша ещё секунду машинально сопротивлялась, но потом уступила и доверчиво пошла рядом. Шагнули на траву, так что весенняя сырость пугливо захлюпала под ногами.

Подошли к зданию, юркнули в небольшой проём в стене. Я включил маленький фонарик на мобильном телефоне, но всё равно двигался почти наощупь, а потом оборачивался и помогал Даше пройти то или иное место. На лестнице стало легче, и только иногда ещё путь преграждали большие тяжёлые плиты.

Наконец поднялись на крышу и остановились в нескольких метрах от края. Там, внизу, виднелся студгородок, а от него в чёрный прогал леса уходила тоненькая цепочка железной дороги, чтобы потом, почти у самого горизонта, влиться в светящийся тысячами огней город. Вокруг было совершенно темно, а там, вдали, будто разгорался огромный костёр. Я осторожно взглянул на Дашу — она почти не двигалась, иногда только глубоко вдыхая, будто желая вобрать в себя всю эту красоту.

 Как хорошо... – удивлённо прошептала она, но не смела шагнуть ближе.

Несколько минут мы ещё разглядывали открывшуюся картину, переговаривались, показывали друг другу что-то. Но потом вдруг замолчали, и тогда темнота надвинулась отовсюду, а мне почему-то стало тревожно оттого, что мы стоим здесь, отделённые от всего мира толщей чёрного воздуха. Даша тоже почувствовала что-то и осторожно, почти незаметно, дотронулась пальцами до рукава моей куртки. И тогда я на секунду испугался, точно ли смогу вывести её отсюда, не случится ли чего-то непредвиденного в темноте.

Ходил сквозь нас злющий весенний ветер, и я понимал, что ей холодно и что я мог бы сейчас обнять её, заслонив собой и от этого ветра, и от темноты, и мне так сладко стало от одной только мысли об этом. И хотя я понимал, что это даже не влю-

блённость, а только опьянение от возможной взаимности, мне так удивительно и приятно было, что вот сейчас вот так просто, от одного моего случайного движения, мы могли бы стать друг для друга особенными людьми. Но уже через минуту ко мне вернулось прежнее самообладание, и тогда я подумал, что ни за что на свете не совершу сейчас какого-нибудь глупого необдуманного поступка, который дал бы ей ненужную надежду.

– Кажется, ты замёрзла, пойдём, – сказал я, стараясь, чтобы это получилось спокойно и хладнокровно.

Даша осторожно кивнула и как будто даже обрадовалась чему-то.

Потом мы стояли на платформе, прощаясь, а из темноты гулко приближалась электричка. Даша не спросила ни моего телефона, ни когда мы встретимся, будто всё понимала. А я благодарен был ей за это самообладание и за то, что мы попрощались легко и весело. Но когда электричка тронулась, я вдруг представил, что она пойдёт сейчас по тропинке от станции до общежития, в той же темноте, в которой мы стояли с ней, но теперь уже одна, и мне неожиданно стало тревожно за неё. Мимо проносились поля, дома, дороги, я смотрел в окно и с удивлением прислушивался к себе. Но тогда мне ещё казалось, что это только рябь на поверхности души, вызванная ярким впечатлением, которая завтра пройдёт сама собой.

И откуда же было мне в ту минуту знать, что теперь никогда уже не забыть мне этого сильного переживания другого человека рядом, сладкого замирания от его чувства к тебе, тревоги за него. И уж никак не предвидеть мне было, что после этого случайного вечера моя жизнь уже не может остаться прежней...

НА НЕСКОЛЬКО МГНОВЕНИЙ

Рассказ

В Дивеево я приехал на неделе перед Троицей. Мои знакомые по институту русского языка посоветовали мне не обращаться в паломнический центр при монастыре и в многочисленные гостиницы, а поселиться в деревенском доме на въезде в посёлок, где предоставляли кельи иногородним. Там мне отвели маленькую комнатку, в которой вплотную стояли восемь кроватей, но в те дни паломников было мало, и потому я жил один. В

доме шёл ремонт и, проходя мимо душевой для сестёр, я видел нескольких мужиков, клавших кафель; они громко и матерно ругались друг на друга.

Днём я посетил все святыни монастыря, поклонился мощам святого Серафима Саровского. Вечерняя служба была длинная, но я отстоял её всю и назад шёл в том состоянии внутреннего удовлетворения, какое бывает, когда выполнишь тяжёлое, но правильное дело. Рядом шагали другие паломники, три женщины что-то бойко обсуждали у монастырской лавки. На колокольне зазвонили гулко и немного грустно. Я подал нищему старику у ворот и в приподнятом настроении направился в дом.

Когда я пришёл в свою комнату, то ещё немного полежал, отдыхая, а потом стал вычитывать положенные перед завтрашним причастием молитвы. Я чувствовал особенный настрой, и молитва шла в радость, что нечасто бывало у меня в городе. Вдруг послышался стук. Я поморщился и, торопливо отложив молитвослов, сделал несколько шагов к двери.

В комнату вошёл худощавый человек с большими коричневыми мешками под глазами.

– Здравствуйте, – сказал он, топчась на пороге, – скажите, можно у вас попросить телефон, а то я свой потерял, а мне нужно матери позвонить... Я свою карточку вставлю, не переживайте...

Секунду я сомневался, как бы опасаясь чего-то, но потом постарался как можно быстрее найти свой телефон и протянуть незнакомцу. Тот мелко закивал и заверил, что вернётся через пять минут.

Когда он вышел, я опять встал перед иконой, пытаясь восстановить потревоженное молитвенное состояние, но на душе стало поверхностно и беспокойно. Слышен был скрип половицы откуда-то снизу и чей-то отрывистый голос.

Мужчина на самом деле скоро возвратился.

- Спасибо, сказал он, казалось, весь сжавшись. Я взял телефон, но тот не спешил уходить.
- Знаете, всегда жалко, когда люди вот так вот встречаются и даже не узнают ничего друг о друге, – вдруг заговорил он. – Давайте познакомимся. Меня Андрей зовут. А вас?

Я назвался. Он подошёл ко мне и, как-то нелепо взмахнув руками, опустился на краешек моей кровати.

– А я вот тут у матушки живу, работаю...

Я кивнул, стараясь быть приветливым и не показать, что мне неуютно. У Андрея был длинный шрам на щеке, а на костлявых руках не осталось места от сморщенных бледных наколок.

– Кто вы по профессии? – спросил он, пододвигаясь ближе, так что я почувствовал стойкий запах табака. А когда узнал, что я занимаюсь фольклором, вдруг оживился. – То есть вы народные истории собираете? А давайте я вам расскажу свою историю?

Я хотел было вежливо объяснить ему, что занимаюсь немного другим и что мне ещё нужно готовиться к причастию, но не решился, и оттого на душе стало тоскливо и противно за свою мягкотелость. Мужчина же, кажется, обрадовался, что я не прогнал его и с воодушевлением принялся потирать руки, подбирая первые слова.

– Освободился я первый раз в двадцать лет и думал, найду себе женщину и завяжу с тюрьмой, – начал он, так что я невольно усмехнулся этому неожиданному началу. – И нашёл, Катей звали, старше она меня была года на три. Мальчик у неё был, Максимка, папой меня назвал. Тёща моя, Лидия Михайловна, говорит: живите, а я ей говорю: да мы живём, Лидия Михайловна.

Он рассказывал хрипло, но со странной неестественной напевностью, будто воображал себя былинным сказителем.

- Как-то поругались мы, я лёг в сени прямо на пол. А там доски у нас лежали неубранные, как вот здесь вот, продолжал он, показывая на угол моей комнаты, где на самом деле оказалось несколько досок. Закурил сигарету, лежу курю. Раз, слышу, а в досках зашуршал кто-то. Я поднимаюсь, раз никого вроде. Опять лежу, опять слышу. Поднялся, подошёл нет никого. Лежу, прислушиваюсь. А там опять. Кричу ей, Катя, слышишь ты, кто-то возится в досках, кот что ли? А она мне отвечает с кровати: не бойся, это Славик. Кто, спрашиваю. Славик, говорит, муж мой, он ко мне приходит. Я испугался, спрашиваю, призрак что ли?
- Вот так вот, улыбнулся он, опять довольно потирая руки. А через полгода посадили меня на восемь лет, и в лагеря в Кировской области. И вот, значит, тысяча девятьсот восемьдесят девятый, декабрь месяц. Как сейчас помню, бросили меня в штрафной изолятор, это если провинишься, тебя в штрафной изолятор сажают. И вот сижу я такой, а мороз шестьдесят четыре градуса, кому говорю, никто не верит. Так вот курточку на голову натянул, и дышу в неё, греюсь, он подскочил с кровати и, присев на корточки, стал сильно выдыхать, показывая, как он грелся. И тут слышу шорох в дверь. Смотрю стоит такой, как образ, неживой. Я спрашиваю: ты кто такой? Он говорит: Я

Славик, пошли со мной. А я так для себя думаю — это ведь бес ко мне пришёл, он мне предлагает петлю на шею себе набросить. Тогда я дурачком прикинулся и спрашиваю: а куда идти-то надо? Он мне говорит: а туда, где мы живём. Нас много, мы весь день развлекаемся, людей пугаем. Я говорю: не верю тебе. А он: сейчас я тебе покажу. И тут как будто из меня что-то вышло, и одни губы остались, мы с ним взлетели над тюрьмой и летим. А там вышка, я ему кричу: меня же сейчас охранник застрелит, и смотрю, а вертухай на вышке и правда автомат вскинул и стреляет, а мне хоть бы что. Дух ведь нельзя убить, понимаешь, он ведь дух! Вернулись мы, и тогда меня тот спрашивает: ну, что, убедился? Убедился, говорю, но ты бес, сатана, я с тобой никуда не пойду... И пять лет он меня мучил, шептал, и в образе скелета приходил... А я ничего! Смирение, знаешь, это самое большое оружие, когда человек смиряется, бес убегает...

Я недоверчиво смотрел на него. Конечно, я много читал похожих историй, так что удивить меня было сложно. Но во всех движениях мужчины была странная нервная эмоциональность, казавшаяся мне неестественной. Я подумал вдруг, что он где-то подслушал этот забавный рассказ, и теперь с удовольствием пересказывает его каждому паломнику.

– И вот в девяносто седьмом я вышел, женщина у меня появилась, Марина, жили мы с ней хорошо. А в девяносто девятом опять посадили. Да, нет, это по глупости, – заторопился он, замечая мой неодобрительный взгляд. – Один дружок сказал, давай, квартиру обворуем, там сигнализации никакой нет, а денег – миллион. Залезли мы туда, а там ничего и не оказалось... Да вы не переживайте, я у вас ничего не украду, потому что я знаю страх Божий. Вот мне понадобился телефон, я ведь пришёл и попросил... Мне матери только позвонить надо было, она старушка, ей восемьдесят два года...

Он так сказал это, что мне отчего-то разом стало стыдно. Я вдруг подумал, что если всё это правда: и бес, и больная мать – то как я могу вот так свысока рассуждать об этом человеке и подозревать его во вранье.

– Вот, – тем временем продолжал Андрей. – На этот раз меня отправили в Белый лебедь. Не слышали про такой? Там уголовников ломают, воров в законе всяких. Ну, я-то, конечно, не уголовник, я просто мужик... Приезжаешь туда, и тебя сразу бьют. Вот, заходишь, сразу дубинкой по башке, загоняют в туалет, потом бежишь по коридору, а потом раз – и начинают избивать. Потом раздевают догола, вещи отнимают, и в камеру!

Какие же мы уголовники, мы же люди, а они из нас кого делают?! Кормят, правда, неплохо, но и бьют прилично! Это когда вам говорят, что у нас демократия, не верьте, это всё — блевотина, везде бьют, и везде за скот считают! — закончил он, сжимая руку в кулак.

 Потом меня перевели в посёлок Нерыб, там уже Красный лебедь, кругом одни лебедя, - усмехнулся он уже совсем невесело, с какой-то неясной тоской. – Так вот там-то всё и случилось! Сидел я опять в изоляторе, папироска у меня была припрятана. И так закурить захотелось, невмоготу – спалили меня! Прибежали солдаты и стали избивать. А потом завхоз говорит: ну, доживи до утра. Мол, начальник придёт утром, и смерть тебе. И тогда я взмолился, так взмолился – Господи помоги мне! А утром заходит начальник, полковник, весь такой чистый, в рубашечке, и начинает меня бить. А раз попал по больному месту, по локтю, а я не выдержал, и так про себя – сука... А он услышал! И тогда я понял, что конец мне, и только молюсь про себя – Господи, прими мою душу с миром... И представляете, не убил. Бросил в коридоре, пришли солдаты, говорят, иди в камеру. А я зайти не могу, ползу на коленках. В обед пришли из санчасти, дали мне цитрамон, таблеточку.

Я видел, что он был в сильном болезненном вдохновении. Голос его хрипел и срывался, так торопился он рассказать.

— Но что самое главное! Лежу я тогда на спине в камере, курточкой прикрылся с головой, думаю — умирать, да и пусть! И слышу голос: «Андрей», вроде женский, думаю, это моя Марина. Я раз — куртку снимаю и испугался даже, думал, что я в аду — кругом огонь, свет. Вот не сойти мне с этого места! Стен нет, потолка нет. Это необъяснимый, неземной свет! Клясться не хочу, но я видел этот свет. И вот теперь за него и страдаю... Несколько раз потом я слышал этот голос, и всё повторял он — найди завет, прочитай завет. И тут по воле Божьей меня положили в санчасть. И там я и нашёл этот Новый завет, стал читать, и представляете — всё стал понимать! Мне открылась истина! И сегодня, например, ко мне пришёл батюшка Серафим, говорит: ты ведь спасаться приехал, так спасайся, а ты всё пьянствуешь!

Он горько уронил голову и вздохнул. Я хотел было начать утешать его, но не мог ничего сказать. Я подумал, что совершенно не знаю этот грубый мир таких людей, как Андрей, а в нём, возможно, гораздо больше Христа, чем во мне... И тогда на душе у меня стало пусто от ощущения своей чёрствости.

– У меня вот всё это в голове, – тем временем, договаривал Андрей, уже медленнее, как бы машинально, – я проповедую, рассказываю, я Завет знаю наизусть. Я каялся, мои слёзы покаяния, но я недостоин, я грешник такой, что земля должна разверзнуться...

Он замолчал и теперь только осторожно покачивался, глядя перед собой. Стало тихо, и слышно было, как на окне вразнобой пищат комары. Я чувствовал, что хочу остаться один, но отчаянно боялся, что Андрей заметит это. Я ждал, что он опять начнёт говорить, и приготовился всеми силами показать ему свою доброжелательность, но вдруг он встал и начал прощаться. Я с чувством пожал сухую ладонь.

Когда он ушёл, я ещё долго сидел в полумраке своей маленькой комнаты. Где-то за окном лаяли собаки, шуршала от ветра деревенская дверь. И тогда меня поразило странное ощущение, будто в безобразном мире безобразные люди сталкиваются друг с другом, что-то делают, что-то говорят, но ни одно их движение не случайно, и в каждом есть смысл. Я знал, что скоро мне станет стыдно за мою наивность, но я старался сохранить это ощущение осмысленности хоть на несколько мгновений.

Пока оно ещё не скрылось от моего взгляда завесой будничной лицемерной реальности.

г. Москва

Елена Грозовская

ПОЛЫНЬ-ЛЕБЕДА

B TPEX SOSHAX

Далеко мой дом, лес смыкается: Я одна в пути, девка глупая. Лишь собачий вой с ветром лается. Видно, всё опять перепутала.

Косы длинные – ум не очень-то... Всё плутаю вокруг трех сосенок. Отогреться бы, не морочиться У костра твоего по осени.

Я, как горная речка – чистая, А под кожею сталь клубочками. Лебедь белая – лебедь чёрная. С пастью льва и с клыками волчьими.

Дождь опять со мной, верный стражник мой – Как с лица вода, слёзы горькие. Три сосны в щепоть – ладно, бог с тобой, Не печалятся бабы с опытом.

Как собака я в диком племени – Не поймёшь, что там в сердце мается: То ли гнать меня чёрным веником, То ли ждать, как судьбы избранницу. Для кого-то ведь и Москва – Париж... Полюби, как есть, необутую! Что ж, целуя, ты, как всегда, молчишь... Видно, всё опять перепутала.

В ПОЕЗДЕ

Вокзальный запах – что на тамбур, И яйца всмятку – что на вкус, То Шепетовка или Гамбург, То вскользь помянутый Иисус. Глаза сквозные незнакомца, Не помню, как... черны, светлы? И что кондуктором – оконце Летит в мелькнувшие кусты, Торговка, старый полустанок, Динамик, семечки и кот, Сосед не вожделенно пьяный При слове «родина» зевнёт. Мелькают сосны, как деревья, Мелькает лес, что на дрова, Мелькают шпалы, что на север, На юг, на запад, в никуда... И то, что я – из лета в осень, И так обманчив горизонт, И чай, традиционно сносен, В стакане времени течёт. И с облегчением на солнце – Ступеньки, поручни, вокзал, И вздох прощальный незнакомца, Что взглядом плечи целовал.

моллюск

Мой дом... Он упирался в берег с крутым подъёмом. Ветер, как всегда, серчал, свежел, но оставался верен восточным окнам. Талая вода

мой дом не трогала, не отмывала пятен на мостовой с крутым подъёмом вверх на скалы, где позабыт и знатен стоял сосед его, с глазницами прорех на черепичной крыше. Старый замок тропинкой, пролегающей к двери, подманивал туристов и устало смотрел на домик мой. И яркая колибри-шмель под балками у крыши свила гнездо за зеленью плюща, орал скворец, ловила кошка мышь, бледнел закат в осколках витража.

Мой дом. На берегу ивовый куст в песчаной отмели в широкой полынье с ракушками... И маленький моллюск присматривает дом своей семье.

УТРО В АВГУСТЕ

Я – биограф Москвы, Я – свидетель московского лета, Слышу синее утро; Тихий двор с акварельной листвой Мне откроет все тайны... Что соседка моя Виолетта Из побитого блюдца Пьёт на кухонке чай с молоком.

Я узнаю от кошки – Феи крыш и прохладных рассветов, Как стучат каблуки, Обгоняя ленивый туман. И полаяв немножно На мечту о вчерашней котлете, Твой щенок, милый бигль, Принесёт поводок на диван.

Как и я – он покладист, В старой булочной в том переулке, Где еще на заре Замесил Пётр Саныч кулич, Разлетается август Ароматом московской буханки, И соседский терьер Знает точно – он тоже москвич.

Знает он, что теперь
Тоже летний московский былинник,
Что багрянец листвы
Через месяц захватит, шутя,
Захворавший сентябрь.
Но эпоха варенья с малиной
Нас спасёт от простуды
И проказ проливного дождя.

* * *

Весною, в это время года, не здесь в Москве, а где-то... где луга, речная дельта, мостики у брода, люблю гулять... На небе облака бесстыдно следуют за мною. Рядом плетется пёс – соседский спаниэль... Рыбак расставил удочки парадом на берегу. Бесцветная макрель, уловом лёгким у него в ведёрках наладом дышит на Великий пост. А парень счастлив... Тётка на закорках В крутую горку волочит навоз для грядок – пахнет очень скверно... Хотя... в сравнении с макрелью – ерунда. И счастлив пёс соседский и, наверно, в сравнении с макрелью - и я.

И хочется домоооой. И крепкий кофе, Чтоб запах – в сердце, а твой взгляд – в глаза, Чтоб где-то... лаял пёс и пелось что-то... И – слава Богу – где-то... в небеса.

ПОЛЫНЬ

Не роза, не ромашка я – Полынная трава. Земля моя – не пашня, а Песчаная гора.

И все ж под эту горочку Идут на водопой, За солнцем на пригорочке, За сорною травой.

Садовнику не справиться, С зелёной и густой, С песчаною красавицей Полынью-лебедой.

Он нежные, покорные Соцветья бережёт, А на рассвете сорную Полынь-траву стрижёт.

Дурманом не утешится, Рвёт с корнем и с бедой, И дышит – не надышится Полынью-лебедой.

MOCKBE

Это место святое... Избранница – На года, на столетья, на срок... Кто купил, кто продал – здесь останется Вечным ветром, крутящим у ног Разноцветные листья Борисовских, Мат людской и холмистый Затон, Грозья яблок на ближних анисовых, Звон на Спасской в ночной камертон. Тень веков не имеет значения Для твоих золотых куполов – Жизнь вращается, как наваждение Вседержателей стен и холмов, Для кого-то движением поезда, Для кого-то стоянием стен, Утром в пять сигаретой вполголоса, Проблесковым нахальством сирен... Переулки, «хрущёвки» да рощицы, На семи на счастливых холмах... Свет забытой звезды-полуношницы... В дождь намокший Андреевский флаг... Ворон сизый с короткими взмахами... Щётка серая дальних аллей... Хачапури, таджики с казахами Да коричневый храм-мавзолей... Но асфальт, утрамбованный в крошево, Отражает огни за рекой. И под музыку промысла божьего Разливает небесный покой На вокзал, на сутулого Пушкина, На дорожную даль без конца, На мальчишку родного и русского, И на памятник с взглядом отца... Твои улицы я не узнала бы Возвращаясь из дальних краёв, На чужбине не раз вспоминала я Пыльный запах московских дворов. Я просила торговца женевского: Дай мне каплю московских дождей, Мамин профиль за занавескою, Да скамью у «хрущевки» моей.

Москва – Женева – Москва

Юрий Лунин

ПРУДКА Рассказ

1.

На главном пляже Прудки с утра до вечера игра. Прыгают и падают, взрывая песок, загорелые тела. Не смолкают хлопки по мячу, смех, победные крики, горячие споры об ауте. В тени большого дерева спасается от жары всегдашний посетитель главного пляжа — парень с избыточным весом. Он неотрывно смотрит на игру стройных людей и щедро угощает их холодным пивом в перерывах между партиями, благодаря чему может ощущать себя частью их компании.

А совсем рядом с главным пляжем, отделённое от него полосой травы, — безлюдное пятнышко песка. На покосившейся ржавой трубе, торчащей из земли, табличка: «детский пляж». Правда, здесь давно не купаются дети, а только моются хозяйские собаки да смачивают кепки местные марафонцы — худые коричневые дедушки с седыми кудрями на груди.

К детскому пляжу примыкает крошечная пристань. По её серым, давно не хоженым доскам ползают пауки и ящерки. Около пристани позвякивают цепочками две облупленные лодки; давно не видели, чтобы на них кто-то плавал.

Прудка – мелкий и не очень чистый водоём. Однако отсюда не видно городских высоток и почти не слышно машин. Иногда сюда прилетают чайки; они шатаются над водой и кричат, слабо напоминая, что где-то на земле существует море.

Здесь, на детском пляже, в стороне от всех, проводят свои летние дни Света и Денис. Для них Прудка — что-то совсем неотделимое от лета. Если Денис спрашивает Свету по телефону: «Когда пойдём?» — то не надо уточнять куда. Разумеется, на Прудку.

К концу августа Прудка привычно отпадёт от их жизни. Начнётся холодное время, которое придётся всё чаще коротать в

подъездах. А пока Света лежит и, еле сдерживая смех, смотрит в небо, где гуляет солнце, а Денис, закусив сигарету, засыпает её тело песком. Ноги и живот девушки уже скрылись под двускатным песчаным холмом. Денис подбирается к Светиной груди и щедро сыплет горячие горсти на красный лифчик купальника.

- Ты не ржи, весь песок щас ссыпется.
- Я не могу, Денис, меня на смех пробирает. Дай руки хоть вытащу, я покурить хочу.
- Куда! На, кури, Денис вставляет ей в губы свою сигарету и сосредоточенно продолжает своё дело, нехитрое и приятное.

Подвижные дни на Прудке – в купаниях, в озорной беготне за Светой, без завтраков и обедов, на одних сигаретах и изредка бутылке пива, – не оставили на теле Дениса ничего избыточного, ничего про запас. Всё только для сегодняшней жизни. Он сидит на корточках и под натянувшейся кожей бугрится на солнце ровный, как нитка жемчуга, ряд позвонков. Вмялся в одну короткую складку плоский живот. И грудь у него совсем плоская, с почти не видными, впалыми сосками.

Света задумчиво рассматривает своего парня, но потом вдруг замечает, что парень закопал её уже по шейку; это смешит её, и от смеха песок снова ссыпается струйками, обнажая её грудь.

 – Э, э, хорош! – серьёзно останавливает её Денис, и она лежит затаённо.

Закончив дело, Денис для чего-то приминает вершину песочного хребта, создавая ровную прямоугольную площадку, затем рисует на этой площадке крест и тут уже сам не может удержаться от хохота.

- Светка, прикинь, ты в гробу!

Света взрывает песок фонтаном и вот, обиженная, уже стоит на ногах.

– Блин, Денис, ты дурак? На фиг вообще такие шутки?..

Стряхивая с плавок песок, она заходит в воду. Денис подбегает сзади и обнимает её. Света даётся не сразу. Потом задумывается:

- А что на этих лодках никогда никто не катается? На фиг они тогда болтаются здесь?
 - Я знаю?..
 - Наверное, они только чтоб людей спасать?
- Ага, или трупаков вытаскивать, вот так, крючками, и Денис подцепляет скрюченным пальцем Светин пупок.

Света опять вспыхивает и вырывается из его объятий.

– Ты дурак, Денис. Реально дурак. Мне бабушка говорила, что нельзя про это шутить, а то всё это будет. Мне даже теперь купаться страшно.

Светин страх Денис исправляет тем, что обхватывает девушку вокруг живота и силком тащит в воду. Она, пожалуй, значительно тяжелее его, но ему не впервой поднимать её и затаскивать в воду. Она визжит, стучит пятками по воде, но Денис лишь улыбается и спокойно влечёт её на глубину. Вот Света вся уже мокрая, и нет смысла визжать. Она стоит в воде, стягивая потуже хвост волос и показывая парню свои красивые подмышки. У Дениса во рту дымится окурок. Денис говорит:

- Спорнём, я щас весь нырну под воду, а потом вынырну, а сигарета не потухнет.
 - Ага, как?
 - Так.

Денис отворачивается к берегу, расставляет для нырка жилистые руки, и, пересчитав позвонки от шеи до копчика, Прудка поглощает его тело целиком. Он выныривает, подтягивает схлынувшие с бёдер шорты и через секунду поворачивается к Свете — с дымящейся сигаретой в зубах.

- Э... сдавленно удивляется Света, по-мальчишески искривив рот. Это ты как?
- Всё тебе скажи, улыбается Денис и выплёвывает окурок в воду.

После купания Света снова ложится на песок, а Денис берётся за новую придумку. У самой воды, где песок податливый и влажный, как глина, он вырывает ногой норку, точь-в-точь по форме ступни. Трудится довольно долго, прихлопывая сверху ладонью.

- Свет, иди ногу вставь в сапожок. Знаешь как прикольно!
 Оказывается, всё это он делал для Светы.
 - Опять напугаешь?
 - Нет, я тебе зуб даю. Просто приятно, и всё.

Света встаёт, с осторожной улыбкой подходит к норке и бережно вставляет в неё ногу, но не той стороной, и норка тут же рушится. Денис сильно отталкивает девушку и в бешенстве затаптывает ногой свою работу.

Блин, ты дура тупая, за фиг ты сразу свои лапы суёшь?!
 Не разобралась, а уже лезет!

Света стоит несколько секунд застывшая, а потом энергично принимается собирать свои вещи.

- Э, Свет... Ты куда?..
- Никуда! Козёл, достал меня уже.

Денис нацепляет глупую улыбку, подходит к Свете и снова прибегает к сильным небрежным объятиям. Света дважды их отвергает, а на третий раз нехотя принимает, и её вещи снова падают на песок. Она говорит только:

Ты какой-то неуравновешенный, Денис. Иногда нормальный, а иногда псих.

После этих слов Денис отходит к воде. Света видит его силуэт на искрящемся белом полотне Прудки. Он сидит на корточках и медленно, задумчиво водит ладонью по мелководью. Кажется, что вода и песок Прудки – это то, что он любит больше всего на свете; просто не все любят их так же, как Денис, вот он и бывает иногда таким несдержанным. Света сразу прощает его.

Неожиданно со стороны главного пляжа прилетает волейбольный мяч и несильно попадает Свете в плечо. Денис подбирает мяч, за которым уже бежит крепкий коротконогий парень лет двадцати. Парень выхватывает мяч из рук Дениса и убегает, не извинившись и не поблагодарив. Денис спокойно возвращается к воде. Света не расстроена, что Денис не высказал парню. Она знает, что Денис не трус и, если это действительно понадобится, покажет себя.

Тёплым вечером, идя по асфальтовой тропинке в сторону города, они говорят о том о сём.

- На фиг ты в этот одиннадцатый класс пошла?
- А на фиг я тогда десятый закончила, если в одиннадцатый щас не пойду?
- А я знаю? Я тебе говорил, пойдём вместе со мной в шарагу, ходили бы везде вместе.
 - Мы и так ходим.
 - Это летом. А осенью?
- Мне мама сказала, иди в десятый-одиннадцатый. Её ж фиг переспоришь. А ты-то куда собираешься после шараги думал, нет?
 - Куда, куда в армию, куда.
 - Косить не будешь?
- На фиг надо. В армии каждый мужик должен отслужить.
 Мне это батя с детства вдолбил. Там не побьют потом всю жизнь будешь огребать.

Денис провожает Свету до подъезда, они быстро целуются и прощаются до завтра. На небе собирается дождь.

Около часу ночи Света позвонила Денису на мобильный телефон. За окнами у обоих вспыхивали молнии, уже давно не унимался ливень. Света плакала.

- Денис, они меня довели. И мама, и отчим. Я больше не могу здесь оставаться. Бесят меня уже. Хорош там матюкаться, вы, пьянь!.. с надрывом крикнула она в сторону и снова обратилась к Денису Что делать, Денис?
 - Блин. Я не знаю, Свет. Заснуть никак не судьба?
- Да как тут заснёшь?! Ты не представляешь, какой здесь ад!
 - Выходи тогда на улицу.

Света сразу перестала плакать и спокойно шмыгнула носом.

- Как, прям в дождь?
- Да это ж ливень, он скоро пройдёт.

Они встретились на перекрёстке, напротив лесопарка, где обычно встречались днём, чтобы идти на Прудку. Впервые им предстояло гулять ночью вдвоём.

На Денисе был камуфляжный дождевой плащ. Он был мятый и оттопыривался, как бумажный, в разные стороны. Точно такой же Денис выдал Свете.

- Батины плащики, рыбацкие.
- Куда пойдём? спросила Света, тоже надев плащ.
- Не знаю. На Прудку пойдём.

Взявшись за руки, они зашуршали плащами и вошли в тёмный лесопарк.

Уже на полдороге к Прудке они заметили, что лить перестало, только капало с веток. Звёзды замигали в трещинах асфальта. Быстро пропела и замолкла маленькая птица, обозначив конец ненастья. Ребята крепче сжали друг другу руки от красоты.

Они впервые увидели свой детский пляж ночью. Дежурный фонарь освещал зелёным светом место, где они лежали днём, а также кусок пристани и боковину одной из лодок на застывшей воде.

- Купаться будем? спросил Денис, стягивая с себя плащ.
- He-e-e, задрожала Света, в такую темень ни за что.
- А что, если… Денис прошёл по скрипучей пристани и, закурив, присел на корточки… что, если отколупать вот эту вот… он деловито загремел цепочкой… вот эту вот лодочку…
- Ура, ура, ура, тихонько запрыгала Света, шурша плащом и неслышно хлопая в ладоши.

– Тихо ты, – сквозь сигарету, уже с усилием проверяя цепочку на прочность, сказал Денис. – Ещё... хоп!.. ещё пока ничего не «ура»...

Света совсем не видела Дениса в темноте, только видела, как мельтешит в ночи уголёк его сигареты, и ей показалось, что последние слова произнёс из темноты совершенно взрослый человек – может быть, её муж. Почему-то ей сейчас совсем не хотелось курить.

Цепочка звякнула по-особенному.

- Всё, Денис отряхнул руки и спокойно прибавил. Сигай.
- Ура, ура, ура, шептала Света, осторожно ступая на пристань и подавая руку Денису.

Они зашли в лодку. Лунные блики тут же задрожали на воде вокруг них, как спины золотых рыбок. Они сняли плащи и расстелили их по мокрому днищу. Давно им не было так необычно и хорошо.

Денис оттолкнулся ногой от пристани – и так и застыл с вытянутой в воздухе ногой, наслаждаясь первым ощущением настоящего плаванья. Детский пляж под зелёным фонарём, покачиваясь, удалялся, а противоположный берег был съеден темнотой, и казалось, что лодка отправляется в бесконечную неизвестную даль.

- Денис, а ты когда-нибудь был на море? раздался в темноте Светин голос. Ребята почти не видели друг друга.
 - Не-а, помолчав, ответил Денис.
- A меня в детстве возили, но я уже не помню. Даже фотографий нет. А ты хочешь на море?
 - Да так. Вообще, можно побывать...

Он увлечённо грёб ладонями, сидя на носу лодки. Он слишком дорожил тем, чего добился сегодня на Прудке, чтобы увлечься далёкими, хоть и прекрасными, мечтами о море. Свету это совсем не огорчило и, чтобы поддержать Дениса, она и сама заговорила о настоящем.

- Посмотри, как красиво. Тишина такая. И вода приятно как плещется. Звёзды смотри какие. А вон самолёт на посадку идёт, мигает. А в самолёте люди.
 - Конечно, а кто ж ещё. Не сам же он летит.
 - А ты летал на самолёте?
 - He-a.
 - Я тоже. А ты хотел бы?
 - Да так. Ну, можно.
 - А тебе не страшно? Они же разбиваются. Мне нет.

- Да чего бояться? Я ничего не боюсь.
- Вообще ничего? А смерти что, тоже не боишься? осторожно спросила Света.
 - Да когда она ещё будет, смерть?

Ответ понравился Свете. Так понравился, что она сказала:

– Ну всё, хватит теперь грести. Мы, наверно, уже на середине. Давай ляжем и будем смотреть на звёзды?

Они так и сделали.

Света и Денис лежали неподвижно – её голова на его руке, – и лодка колыхалась слабо-слабо. Денис тихо произнёс:

- Вроде, надо покурить, а двигаться совсем неохота...
- Ну и не надо.

Они в одну секунду повернулись друг к другу и поцеловались.

А дальше всё происходило как будто помимо их воли. У каждого из них это было впервые.

Потом они обнялись и, не вымолвив ни слова, уснули. Через полчаса, не привыкнув спать в обнимку, они отвернулись друг от друга.

Пока они спали, ветер возил лодку от берега к берегу, как бумажный кораблик на нитке.

3.

Дениса толкнули в бок. Он открыл глаза, в глаза ударило солнце.

 Что, наплавались? Вываливайте отсюда. Нашли, вашу мать, место, где... – тут прозвучало грязное слово.

Света, хоть и не до конца проснулась, тут же пугливо ощупала себя, запахнулась плащом и стала убирать за уши пряди волос. Лодка покачивалась у пристани, на которой стоял, возвышаясь, мужик в свитере на голое тело. Лицо было знакомое — он часто играл в волейбол и, видимо, присматривал за лодками.

Денис встал, перешагнул на пристань и быстро спрыгнул на берег, забыв помочь Свете. Вылезая из лодки, она потеряла равновесие, и ей, ругнувшись, подал руку мужик.

– Эй, орёл! Ты куда пошёл-то? Цепочку кто будет чинить – я?
 Денис вернулся и стал чинить цепочку, подбивая её камешком.

Мужик оказался не таким уж плохим: он больше ничего не сказал, а ведь мог. Он проверил Денисову работу и ушёл. Уже подтянулись первые волейболисты. И грузный парень с пивом,

как всегда, занял место под деревом. Совершили первый виток вокруг водоёма неутомимые пожилые марафонцы. Казалось, наступал обычный день на Прудке. Как вчера, как позавчера.

Света и Денис сидели одетые на песке. Денис возил по песку ладонями, бездумно создавая какой-то узор. Света забралась с коленями под кофту. Денис молча предложил ей сигарету — она медленно помотала головой и положила на колени подбородок, а потом уткнулась в колени всем лицом. Пряди волос попадали с затылка и некрасиво рассыпались по кофте. Денис обнял девушку одной рукой.

Свет.

Она не отозвалась.

– Све-ет. Ты не слышишь меня, что ли? Ты чего боишься? Не бойся. Я ж с тобой, Свет. Это ж я сделал, не кто другой.

Девушка не шевелилась. Денис полохматил ей волосы.

– Свет, ну ты что, умерла там?

Света не отвечала ни словом, ни движением.

– Ладно. Ты как хочешь – я купаться.

Денис разделся и стал заходить в воду. Света подняла голову и увидела его привычный худой силуэт на фоне воды. Она вспомнила, как вчера этот человек нехорошо обошёлся с ней, когда она нечаянно сломала песчаную норку. Но сейчас он обернулся и просто, по-родному позвал её рукой.

Пока Света раздевалась, он всё глядел на неё. Ей было неловко, будто её тело изменилось за ночь не в лучшую сторону и Денис может это заметить. Скованно, даже виновато, ударяясь коленкой о коленку, она дошла до воды, кромку которой облепили сигаретные фильтры, и с неизвестной мольбой взглянула на своего парня.

- Иди ко мне, чего ты? Денис повторил уверенный призыв рукой. Света, сплетя руки на груди, недоверчиво подошла к нему. Она чувствовала себя такой некрасивой и ненужной, что в глазах её даже заблестела гордость: ну и ладно, ну и суди теперь сам, нужна я тебе такая или нет. Я, если что, долго плакать не собираюсь.
 - Ну чего ты вся скукожилась, Светка? улыбнулся Денис.

Он окатил её водой, и тогда она словно проснулась: отомстила ему ответным фонтаном и ловко, как мальчишка, нырнула в Прудку, показав небу спину и коричневые пятки. Денис нырнул вслед за ней.

Мила Машнова

ХАРЬКОВ - МОСКВА

* * *

Голос молчания – вязкая топь В мире чернеющих ртов. По языку барабанная дробь Бьёт от несказанных слов.

Тени – на завтрак, дым – на обед, К ужину – едкий туман. У тишины одиночества цвет, Запах – пьянящий шафран.

Крик распинает на клятом кресте, Ржавые гвозди вбив, Тот, кто услышанным быть захотел, Срок немоты отбыв.

Так обнимают жизнь у черты Смерти под куполом тьмы. Так забывают имя, черты, Тех, чьи тускнеют умы.

Голос – молчания вязкая топь В мире метрических «до». По барабанным – несказанность – дробь. Из «решено» в «решето»...

НЕФТЬ НОЧИ

Нефть ночи заливает мне глаза, И поднимает ад, размыв границы... Я променяла душу на эрзац, Чтоб за предателей, отныне, не молиться.

Лишь мёртвые хранили верность мне, Хоть Бог и обнулил им сердце-счётчик. Кто истинно любил – остался нем, Наградой тишина звучит всё чётче, чётче...

Пусть мне не стать моложе, чем вчера, Разгладив письмена морщин на коже. Закончится декабрь, январь, февра... И стыд прощения мной будет уничтожен.

САТИ

Сентябрь врастает в осень, Диск солнца карминно-ал. Запомни: ты юность бросил В эпоху кривых зеркал.

Я белой вороной в чёрных Одеждах к тебе иду. Тоска и печали штормы Играют здесь в чехарду.

Индийской вдовою Са́ти Вхожу в роковой костёр. Где смерть это лже-проклятье, Которым мирянин горд.

Давай! Обыщи словами! Пустынен сердечный холл. Из листьев дожди стихами Посыпались на мой стол...

ТЬМА

Тьма толкается, бьёт под дых... Завяжи эмоции в узел.

Стань терпимее всех святых, Чтобы рая радиус сузил До тебя милосердный Бог.

В толчее равно рваных будней – Одиночество и жест «ok»... Жар духовный начнётся в грудне.

Получая кайф палача, Словом-кровью чернильным брызжешь.

Только губы твои молчат – Ты на стенах души мне пишешь...

> Сегодня беснуются ангелы, Сняв крылья тяжёлые с плеч. Мне б, Господи, начисто, набело Судьбу на ладонях насечь.

* * *

Где утро не треснет презрением, Смещая навек горизонт, Где будни не вырваны рвением Спасти новых душ гарнизон.

Где прошлое сквозь настоящее Берилловый взгляд не затмит, Где, солнца напившись палящего, Развеется запах обид.

ХАРЬКОВ - МОСКВА

Харьков тире Москва. Пыль городов и серость. Я без тебя – мертва, просто живей, чем хотелось, выгляжу. Завтра зима. Встречу её в экране окон своих. Взимать выйду печаль. А в кармане пальцы искать начнут прошлое. Как нелепо! Но бесполезен труд – лишь мелочь звенит монетой. В мудрость играть нет сил. Я до единого помню, кто от меня уходил, но сердце не вырвал с корнем. Скоро придёт рассвет... «Красной» шаблон порвём? Харьков – Москва – билет куплен сегодня днём.

г. Харьков

Алёна Белоусенко

ДОЧКИ-МАТЕРИ Рассказ

Глухо стучит мамино сердце под сорочкой. Олеся приникла головой: тук... тук... тук...

У девочки Саши из параллельного класса умер папа. Учительница сказала, что остановилось сердце...

Олесе не было жалко Сашу, с которой она и раньше мало разговаривала и которую с тех пор стала совсем избегать. Она чувствовала только жуткое удивление. И если бы внутри Олеси были глаза, они бы там широко открывались и хлопали, когда она обычными глазами смотрела на Сашино лицо.

Тук... тук... стучит ещё, но будто медленнее. А если остановится? От этой мысли Олеся приподняла голову и через мгновение плотнее зарылась под мамино крылышко. Мама так называла свою руку и, когда Олеся плакала, приглашала «под крылышко», а потом ласково убирала с лица спутанные волосы... В головё все сдавило от подступающих слёз. Мама молодая, даже бабушка у них еще жива. Мысль, что бабушка жива, немного обрадовала Олесю, ведь мама не может умереть раньше неё.

Саша появилась в школе через две недели. Деньги, которые собрали её маме, она взяла. Олеся не знала, сколько было денег, но ей немного захотелось, чтобы у неё тоже умер папа. Ей бы этих денег на многое хватило. На летающую фею из рекламы. И ещё на что-нибудь.

Олесин папа давно ушёл от них. От неё не скрывали, что он живёт с другой тётей и покупает игрушки другим деткам. Олеся понимала, когда по телефону мама разговаривала именно с ним — тогда мама ругалась и говорила, что Олесю кормить нечем. Олесе от этих слов становилось до горечи обидно, и она сразу же начинала кричать из комнаты: «Мамаа, неет!» Мама строго цыкала на неё, прислоняя трубку к груди: «Олеся, тихо

ты!» Олеся тут же прибегала на кухню и, стуча кулаками по маминым бёдрам, отчаянно требовала: «Скажи, что я не голодная, мамочка, нет!» Мама ещё больше злилась на папу и вскоре бросала трубку...

«Олеся, перестань вертеться, завтра не встанешь», – вдруг пробурчала мама.

От строгого маминого голоса все страхи вмиг исчезли. Притихнув и закрыв глаза, Олеся заснула.

Мама проснулась в семь. Олеся слышала будильник, но знала, что её разбудят позже. На кухне загудел чайник, потом зашипело на сковороде масло. Эти звуки теплом растеклись по телу. Они были вестником самого важного – мама живая. И не хотелось ни засыпать, ни просыпаться, а только дремать с этой солнечной мыслью.

У соседей через стенку заиграла иностранная песня. Олеся смогла понять только «love» и «my». Увлекаясь танцевальным ритмом, она застучала пальцами по матрасу, будто по клавишам фортепиано, но легче и небрежнее. Песня предвещала ещё неизведанное веселье и вела в будущее, была самим будущим — загадочным и счастливым.

Готовя на кухне, мама тоже услышала эту песню сквозь звуки шипящего масла и утреннего цапанья метлы об асфальт, доносившегося из окна. И ненадолго вспомнила школьное время, когда эта песня только вышла в эфир. «Почему сейчас всё не так, как она представляла?» — подумала она вскользь. Но попытка ответить на этот вопрос вызвала только прилив тоски, и мама в очередной раз сделала вывод: молодость просто обманула её.

Мама взяла из косметички зеркальце, чтобы успеть накраситься. К тридцати годам она выглядела старее своего возраста — её это огорчало. Разве только упругую и высокую грудь по-прежнему не покидали молодые силы. И внутри самой мамы до сих пор жила одна молодая искорка. Она разжигала огонь, когда мама нравилась мужчинам, когда ей дарили подарки и подвозили из клуба домой. Эта искорка родилась в девичестве и всё ещё не перегорела.

– Олесь, вставай, – поцеловала она дочку в лоб.

Олеся делала вид, что спит – мама начала злиться.

 Если не проснёшься, оставлю тебя здесь! Всё, – встала мама с кровати и, не колеблясь, направилась к двери.

Прикидываться спящей Олесе уже не хотелось, ведь в школу всё равно бы пришлось собираться или ещё хуже – оста-

ваться дома одной. Но и просто так встать она не могла. Олеся надеялась, что мама ещё раз ласково подойдёт к ней, погладит по лбу и вкрадчиво и нежно попросит встать. Уже сожалея о своей игре, она будто чувствовала на себе мамину нежную руку и тёплый поцелуй.

Ты портфель собрала? – крикнула мама из кухни.

Олеся нечаянно ответила «да» и обрадовалась, что нехотя обнаружила себя.

– Проснулась, наконец, – зашла мама в комнату. – Одевайся быстрее и блины кушать.

На обеденном столе осталась лежать мамина косметика. Прозрачный мешочек, заляпанный кое-где фиолетовыми тенями и чёрточками туши. Силуэты волшебных тюбиков с английскими буквами приковали Олесин взгляд. Хорошо бы сегодня после школы попробовать всё это до маминого прихода. Когда-то давно Олеся уже пробовала накраситься помадой, но на ней она смотрелась совсем не так, как на маме. Сейчас же она почувствовала в себе больше умения и сноровки.

– Посмотрим сегодня, что у тебя по русскому будет за четверть, – сказала мама, будто по привычке, и вспомнила, что вечером нужно пораньше уйти с работы и отвезти ребёнка к бабушке. Ещё успеть собраться – в семь подъедет Паша.

У Олеси опустилось сердце, она знала, что у неё будет тройка. Свёрнутый в трубочку блин стал каким-то чужим, словно это не её вовсе блин, а другой девочки, и она, Олеся, не имеет права макать его в сгущёнку и есть.

Закончился последний учебный день. По русскому поставили тройку. Олеся на другое и не надеялась, разве только самую малость. Вернувшись домой и сбросив тяжёлый портфель в коридоре, она начала, торопясь, искать место, куда можно было бы спрятать дневник. Но в маленькой однушке не находилось ни одного шкафчика, который мама не могла бы случайно открыть.

Взывая к летней неге и беспечности, сквозь оконное стекло проникли весенние лучи. Олеся присела. На обеденном столе продолжала лежать мамина косметичка. На мгновение стало даже легко и весело, словно тройки и не было. Олеся давно хотела попробовать намазаться тушью. Взяв мамино зеркальце, она провела толстой чернявой кисточкой по ресницам, но тут же задела глаз и закрутила тушь обратно. Пока рано. Настоящая жизнь ещё впереди. Когда она станет старшеклассницей,

то мама начнет покупать ей лифчики и туфли на каблуках, а в школу разрешит ходить с распущенными волосами.

В коридоре послышались шаги. Олеся быстро положила косметичку на место.

 Олесь, сейчас кушать и к бабушке, – сказала мама с порога.

У бабушки всегда полный вкусностей холодильник и свободный компьютер, на котором можно сколько угодно смотреть мультики. От радостной новости Олеся забыла про дневник.

Посмотрев на дочкины туфли, мама вспомнила, что забыла купить Олесе сандалии, чтобы надевать их с носками. Бабушка сейчас точно начнёт ворчать... Мама недовольно вздохнула.

Бабушке шёл уже седьмой десяток, и сказать, что она выглядела моложе своих лет, нельзя было. Она продолжала работать на вокзальной кассе, хоть и брала уже только половину смены. От долгого сидения поясница ныла так, что её потом невозможно было размять, да и пошатывало иногда от усталости по дороге до дома.

Когда пришли Олеся с мамой, бабушка хозяйничала на кухне.

- Это мы, зашла мама в квартиру.
- Ага, проходите, сказала бабушка, переворачивая котлеты. Надолго ли теперь? спросила бессильным голосом.
- До завтра. Я пораньше зайду, ответила мама, торопясь уйти и уже целуя Олесю на прощание.

Бабушка слегка покачала головой, мол, знаю я, как ты пораньше зайдешь, прогуляешь до утра, проспишь до обеда и придёшь к вечеру, если не на следующий день. Ребёнок каждые выходные у бабки, матери не видит и домой идти не хочет. Да разве такое возможно, чтобы ребёнок к матери родной не хотел домой идти?

- Покормила хоть?
- Она ничего не съела почти, пару ложек супа только.

Олеся, нахмурившись, замычала «нее», но больше для вида, так как кушать уже хотелось.

- Пошла я.
- Давай, давай, уже в закрытую дверь сказала бабушка. –
 А мы с тобой обедать будем, обратилась она к внучке.

Олеся долго стояла в ванной и намыливала руки новым, только развернутым бабушкой, хозяйственным мылом, смотря на себя в не заляпанное, как у них, засохшими каплями зеркало.

Бабушка намазала на котлету сметану. То ли от голода, то ли сметана действительно делала мясо вкуснее, но Олеся подумала, что теперь будет просить маму готовить именно так.

- Как в школе дела?

У Олеси все опустилось. У нее же тройка по русскому! Где она оставила дневник?! Она же его не успела спрятать... Он остался на столе – мама его найдёт.

Нормально, – попыталась непринужденно ответить Олеся.
 «Несчастный ребенок, – подумала бабушка, – с утра встаёт, учится. Так ещё дома мать не кормит и по мужикам чужим бегает. Неужто мы так раньше жили, дед? – переведя взгляд на портрет умершего мужа, стоявший рядом с иконами, думала бабушка. – За что мне одной на Настькины несчастья смотреть?»

Олеся привыкла, что бабушка часто молча разговаривала с дедовым портретом, и в такие моменты старалась не смотреть в её сторону, как будто бабушка делала это тайком от неё.

«Подрастёт немного Олеська, и мне к тебе уж можно будет на покой», – обдумав ещё что-то, прошептала бабушка.

Мама едва успела собраться. Приготовила мясо, приняла душ, ещё раз накрасилась и сменила постельное белье. Обвела взглядом давно немытый пол – «много чести будет», и не стала убирать. На столе в прихожей лежал Олесин дневник.

«Ну-ка, ну-ка, неужели ей четыре всё-таки поставили, раз она на виду его оставила», – подумала мама, открывая его. Но там стояла тройка.

«Значит оставила, чтобы я узнала без её присутствия. Но так, может, даже умнее. Я в детстве обычно прятала». В этот момент мама ясно вспомнила один вечер. Хотя и не могла точно сказать, связан ли он был с тем, что она прятала дневник или нет. Сколько ей было? Может, шесть, а может, восемь. Было холодно, вечер, вокруг — ни души, только она и бабушка возвращались откуда-то домой. Мама была обиженная, и поэтому плелась сзади. Бабушка не оборачивалась, и, уязвленная её твердостью, мама вдруг остановилась. Бабушка продолжала идти — завернула за пятиэтажку и скрылась из вида. Испуганная мама, уже забывшая обиду, побежала за ней вслед. Она хотела закричать на всю улицу: «Мама», но, завернув за тот же дом, узнала впереди её силуэт. Бабушка продолжала идти в том же темпе. Мама тихим, но быстрым шагом, чтобы бабушка не заметила её отставания, приблизилась, не доходя, как и прежде.

пары шагов. А затем и совсем поравнялась. Так они и дошли до дома, не обмолвившись ни единым словом.

И только сейчас мама вдруг так ясно осознала, что, сворачивая за дом, бабушка знала, что она не идёт за ней.

Паша приехал с пустыми руками. Мама встретила его с едва скрываемым недоумением. Он это заметил, но сам продолжал широко улыбаться.

- Привет, сладкая, - притянул он её за талию.

«Да ты, я смотрю, уверен в себе», – подумала мама, слегка отстраняясь.

Возле порога лежали тапки, оставшиеся от мужа. Она специально достала их для Паши, но сейчас обуть не предложила и прошла в комнату. Сев на кресло, она начала рассматривать себя в зеркало, висевшее на стене напротив. Мама была в однотонном синем платье без лишних деталей, которое, несмотря на это, очень выигрышно облегало фигуру, а капроновые колготки хорошо сужали ляжки. Закинув ногу на ногу, она присела на стул так, чтобы побольше оголить ногу из-под платья.

«Посмотрим, что ты будешь делать», – злорадно подумала она.

- Девчонка-то не придёт? - разуваясь, спросил Паша.

Мама сначала не поняла, про какую девчонку он говорит. Но заметив, что он смотрит на Олесин портфель, оставленный в коридоре, догадалась. Она и так чувствовала себя униженной из-за того, что постаралась, приготовила мясо, купила дорогой торт, а он пришёл с ней переспать, даже не удостоившись купить цветы или бутылку. А теперь еще позволяет себе её дочь называть девчонкой.

- Мою дочку зовут Олеся. Это её дом, когда захочет, тогда и придёт.
- Как бы не в тот момент-то пришла, сказал Паша, смеясь совсем простодушно и без злобы. Я в туалет зайду?
 - Вон там, показала мама.

Да что же он вздумал про себя такого! Неужели он считает, раз у меня ребёнок, я кинусь на любого, лишь бы взял?

Выйдя из туалета, Паша не знал, что говорить, и продолжал искренне улыбаться.

– Суп будешь?

Паша помялся.

- Может, что-нибудь выпьем? спросил он, подсмеиваясь.
- А ты что-нибудь принёс? ликуя про себя, ответила мама.
- Неет, но я могу сбегать, сказал он, оставаясь довольным собой.

- Давай, беги.

Мама поспешно выпроводила его. Защёлкнулась дверь, и она поняла, что ни за что не впустит его больше. В углу коридора лежал Олесин портфель.

«Возвращайся к себе домой», – написала смс. Паша несколько раз позвонил – она не взяла трубку.

Зайдя на кухню, мама первым делом достала сковородку с мясом и, не перекладывая в тарелку, начала есть.

Ну, а что делать, первый сорт уже давно разобран. Но на хороших она раньше не смотрела, да и сейчас бы положа руку на сердце не взглянула, как бы здравый рассудок ни подсказывал. Так она в школе послала страшного одноклассника. А он единственный, кто ей за всю жизнь подарил украшение, не считая мужниного обручального кольца. Серебряный кулон сердечком... Так как он, никто не ухаживал и так долго не добивался. Не побоялся, на выпускном признался, стих рассказал даже. Наверно, сам сочинил. А сейчас в Москве, хорошо зарабатывает. И симпатичным стал.

Обычно воспоминания об упущенных мужчинах не вызывали большого сожаления, но не сейчас.

За просмотром очередной серии мелодрамы по кухонному телевизору, бабушка не торопясь состряпала ещё одну сковородку котлет. Олеся бегала то в зал за компьютер, то к бабушке на кухню.

- Баб, а ты во сколько лет замуж вышла? спросила вдруг Олеся.
- За деда-то? переспросила бабушка, будто вспоминая. За деда, Царствие ему Небесное, я вышла, когда мне двадцать семь было, облокотившись на подоконник, с нежностью начала рассказывать она. Засиделась я тогда в девках... Мать моя, покойница, Царствие ей Небесное, не хотела меня отдавать, не молод ведь был он уже, да ещё разведённый. В то время это ого-го! погрозила бабушка пальцем, подумав, что сказала лишнего. Не то что сейчас, творят, что хотят.
 - Ты его любила, баб? заинтересовалась Олеся.
- Любила, не любила, дом уже свой хотелось, очаг, строго сказала бабушка, думая, что рано Олесе ещё про любовь-то спрашивать. А он, конечно, ухаживал хорошо, ни на шаг не отходил. Я тогда девка добротная больно была, круглолицая, и не думала, что глаз на меня кто положит. А он положил, в душу смотрел... Не на внешность смотреть надо, вот так вот.

- Жили-жили, не тужили, вздохнула бабушка после недолгого молчания, и прибрал его Бог, сердечко слабенькое было. Упокой душу раба Божьего, бабушка перекрестилась и поклонилась иконе Божьей матери, стоявшей на подоконнике.
- Жизнь-то она штука тяжёлая, хоть и простая проще некуда, Олесенька. Господа почитай да мать свою люби и слушайся, – бабушка погладила её по голове.

Надеясь ещё что-нибудь интересное услышать, Олеся не торопилась идти в зал. Но, казалось, заговорив о Боге, бабушка уже не вернётся к прежнему разговору, не расскажет, как же именно дед её любил. Неужели больше ничего не расскажет? Олеся хотела ещё спросить, как же слушаться мать, если бабушкина мать не хотела её выдавать замуж, но было неудобно – бабушка уже занялась вдруг обнаружившейся пылью на иконе.

Стукнула входная дверь.

- Это я, торопливо и громко назвала себя мама.
- Мамаа! подбежала к ней Олеся.
- Ух ты как рано! Даже не позвонила! Нагулялась уже? вышла из кухни радостная бабушка.
 - Собирайся, Олесь, мягко скомандовала мама.
- Да посиди немного-то, поешь, котлет еще нажарила. А то только бегаешь туда-сюда.
- Мама, да, давай посидим! сказала Олеся и, подумав о том, что как раз не досмотрела мультик, побежала в зал за компьютер.

Мама с бабушкой сели ужинать.

Накладывая котлеты, бабушка предложила добавить сметаны, но мама торопливо отказалась. «Со сметаной-то вкуснее», – пыталась уговорить. «Нет уж, спасибо», – усмехнулась мама. Бабушка, вспомнив с каким аппетитом ела Олеся эти котлеты, с болью о чём-то непоправимом осознала, что слишком поздно уже что-то говорить. Дочь её больше не слышит. Но чувство кровной и никем не отменяемой власти матерей над своими детьми было сильнее всяких мыслей.

- Нормального тебе мужика надо... У Надьки Топтыревой сын ведь давно уж развёлся. Работящий, здоровый мужик, матери слова лишнего не скажет.
 - Мамааа, басом протянула мама.
- Ну это по её вине развёлся-то, она шалавила от него. А что мама? Ребёнку отец нужен, а не твои ушёл-пришёл.
- Уж лучше ушёл-пришёл, чем как вы с папой жили, отрезала мама.

Бабушка молча взяла со стола соль и, не торопясь, насыпала себе в тарелку. Мама искоса наблюдала за ней. Бабушка принялась за свою котлету. Прошло несколько минут. Дожевав последний кусочек, она прервала молчание.

- А кто сказал, что жизнь лёгкая-то будет? Всякое было, что уж греха таить. И гулял дед, и пил. Но терпеть ведь вместе надо, а не к другим мужикам в отместку убегать.
- Терпееть? удивилась мама. А ребёнка тебе своего не жалко было? Когда папа меня ремнём хлестал? Когда он ко мне в школу пьяный ввалился? Нет, тебе не было меня жалко, ты и не спрашивала, как я себя чувствую!

Бабушка осторожно прикрыла дверь из кухни. Так у двери и осталась, не садясь.

Только его жалела и около него бегала, Коленька, Коленька... – уже тише закончила мама.

Мама замолчала, остановив взгляд на старых часах с кукушкой, чтобы на чём-нибудь его остановить. Из распахнутых глаз катились слезы. Позади стояла бабушка.

 Всех было жалко. Такова судьба у нас, значит. И ведь вытащили деда-то... – бабушка положила руки на мамины плечи.

Мама нервными глотками стала пить чай.

– Как оттикают, так и умру я. Остановятся... значит, зовёт меня к себе матушка моя. А ты же на кого с Олесенькой останешься? Что же я деду-то нашему горемычному скажу? Не сберегла, не пристроила? – спокойно и равномерно приговаривала бабушка.

Мама знала, что эти старые часы давным-давно были подарены бабушке как приданое. Но никогда раньше бабушка не говорила о них так. С полной верой в свои глупые и страшные мысли.

 Хоть какой, да один должен быть, постоянный, – как точку поставила бабушка.

Мама, ничего не ответив, продолжала смотреть на часы: стрелка слабо отмечала тик...тик...

На кухню стала стучать Олеся.

 Ты чего прибежала-то? – не давая пройти к маме, нависла над ней бабушка.

Олеся сказала, что досмотрела мультик, но заметив заплаканную маму, остолбенела: «Мам, ты чего?»

Мама, услышав про мультики, вдруг вспомнила про оставленный на столе дневник: «Уроки лучше бы учила, мультики она

смотрит», — сказала она и на последних словах, сама, не ожидая того, рассмеялась. Бабушка тоже начала улыбаться.

 Тройку схлопотала, да? – стараясь быть серьезной, спросила мама

Олеся опустила голову – вот он, настал этот момент. Но настал он совсем не так, как она того ожидала. И мама говорила совсем не так. Олеся даже почувствовала, что она вовсе ни в чём и не виновата.

 Ладно, иди. В следующем году шкуру с тебя сдеру, только попробуй у меня трояки получать, поняла?

Олеся, кивнув, убежала в комнату. Впервые она почувствовала такое облегчение, вдруг явившееся после стольких переживаний. Но отчего же плакала мама... этот вопрос зародил в ней новый страх.

– Ишь, троечница! А я же спрашивала, как в школе, нормально говорит... – продолжала ласково смеяться бабушка.

Они смеялись, смотря друг другу в глаза.

Бабушка провожала маму и Олесю взглядом, стоя у окна. Вот, уже подошли к автобусной остановке. И в ту же минуту затерялись в толпе ожидающих людей.

«Видимо, опять автобус сломался», – подумала бабушка.

Она вспомнила, как с утра садилась с этой остановки, чтобы до рынка доехать. И тоже полным-полно людей в автобусе было. Кто сидел, кто стоял. Место уступил молодой совсем паренёк. И робко так, даже стыдливо предложил: «Бабушка, садитесь». Что он интересно думает, когда старых видит? Наверно, уже как на мёртвых смотрит. А все-то мы и живы, и мертвы одинаково. Все в шажочке друг от друга. Как в этом автобусе все вместе по жизни и едем.

Этот паренёк ещё не видит, а я всех вижу, каждого чувствую, каждый внутри меня есть. Потому как каждый из нас ребёночек чей-то. И у старух, и у мужиков больших мать есть.

Бабушка вспомнила свою матушку и, как сейчас, увидела её. Заходят они с Колей в дом, а матушка сидит на полу, чернику перебирает. Коля-то сразу: «Собирай, матка, приданое». А матушка как встала, так и стоит, смотрит на них, будто ребёнок испуганный. То на одного посмотрит, то на другого. «Людкааа, – заголосила матушка, – дура ты девка», – и заохала, хватаясь руками за голову. А сама двумя ногами-то на чернике стоит, придавила ягодки и не замечает.

«И все-то мы детки малые и детками останемся», – прошептала бабушка.

Алёна Малиновских

ПОСЛЕДНИЙ МОСТ

* * *

Смотрю на тело ветхого моста и вижу шаткость захиревших свай. Каркас хрипит, чуловишно устал

Каркас хрипит, чудовищно устал метаться по его спине трамвай.

Опоры спят. Мост бережно хранит тепло капризных солнечных лучей, и опирает плечи о гранит.
Трамвай гремит колёсами звучней...

Он тащит с того берега тоску (отдать её осенним вечерам), из памяти – мне красочный лоскут (парадом снов и ярких панорам).

Но знаю, что на дальнем берегу хранится неподъёмная печать, исписанная сотнями фигур, что время поворачивают вспять...

Трамвай бежит, каркас ломает трос, спина моста прогнулась и скулит... Уходит под воду последний мост, оставив память из гранитных плит.

ЖУРАВЛИК

Лист бумажный согнут много раз и теперь он не бумага – птица; Крылья украшают сотни фраз, целый мир, наверно, в них ютится.

Журавлю уютнее ладонь от того, что в небеса синица ускользает, только её тронь. Не даётся в руки. Не гнездится.

Как ни странно, сделав журавля из подручной вырванной страницы, научилась крылья расправлять, и сама, похоже, стала птицей.

ПЕРЕПУТЬЕ

Небо натянуто розовой простынёй, солнце по кругу катит в густую вечность; я на развилке застыла, на пропускной, и не могу понять свой маршрут конечный.

Сторож косит на меня уже битый час – у турникета места совсем не много. Я сомневаюсь в подкуп идти или в пас, кажется, там и там не моя дорога.

Дяденька сторож, сыграй со мной в преферанс! Эта развилка – чёртово перепутье – Не убежать... А мыслей слепой декаданс травит нутро едкою жидкою ртутью.

Небо натянуто розовой простынёй... Мне бы зарыться в неё, уснуть покрепче. Дяденька сторож, какой пойти стороной? Как сложный выбор сделать немного легче? Пока тебя нет рядом – льётся дождь, я замыкаюсь в круг из одеяла. Скажи мне – это много или мало, когда чего-то терпеливо ждёшь?

Горячий чай сменяешь на вино, Густое, тёмно-красное, сухое... И хочется найти венец покоя – как будто тело нервов лишено.

Наш маятник шатает нервы в такт. Я снова делаю глоток заветный, как влагу тянет срубленная ветка, уже положенная на верстак.

г. Санкт-Петербург

Анатолий Аврутин

ВОССТАНЬ НАД БЕЗДНОЙ

* * *

Догорала заря...Сивер выл над змеистым обрывом, Умерла земляника во чреве забытых полян... А он шёл, напевая... Он был озорным и счастливым... – Как же звать тебя, милай?.. И вторило эхо: «Иван...»

Он шагал через луг...Чертыхаясь – несжатой полоской, Ну а дальше, разувшись, по руслу засохшей реки. – И куда ты, Иване? –Туда, где красою неброской Очарован, стекает косматый туман со стрехи...

– Так чего тут искать? Это ж в каждой деревне такое, Это ж выбери тропку и просто бреди наугад. И увидишь туман, что с утра зародясь в травостое, Чуть позднее стекает со стрех цепенеющих хат...

Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно и странно! Здесь густая живица в момент заживляет ладонь. Здесь токует глухарь... И родится Иван от Ивана – Подрастёт и вражине промолвит: «Отчизну не тронь!»

Нараспашку душа... Да и двери не заперты на ночь. Золотистая капля опять замерла на весу... – Ты откуда, Иван? – Так автобус сломался, Иваныч, Обещал ведь Ванюшке гостинца... В авоське несу... Позёмка кружит, одинокость струя, Без сна и предела. Ещё не стемнело, родная моя, Ещё не стемнело.

И чудится – кто-то подёргал замок И смолк за порошей. Иль просто буран на мгновенье замолк Под снежною ношей.

И тень мне на книгу ложится твоя, Душа заалела... Ещё не стемнело, родная моя, Ещё не стемнело.

Холодной ладони коснётся рука, И смолкнут созвучья. Лишь ворон в окошке слетит свысока На мёрзлые сучья.

У старых записок мохрятся края, Обычное дело. Ещё не стемнело, родная моя, Ещё не стемнело...

* * *

Вячеславу Лютому

Ничто не бывает печальней, Чем Родина в сизом дыму, Чем свет над излучиной дальней, Колышущий зябкую тьму.

Ничто не бывает созвучней Неспешному ходу времён, Чем крик журавлиный, разлучный, Буравящий даль испокон. И сам ты на сирой аллее, Такою ненастной порой, Вдруг станешь светлей и добрее Средь этой тоски золотой.

Поймёшь – все концы и начала Смешались средь поздних разлук. И что-то в тебе зазвучало, Когда уже кончился звук...

* * *

Серебряный ветер врывается в дом из-под шторы, Чумная газета от ветра пускается в пляс. И чудится Гоголь... И долгие страшные споры, Что вёл с непослушным Андрием чубатый Тарас.

И что-то несётся сквозь ночь... На тебя... Издалёка... И тайно вершится не божий, не праведный суд. И чудятся скифы... И чёрная музыка Блока... Кончаются звуки... А скифы идут и идут.

Полночи без сна... И едва ли усну до зари я... Приходят виденья, чтоб снова уйти в никуда. И слышно, как бьётся пробитое сердце Андрия, И слышно, как скачет по отчим просторам Орда.

На мокнущих стёклах полуночных фар перебранка, И тени мелькают – от форточки наискосок. А где-то, как некогда, тихо играет тальянка, И в душу врывается старый, забытый вальсок...

Полоска рассвета, как след от верёвки на вые... Задёрнется штора... Отныне со мной навсегда Года роковые, года вы мои ножевые, Почти не живые, мои ножевые года.

Всё смолкнет внезапно...
Поверишь, что лопнули струны.
Спохватишься – где он, главу не склонивший редут?
Иное столетье... И это не скифы, а гунны,
Зловещие гунны в тяжёлых доспехах идут...

* * *

Октябрь... Во мгле ощетинились ели, Потупила женщина раненый взгляд. Намокли кусты... Журавли улетели. А я всё хочу воротиться назад.

Туда, где туман над тропинкою ранней, На луг васильками стекли небеса, Где первые искорки робких желаний, Зрачок о зрачок! – высекают глаза.

Где плющ закурчавился возле беседки, Где гроздья рябины кровавят закат, Где чахлое солнце повисло на ветке, А я все хочу воротиться назад.

Туда, где поспела уже ежевика, Где осы роятся ... Ужалят... Не трожь! И где позади журавлиного крика Несжатой полоскою стелется рожь.

Где сад сторожит дед с берданкою злющей, Где все заголовки нахально кричат О светлом пути, о счастливом грядущем... А я всё хочу воротиться назад.

* * *

Золотистым нерезким просветом Осень тихо на кроны сползла. И такое явилось при этом, Что в душе – ни печали, ни зла.

Осветила... Зажгла... Заалела... Утолстила нагие стволы. У хатенки, что никла несмело, Сразу сделались ставни белы.

И среди векового раздора, Где овраг, запустенье и глушь, Чей-то голос запел без укора, Будто вспомнив июльскую сушь.

Ну а после, чуть солнце в печали Утонуло средь пней и грибниц, Долго птицы о чём-то кричали, Хоть казалось, что нет уже птиц...

* * *

Аршаку Тер-Маркарьяну

Мне бы разделаться с этой метелью безумной, С гулом клаксонов, несносною ношей времён. С извечным молчанием... С пьяной ватагою шумной, Что после поминок горласто спешит с похорон...

Мне бы отделаться от постижения смысла Женских поступков и гнева суровых богов. От тёмных ночей, от зимы, что угрюмо нависла Над чёрным сараем, морозным молчаньем дворов.

Мне б успокоиться... Сколько же можно тревогу В дом приносить, будоража бумагу и сны?.. Взять Бога в дорогу, торить ли дороженьку к Богу... А лучше, зарывшись в берлогу, проспать до весны.

Где-то в апреле, проснувшимся бурым медведем, Выйти, глаза продирая, под звездную звень. Овраг перейти... Грозно ставни подергать соседям, Что мыслят о прошлом, поскольку о будущем – лень...

Вдруг встрепенуться, внезапно подумав, что мне бы Надо назваться – для Времени я имярек. И сам я, и прошлое – всё это быль или небыль?.. А все мои истины – поздно растаявший снег...

* * *

Только дождь... Только ночь... Только ветер. Только слабо чадит огонёк. Только листья с нищающих ветел Закружились... И путник продрог.

Натянул капюшон и не слышит, Что кричит ему женщина вслед. Только ветку рукою колышет, Только щурится молча на свет.

На неверном свету догорая, Утомясь от небесных щедрот, Только капля сверкнёт золотая И, поблёкнув, по куртке сползёт.

Молча выпью остывшего чаю, И взгрустну, что сквозь влажную тьму Никогда я уже не узнаю, Что там вслед прокричали ему.

* * *

Я помню холодные женские руки, Вечернее платье, разбитый бокал, Коротенький миг – от любви до разлуки, И слово, что зря на ветру расплескал. Неверный, замедленный блеск снегопада, Снежинку, рассёкшую стынущий взгляд, И губ единенье... И это: «Не надо...», И робкий порыв убежать в снегопад. Я силился что-то сказать... Не хватало Ни слов, ни дыханья, ни слёз из-под век...

И длинное платье с крылечка сметало За эти мгновенья нападавший снег... А после, оставшись один с этой мукой, Гадал, повторяя: «Душой не криви...», Что ранит сильнее – любовь пред разлукой, Иль память, в разлуке, о прошлой любви?

зачем?

Я всё терзался этой мукой – Зачем под позднею луной Столетний тополь однорукий Навис над чёрной глубиной?

Чего он ждёт под небом мрачным, Зачем здесь поздняя луна? Ведь глубина – всегда прозрачна, Всегда бездонна – глубина.

А нынче сам пройдя по краю, Вам не отвечу в миг един – Зачем я глаз не отрываю От этих сумрачных глубин?

* * *

Таял день, прохладою влеком... Девушка бродила босиком, Обнимала пегого коня И тайком смотрела на меня.

Хоть я был до крайности несмел, Но и я на девушку смотрел, На глаза, что омутам сродни, На её разутые ступни... Я смотрел на девушку тайком, А она бродила босиком. Конь косился, сбруею звеня, А она смотрела на меня.

Избегал коснуться взгляда взгляд – Это конь, конечно, виноват. Если б он резвиться захотел, Как бы я на девушку глядел?

Молча я кричал: «Коня не тронь, Пусть себе стоит лохматый конь! Я сегодня точно не усну, Увидав коленей белизну...»

Ты вошла в мечтания и сны С нежной кожей чудо-белизны. Чуть дрожала узкая ладонь. Ну а конь?.. Причем здесь этот конь?..

* * *

Пиши, пророк, пиши про рок, Не рви напрасных струн. Неужто в сумраке продрог – Сказитель и вещун? Неужто вновь угас задор, Заряд сердечный пуст, Твоя усталость с неких пор – Всего лишь алость уст?.. Неужто так неровен наст И этот шлях – без роз, Где нам Отечество воздаст – В последний путь даст воз? Восстань над бездной роковой Средь горя и страстей, О роке пой, о роке вой, Но замолкать не смей!

Пускай судьбою не согрет Метафор поводырь, Умолкнешь ты – погаснет свет И онемеет ширь...

* * *

Всё багровей зарево... Ах ты, волчья сыть! – Разве государево Дело – слезы лить?

Государь вершит закон – Чтоб не ели зря! Может прослезиться он Лишь у алтаря.

Та слеза огромнит тьму, Ранит на весу. Не дай Бог узреть кому Царскую слезу!..

Выйдет, усмехнётся: «Хам, Сможешь? – Володарь…» Не дай Бог увидеть вам, Как смеётся царь!..

Тех, кто бит усмешкою И слезою жжён, Схватят – и не мешкая – С тридцати сажён,

С башни... В омут, вырытый Позади дворца, Чтобы знали, ироды, Кто им за отца...

Чтобы и впоследствии, Через пять колен, Знали, раболепствуя, – Царь благословен.

И молили зимами Господа впотьмах: «Оживи родимого, Пусть воротит страх!

Мы во страхе – гордые, Нас во страхе – тьма. Нам по нраву, Господи, Рваная сума...

Ведь не стало рвения В непонятный век, Всё без повеления – И закат, и снег...

Нам бы зреть сквозь зарево, Только и всего, Ту усмешку цареву Да слезу его...»

г. Минск

Геннадий Соловьёв

ВОЛК Рассказ

Окончен охотничий сезон. Охотники совхоза вышли из тайги. Встречаясь иногда в конторе или другом месте, обговаривали, что надо конец сезона отметить где-то основательно. Решили собраться после сдачи пушнины. Обозначили место, у кого собираться, и кто что должен принести на закуску. Сдача пушнины! Для охотников этот день особый. Это тот случай, когда человек результаты своего труда выставляет на всеобщее обозрение. За этой ухоженной и тщательно вычищенной горкой разноцветной пушнины стоят отчаянье и радостные взлёты, горячий пот и бессонные ночи, тяжелейшие переходы по болотам и захламлённой тайге. Да, всего не перечислишь!

Ревниво осматривает охотник пушнину своих товарищей. Сколько? Какое качество пушнины и как она обработана, хотя на лице маска равнодушия. Подходит его очередь. Встряхивая, чтобы ость стояла на соболе, начинает выкладывать на приёмный стол драгоценные шкурки. Наверх лёг чёрный, как уголь, и пушистый кот, который сразу притягивает внимание. Какой бы он ни был красавец, охотник знает, что у него есть маленький дефект. Хоть он его и вырезал, эту небольшую плешь, но разрежённость волоса вокруг осталась. Сейчас перед сдачей хозяин его тщательно распушил в надежде, что приёмщик просмотрит. В груди замерло ожидание. Вот сволочь старая! Рассмотрел. От этого стоимость дорогого соболя упала на 10 процентов. Вроде и не сильно велик убыток, а неприятный осадок остаётся. И дело вовсе не в деньгах. Это пятно на профессионализме охотника – не сумел убрать дефект, довести дело до конца. Сам виноват - поленился переделывать.

Сдав пушнину и по традиции обмыв сдачу с заготовителем, охотники разбрелись по домам. Надо доделать вечерние домашние дела и в назначенный час уже собраться своим кру-

гом, чтобы отвести душу за разговорами. Всё-таки месяцы, проведённые в одиночестве, дают о себе знать.

В жарко натопленной избе не чувствуется, что за стенами за 30 мороза, сдвигаются два стола, и на них выставляется сибирско-таёжная закуска: рыба в любом виде — и солёная, и жареная, мороженая ягода и солёная черемша, кусками отварная лосятина в тазике средних размеров, а на улице дожидается своего часа строганина из сырой печёнки и свежей рыбы. В общем, к мероприятию подошли серьёзно, рассчитывая на всю ночь. Это подтверждает тускло поблескивающая из-под лавки батарея заиндевевших бутылок.

Первый тост за то, что живы-здоровы и собрались вместе. Второй — «за лося», чтоб пилося, жилося, и так далее. Гулянка была на самом подъёме, когда неожиданно без стука широко распахнулась входная дверь. Холодный воздух радостно ворвался в тёплое помещение и белыми лентами, извиваясь, пополз по полу. За столом замолчали, выжидающе смотрели на дверной проём, расположенный сбоку от столов. Нога, обутая в солидный серый валенок, вынырнула из темноты и нависла над полом. У хозяина ноги не хватало силы придавить валенок к полу, и тот медленно поплыл обратно в темноту. Все замерли в ожидании грохота неизвестного тела в тёмных сенцах, но тяга к обществу оказалась сильней, и нога устремилась снова к свету и теплу. За ней появилось круглое крепкое пузо в расстёгнутой телогрейке, а потом и круглая раскрасневшаяся физиономия в лохматой шапке. Собственной персоной пожаловал на огонёк бригадир трактористов.

Сказать, что он пьян, — это ничего не сказать. Человек был в таком состоянии, когда мозг уже отключился, а душа требовала продолжения банкета. Было видно, что он не понимал, куда попал и что за люди сидят за столом, молча его разглядывая. Удивление было обоюдным. В деревне знали, что трактористы с утра погнали трактора вывозить сено с центрального участка, который находился ниже на сотню километров по Енисею. И вот уехавший утром в командировку на несколько дней бригадир стоит здесь в очень странном состоянии.

Непонимающие глаза тракториста, метавшиеся по лицам, наконец-то приобрели осмысленное выражение. Говорят, что лучшая защита — это нападение. «Ааа, охотнички! Сидите?! Пьёте?! А там волки, волки вокруг деревни! А они сидят, пьют, а там волки, стая!»

Это было похоже на бред в белой горячке. Мужики стали усаживать и успокаивать неожиданного гостя, но тот гнул свою линию про волков и какого-то лося, которого те задавили.

После кружки горячего чая и внушительного куска мяса, которое тракторист умял с большим удовольствием, наконец-то кое-как выяснили причину его появления в деревне.

...Они гнали по Енисею два трактора, шли, выдерживая расстояние метров двести-триста друг от друга. Один из тракторов забарахлил, и они остановились устранить неполадку. Трактористы на первом тракторе, естественно, назад оборачивались редко, и он скрылся за мысом. Провозившись с полчаса и устранив неполадку, они поехали дальше. Заскочив за тот же мыс, за которым скрылся первый трактор, они заметили какую-то странную большую черновину. Подъехав ближе, увидели лежащего лося, который ещё дёргал ногами. Вокруг была вырванная шерсть и множество волчьих следов. Недолго думая, они его стали обдирать, тем временем и уехавшие вернулись. От такого подарка грех отказываться! После того, как разделали, первый трактор продолжил путь, а бригадир с напарником вернулись в деревню с мясом. Завтра они поедут обратно.

Его спросили, много ли было волков. Бригадир ответил, что самих волков не видели, а по количеству следов думает, что пять или семь штук. Тракториста после чая и еды свалил сон, его уложили на диван, и он больше о себе не напоминал.

Долго обсуждали этот случай, стали вспоминать другие, давние. Оказывается, практически у всех были обиды на этих серых разбойников. Фёдор не принимал участия в воспоминаниях, сидел, обдумывал ситуацию. На свои вопросы вразумительного ответа от бригадира он не получил. Но было ясно одно — что рано утром эту стаю можно попытаться проредить. Была проблема с напарником — одному несподручно. Фёдор предложил мужикам утром съездить обойти волков и сделать загон, но его стали отговаривать, что волки, подъев остатки отобранной у них добычи, ушли. Было понятно, что никому не хотелось после застолья, неспавши ночь, ехать по морозу хрен знает зачем. Как мужики ни уговаривали остаться, не разбивать компанию, Фёдор ушёл домой.

Утром ещё по темноте стал собираться. У него был план в одиночку попытаться испытать охотничью удачу и, если Бог даст, остаться в выигрыше. В десятилитровую канистру налил солярки и прихватил из дома чей-то старый шерстяной свитер, надеясь, что обойдётся без ворчанья со стороны жены. Из оружия решил взять карабин «СКС», всё-таки десятизарядный, а это много значит на такой охоте. По опыту знал, что волк — зверь осторожный и в тайге свежую лыжню сразу не переходит, делает несколько

подходов, прежде чем решится её перескочить. А если волков окружить лыжнёй, пахнувшей соляркой, то они будут искать выход из круга. Вот там-то их и решил Фёдор караулить.

С погодой подфартило, к утру мороз спал, отмякло. «Так что, дядя Федя, флаг тебе в руки и вперёд», — сказал себе охотник. Не доезжая обговоренного мыса, Фёдор увидел старый какой-то след на пабереге, который вёл в ручей. Было хорошо видать тянувшуюся канавку, промятую по снегу. Развернувшись, стал разбираться: след был волчий, но в снегу было не понять, спустился он на Енисей или, наоборот, зашёл в тайгу. Стал тщательно исследовать надувной твёрдый снег на реке. Разобрал отпечатки от когтей. Это был одиночный волчий след, который уходил с реки в тайгу. «Что-то они разбродились нынче — там стая, тут одиночка», — подумал он. К мысу подъехал, прижимаясь к берегу. Заглушив снегоход, пешком потихоньку поднялся на выступающий надув снега и осторожно выглянул, ожидая увидеть зверей на убоине. Ничего не было видно — ни волков и никакой чёрной отметины.

Вернувшись к снегоходу, Фёдор поехал дальше. Проехав метров семьсот, он наткнулся на указанное место. Везде волчьи следы, раскиданная и припорошённая шерсть, еле заметные следы крови и содержимое желудка, – всё, что осталось от лесного великана.

На высокий увал уходила волчья тропа. Фёдор прошёл рядом с тропой, пока она шла по чистому месту, стараясь понять, сколько примерно было волков. Дойдя до торчавшего корня, увидел, что кобель сделал обильную метку. Она была с кровью. Видать, нелегко досталась такая крупная добыча. Метить к корню подходил один самец, других подходов не было. «Наверное, здесь не стая, а всего пара — самка с кобелём», — решил Фёдор. Для стаи всё-таки следов маловато. Проследив взглядом волчью набитую тропу до леса, Фёдор вернулся к снегоходу. Положив канистру и свитер в рюкзак, стал на лыжах потихоньку подниматься к лесу в стороне от тропы.

Зайдя в лес метров двести от тропы с приготовленным к выстрелу карабином, осторожно пошёл в её сторону. Фёдор боялся, что волки, вернее всего, устроили лёжку на самой кромке леса, чтобы просматривался Енисей. Если это так, то они уже далеко от этого места. Подойдя к тропе, обрадованно увидел, что она уходит вглубь тайги. Достав свитер и привязав его на длинной верёвке к поясу, чтобы он тащился по лыжне, полил его соляркой и пошёл на круг.

Пройдя вдоль берега метров пятьсот, повернул под прямым углом. Через полтора километра в этом направлении повернул снова вдоль Енисея в сторону тропы. Через некоторое время он наткнулся на выходной след. Озадаченный Фёдор попробовал след рукой. След был застывший, вчерашний. Отвязав тащившийся, воняющий соляркой потаск и скинув рюкзак с канистрой, Фёдор решил пройти по следу и посмотреть, будет ли кто из волков ложиться. Ведь лось одного сильно ударил, раз он мочится с кровью. Пройдя по следу метров двести, он увидел метнувшуюся серую тень. Сперва даже не понял, что это волк, который уходил на коротких махах и сразу скрылся в подростке. Фёдор рванул за ним, что было сил. Проскочив кусок густого подростка, впереди он увидел скачущего зверя. Снег был рыхлый, и волк вскакивал на валежины, на которых снег был плотный, и быстро уходил. Фёдор поднажал, но толку было мало — расстояние не сокращалось.

Волку было нелегко в рыхлом снегу, но и Фёдор хватал воздух полным ртом. Когда зверь вскочил на следующую валежину, Фёдор решил стрелять, расстояние было метров сто пятьдесят — для хорошего стрелка и хорошего карабина это не расстояние, но воздуха в груди не хватало, и ствол ходил ходуном. Улучив момент, выстрелил два раза подряд. Волк спрыгнул с валежины и понёсся куда-то вбок с удвоенной скоростью. Подойдя к валежине, с которой спрыгнул волк, увидел срезанные пулей длинные остевые волосы — крови не было.

Рядом проходила старая засыпанная лыжня. По ней-то и ушёл на хороших махах догоняемый. Немного отдышавшись, Фёдор пошёл в пяту по волчьему следу — посмотреть, где он лежал и где были другие, разбежались или это был отставший из-за удара. Подойдя к лёжке, Фёдор увидел, что волку сразу повезло. Рядом проходил сохатиный след, он выскочил на него и потому так резво скрылся с глаз. Без этой сакмы Фёдор, вернее всего, его догнал бы. Благо она после чащи уходила в сторону. Сделав вокруг лёжек круг, Фёдор понял, что волк был один. Это он за ночь натоптал тропу и сделал несколько лёжек. Да, на полкилометра бы больше сделал круг, и зверь оказался бы в окладе. Даа, если бы не бы.

И тут Фёдора осенило, что вернее всего это тот волк, который пришёл с левой стороны Енисея, и большая вероятность, что пуганый зверь будет уходить своим старым следом. Только успеть бы к снегоходу, пока он не пересёк Енисей. Фёдор снова побежал. На берег выскочил удачно, напротив снегохода. Весь мокрый от пота, надев на себя запасную куртку задом наперед, чтоб не про-

дуло грудь, помчался назад к следу. Выжимал из техники всё, что можно. Мотор возмущённо визжал. Фёдор, не обращая на это внимания, шарил по широкому белому простору глазами: не замелькает ли где-нибудь между торосов чёрная точка.

Выходного следа не было. Отъехав от следа метров пятьдесят, поднялся на снегоходе к кромке леса. Загнав снегоход за заснеженный куст, стал ждать возможного выхода зверя из тайги. В пропотевшей мокрой одежде долго в засаде не просидишь. Фёдор покрутился на месте, поводил плечами, но это мало помогало. «Придёт – не придёт, а я тут точно окочурюсь, – подумал он и решил. – Погода мягкая, снег сильно не скрипит, пойду-ка я ему навстречу».

Попив из термоса чая и сунув кусок хлеба за пазуху, он осторожно пошёл по волчьему следу в надежде встретить зверя. Пройдя по следу с километр, вышел на сохатиное стойло. Волк закрутился по лосиным следам. Фёдор уже с интересом: «Что будет?», – шёл за ним. Побродив по застывшим лосиным следам, волк свернул в сторону, проваливаясь в снег. Перейдя широкую пойму ручья поперёк, он вышел на дневку трёх лосей и закружил вокруг них. Обеспокоенные лоси встали и топтались на месте. По следам было видно, что волка смущал глубокий снег. А может, это было сделано специально? Он кружил вокруг лосей, пока они не вытоптали в снегу площадку. Получив твёрдую опору, волк в два прыжка достиг цели и вцепился в бок сохатому. Лось громадными прыжками с повисшим на нём хищником кинулся бежать. На снегу чётко отпечатался при прыжках лося контур висящего на нём волка. Даже форма хвоста на нём отпечаталась. Фёдор никогда не поверил бы этому, если бы не увидел всё своими глазами. Читатель! Попробуй укусить себя за ладошку, у волка была примерно та же возможность.

Удивляясь силе волчьих челюстей, Фёдор шёл по следам дальше. Лось, проскакав со страшным грузом метров двадцать, сунулся к ручью, где по берегам рос густой ольшаник. Там он его с себя и сбил. На снегу валялся комок сохатиной шерсти с кровавой пеной. Дальше волк пошёл по этому следу спокойно. Крови на лосином следе не было, и он, ещё проскакав галопом метров двести, пошёл шагом в сторону Енисея. Скоро его следы повели в гору. Гонные лоси почти всегда стараются бежать вдоль склона — там снег рыхлее, и поэтому зверю бежать легче, но на этот раз лось полез дальше на сопку. Поднявшись на неё, пошёл дальше к Енисею. На реке снег мелкий, и там он легко уйдёт от волка. Но он сделал непростительную ошибку,

что к реке пошёл хребтом. Хребет обрывался оплывником, и на самой кромке снег был прибитый ветрами до твёрдости наста. Хищник умело воспользовался этим, лось был почти беспомощным в этом глубоком и твёрдом снегу. Борьба была жестокая. В снегу было выбито две площадки, где-то пять на пять, усыпанные клочками лосиной шерсти. Видать, из последних сил рванул сохатый к Енисею и попал на крутой склон оплывника, где почти не было снега, так как ветер его оттуда сдувает.

Волк со своими лапами и когтями получил полное преимущество. Так на своей жертве он и съехал на лёд на радость трактористам. Фёдор стоял на краю оплывшей в Енисей сопки. Внизу виделся исковерканный на льду тракторами снег. Хорошо просматривались таёжные хребты на другой стороне Енисея. От этого простора и дикости захватывало дух, поднималось какое-то волнение в груди, и он чувствовал, что без всего этого он, наверное, не смог бы жить. Фёдор представлял, как волк с этой же высоты смотрел на своих грабителей, за их суетливыми движениями и беготнёй вокруг его добычи. Ставя себя на место ограбленного, он догадывался, что у того творилось в волчьей душе, и он ему сочувствовал – халявщиков никто не любит. День заканчивался. Большое северное солнце катилось по горизонту. Казалось, что оно высматривает место, куда удобнее завернуть на ночлег. Световое время позволяло, и Фёдор решил пройтись по следу стреляного волка. «Я ведь стрелял просто по корпусу и если попал по животу, то крови и не будет, а волосы то срезаны пулей, так что чем чёрт не шутит».

Развернувшись, он пошёл по хребту вдоль ручья – так было легче идти. «Пройду подальше по прямой, а потом подрежу лыжницу, по которой так ретиво ушёл от меня волк». Пройдя приличное расстояние, Фёдор стал подворачивать в сторону ручья и скоро наткнулся на лыжню. Сумерки уже обозначились, хоть было ещё светло, следы волчьих лап на лыжне просматривались неясно. Ямки были видны, а чтобы увидеть отпечатки пальцев и когтей, надо было наклоняться. Шаг зверя был спокойный, ровный. Фёдор шёл потихоньку по лыжне, тщательно всматриваясь в следы, чтобы не пропустить даже маленькие бусинки крови, если бы они были. Боковым зрением не увидел, а почувствовал какое-то движение и тут же увидел волка. Он вынырнул из-под вывернутых корней метрах в двадцати. Широко расставив передние лапы, отчего его мощная грудь казалась ещё шире, он смотрел на Фёдора в упор. Спокойный оценивающий взгляд уверенного в себе зверя. Фёдор медленно снимал карабин. В подсознании мелькнуло: «Когда это сердце успело

набрать обороты, что отдаёт в висках?» Зверь стоял не шевелясь, внимательно наблюдая за охотником. Фёдор осторожно прикоснулся к предохранителю.

Наверное, не один охотник проклял этот подпружиненный эскаэсовский предохранитель. Раздался тихий металлический щелчок. Только снежная пыль взлетела на том месте, где стоял, как изваяние, волк. Вскинув карабин к плечу, Фёдор ждал появление волка, который уходил в тайгу, прикрытый корнями, как щитом. Когда тот выскочил из-под защиты, Фёдор увидел, как ему трудно совершать прыжки по глубокому снегу. Волк основное усилие делал, чтобы выпрыгнуть из снега, и скорость была невысокая. В угон было бы стрелять намного легче, но зверь почему-то стал бежать поперёк, и поймать его на мушку прыгающим в облаке снежной пыли было трудно. Фёдор успел выстрелить пару раз, пока волк не подскочил к толстой кедре. За ней развернулся и стал снова уходить от него, прикрытый деревом. «Да ведь он уходит по правилам боевого искусства! Спецназовец хренов!» – восхитился Фёдор. «По такому снегу догоню», - подумал бегущий охотник, но тоже развил скорость не ахти. Сгоряча он взял высокий темп, а так как весь день ходил и вдобавок был голодный, то и силы его быстро оставили. Но надежда была, что волк, хоть и отдохнувший, может где-нибудь запурхаться в глубоком снегу и подпустит на выстрел.

Пробежав немного по волчьему следу, ещё раз восхитился этим умным зверем. Тот, отбежав на безопасное расстояние, прекратил прыжки, которые отнимали много сил, а пошёл частым мелким шагом. От этого опора у него увеличилась вдвое, и он пошёл почти поверху.

Осознав бесполезность погони, Фёдор остановился отдышаться. Идя по лыжне в обратном направлении, размышлял о произошедших событиях: увиденное и узнанное за сегодняшний день оставило в нём навсегда уважение к этому великолепному хищнику, и он открыл ещё одну страницу той жизни, которой живёт, и за это надо благодарить случай. С этими мыслями он вышел к реке. На западе полыхал красным цветом небосклон, похожий на зарево далёкого гигантского пожара. Фёдор стоял на спуске к Великому Енисею, у которого сумерки размыли противоположный берег. От этого синяя даль, сливаясь на востоке с ультрамариновым небосклоном, казалась бесконечной. Опершись на посох, он пил глазами волнующую даль, вдыхал всё это с морозным воздухом и чувствовал, что он частица этого и с этим неразделим.

Максим Ершов

ПРЯМОЙ ВЗГЛЯД

* * *

Ну так что мне сказать вам? Голова полна несказанного, как размовленье, плова. Солнце праздника сядет. Фанфары гремят неплохо. Но, конечно, это не я верчу жернова Востока и Запада. Впрочем же, реал политик двух величин сама не знает причин. Фанфары, родные. В политике ты паралитик, в экономике – стоик. Терпила среди дурачин.

Но сейчас не об этом, а до какого места падает тень разлуки меня со мной. Да какого чёрта. Однажды кулак сомнёт кулебяку жидкого, как размовленье, теста, и сквозь пальцы полезет остаток сухой науки. В перекрытых дворах, быть может, пахнёт жильём. Не протянем ноги, значит, протянем друг другу руки. Переживём.

* * *

После моих стенаний и страха. После пролитого вина, вокзала возле. После – молодости. До – решенья взглядом прямым молчанье к губам пришей мне.

В тёмной воде, в реке, на плывучей сени, лебеди в чёрном двухмерные сводят тени с тенью моста, чей замысел тонкий познан... Что-то подсдал я. Видимо, буду послан

в будущее. Нести на дрожащих лапах ревность кавказскую, счастье, испанский запах, голос – звонок тибетский, дыша. И слева впитывать грудью твое винтовое небо.

КАПИТАН

Готье, Бодлеру и т.д.

Без мыла не влезешь в это сито. Партия нарко звучит разбито. Партия будней – тоже порно. Партия альта всегда бесспорна.

Но струны всё крепче, струны звонче, и пусть говорят обо мне: «да вон чё», я – броненосец, кобель, паскуда. Но струны вот эти во мне откуда?

Партия моря, орган, жестоко. Но в полдень глядит остриё флагштока... Но – красота того, что верю. Но мой капитан взошёл на рею.

Верить – так реять. Камзол – так розов. Но мой капитан не стрелял в альбатросов, но в море распишется только гений, только десятком своих крушений.

Море без альта – слеза без соли. Мой капитан исполняет соло. Я вас не слышу! Я только внемлю. Но мы и вдвоём отыщем землю.

ЖЮЛЬЕТТЕ ДРУЭ

Я хочу быть тебе верным другом... ничего не требующим, как ушедший из жизни человек...

(из письма Виктору Гюго)

«...Миленький мой! Мой миленький! Чувствуешь ты? Осилим мы, бездну твою, сомнение, прозу твою и пение...

Помни и знай наверное: всюду с тобой я первая – тень ли твоя? молчание? или строка начальная?..

Ждут поезда и пристани. Мой небожитель истовый, мы возвратимся, вырвемся! Стань за плечо – от выстрела...

... В гулкой земле (уютно ли?), в разных с тобой каютах, мы вдаль поплывем... Да здравствует эта любовь и Франция!..

Сердце моё – твой градусник. Хочешь – разбей от радости. Миленький мой! Мой миленький, письма храни...»

– как вынесла она железную поступь памятника – пяту Виктора Гюго?

Мы вновь ощущаем привычное жжение. Суть наших занятий сложна: поддержание режима, в котором своё отражение рождает в нас ржание.

Так жжётся режим поддержания радости, всё портят лишь слёзы – по-детски солёненьки. Мы эгоцентричные мыльные радужки на срезе соломинки.

НА РОЖДЕСТВО

И – рассинело. Вечность прошла, белую тишь сотворя.Не запирая, пойду до угла словно до января.

Скотчем прилажу фиалку души к дереву (держи, ствол!), а ты, ты, маленькая, дыши, впитывай Рождество.

Эхо, ветвистое эхо двора стой, помолчим всласть – пробке шампанского сердца пора грохнуть, лететь, упасть.

Грохнет, докатится... Отхлебну. Господи, всё хорошо! Дай я фиалку назад заверну в шарфик свой... и – пошёл.

Все мы когда-нибудь станем нежней на острие лет и на расшатанных шпалах дней сможем найти след,

не спотыкаясь – пойдём от угла, просто из января, чтоб рассинело – и вечность прошла, белую тишь сотворя.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Ты знаешь, вот эта синеватая тень под глазами ручается: уже хоть что-то, но смыслишь в жизни... И поздно жадничать: отвечать в смс «я занят», делать вид, что ещё есть в жизни хоть кто-то лишний.

В одиночестве нашем хватает турецких курортов. Громогласного смеха, что цепью тоски обуздан. И не знаешь, куда донести свой затратный остов, неужели – только не смейся – в у-богий Суздаль?

Купюры в твоих карманах – то слёзы Бога. Чем больше – тем горше, по самым последним меркам. А может быть – в зону? Не в зону ль ведёт дорога, в конце которой Он ждёт тебя, исковеркан?

Не бойся, не страшно. Теперь торжество осознанья нас делает тише, послушней, светлей и выше. В окошке есть плац, намокло на тросе знамя. И чувствуешь кожей, как лебеди ходят по крыше...

Не мы отдышались навзничь, то она отдышалась: на замерших лицах исправленные скрижали теплятся... Милая, молодость просто шалость – пухом проходит в кольцо оренбургской шали.

А бессмертие пахнет кофе, скрипит диваном и монеткой гулкой катится прямо к щели. Понимая всё это, становишься просто пьяным, окунаешься в нежность, полную, как прощение.

Когда уходит друг – останови, не стой в дверях подобьем истукана. Быть может, он хотел твоей любви, а может, просто чаю полстакана, а может быть, ответа на вопрос, как дальше жить, когда так одиноки мечты людей... А может, друг твой нёс мерцанье «Я» на сгорбленной треноге обычных плеч под курткою... И вот он этим «Я» мгновенно поперхнулся – уходит он, как пёс, втянув живот, в карманах сжав непринуждённость пульса, и думает, от слов твоих прозрев, и думает, дыхание глотая: «Наверно, я задел какой-то нерв, чуть обнажённый... Истина простая лежит в необходимости звонка, звонка: он предварительная ласка... Как дальше жить?.. Как все... Теперь опаска меж нас как лёд сентябрьский тонка...» И он не обернется – от стыда за вас обоих и за эти мысли. за то, что нет тропиночки туда, откуда родом души ваши вышли, за то, что вот – расстёгнутый, понёс, за то, что всё же хочет обернуться, за камень твой, за эту качку слёз, застлавших так, что как бы не споткнуться... Чего стоишь ты, дерево? Нельзя уже позвать и некогда обуться. В отличие от времени, друзья – (беги как есть!) они могли б вернуться. И только помни, помни этот взгляд, не экономь в объятьях неумелых! Ведь так же только Небо, говорят, хотело б нас встречать в своих пределах.

солнышко

Когда всё кончится победой, а может громкою ничьей, и буду я лежать, блистая улыбкой выпитой бутыли, ты наклонись и мне поведай, сжимая пальцами плечо:

– Ау, герой! Ты что не видишь – деревья в панике застыли!..

Пусть поцелуй закроет небо, чтоб небо снова стало шире, чтоб с места тронулись деревья и воспарили облака. Каким чутьем ты знаешь недра и знаешь всё о горьком мире, и почему так пахнет мёдом твоя прохладная рука?

Откинешь волосы и сумку, раздвинешь бред унылых штор, поправишь сутолокой туфель начало мартовской капели. И словно детскому рисунку, я буду верить с этих пор, что жизнь – как солнышко в шампанском, всё ждёт, чтоб мы о ней запели...

* * *

Беги отсюда. Здесь живёт беда. В глуши домов, стоящих на печали, журчит по трубам ржавая вода, а все иные речи отжурчали.

И вообще – куда ни посмотри, бугрит обои иней острозубый. Здесь пахнут псиной гулкие внутри на смертный час умноженные судьбы. Ты не поможешь. Слишком мало средств есть в кошельке, чтоб выполнить затею. Беги отсюда. Водка – это крест, а крест чужой тебе сломает шею.

На пол скрипучий падали слова, ты на здоровье выпил раз двенадцать. Настала полночь. Свесилась глава. Туши бычок, не надо извиняться.

Экзамен самой гадкой из наук придётся сдать как светлое стремленье. Сам по себе и город не паук – паук в нём тот, кому он дан в кормленье.

Все города – все как одна беда, крест равнодушья, алчности и фальши. Так нашей жизни тухлая вода питает всё, что будет с нами дальше.

При чем тут нефть, когда большой народ давным-давно своей не стоит нефти? Паук спокоен, зная наперёд: народ и Бог всегда уходят вместе.

Под знаком «Сызрань» падать и лежать ноздрями вверх – на запах керосина. Беги отсюда? Некуда бежать. Хоть не твоя, а все-таки – Россия.

* * *

Так ищет милостыни ветер, в усталом рубище дождя. Они пришли. Чем мы ответим, со сцены медленно сходя? Какая искра занозила – не погаси, не уничтожь? Откуда в них такая сила? Откуда в них такая ложь?

Они проходят как цунами уже вторую сотню лет. И всё, что было именами, отпело в скрипе их штиблет.

Они костями похрустели, они в молельне и в постели... Но мы не слышим этот хряск среди предательства и дрязг!

Да, я почти уже в кутузке. Но вот последнее прости: есть только солидарность русских, и лишь она могла б спасти.

Она должна быть личным делом, должна быть псом сторожевым... А впрочем нет – душой и телом для всех, кто числится живым.

Самарская обл.

Мария Бородина

ЛЕСТНИЦА СО СЛОМАННЫМИ СТУПЕНЯМИ

1

Среди прочих возникает Маргарита Меркурьева. Лет ей... двадцать. Нет, пожалуй, больше, года на два, на три. Она сухощава, с тонкими пепельными волосами и широко расставленными, будто от удара, глазами. В зависимости от окружения цвет глаз меняется от светло-голубого до стального. По данному ей характеру и происхождению Рита живёт там, где родилась — в наукограде, сначала закрытом, теперь открытом. И вот ещё что — когда Рите было два года, мать её умерла, и Рите выпало расти под присмотром сменявших друг друга мачех и при скачках от нуля до умеренного тепла отцовской к ней привязанности.

Что? Нельзя ли как-то более счастливо? Да ладно! В других мирах и не такое устраивают. К тому же последующие события требуют того, чтобы у Риты оставались нерастраченной детская любовь и язвящая память об отце.

К данному моменту Ритиного отца уже нет. Вместе с Ритой сейчас другой мужчина. Он стоит на травянистом бугре и смотрит в сторону города.

У Риты под ногами – песок грунтовой дороги. Эта дорога идёт от ветхих, со следами реставрации ворот заброшенного парка и проходит через пустырь к шоссе.

Песок под ногами у Риты глухо шуршит. Тонкий шорох. Такой же и наверху, где мелко трепещет под ветром листва. Два слоя шорохов. А между ними движется Рита. Ступни при ходьбе мягко увязают в песчаных ямках и лёгкими усилиями вытягиваются.

Так же шагалось и по широкой прибрежной полосе под соснами далеко от этого места. На север. У Финского залива. Там находится город, в котором родился тот, кто стоит сейчас с фотокамерой на бугре. Наречён этот человек по месту своего ро-

ждения Александром Бекетовым. Извилистыми путями дальний родственник Риты.

Тут Александр вскидывает камеру, твёрдой рукой наводит объектив. Щёлк затвора. И на дисплее застывает картинка: болотно-зелёная полоса пустыря. За ней — ломаная линия уходящих в овраг деревенских крыш. А на охряном горизонте в светящихся нимбах — тёмные башни домов. Может, потом это где-нибудь пригодится.

Взгляд отрывается от окуляра и свободно скользит по пространству. Рука тянется вниз, срывает былинку и кладёт её в рот. Прищур на отдалённо цветущий куст шиповника, густо проросший сквозь штакетник забора. Из калитки выскакивает женщина в сбившемся платке. А в небе в сторону города с рёвом несется глухой военный самолет.

Под его рокот Александр и Рита встретились глазами. Смотрят друг на друга насторожённо. Александр первым опускает взгляд, убирая камеру в футляр. И вдруг начинает охлопывать карманы куртки, будто что-то ища. Рита отвела глаза и оглянулась.

Вдалеке за оградой клубится высокий парк. Там сумеречно и тихо. Сквозь заросли одичавших аллей маячат остатки огромного дома. Склеп ушедшей оттуда жизни. От него змеятся по корням и тропам сумрак и сырость.

Может, одичалость и заброшенность этого места и толкнула их на пределе вжаться друг в друга, чтобы ощутить горячий ток жизни. А как вышли из парка, так сразу разошлись: Александр – на бугор, Рита – вбок на дорогу.

Оклик Александра заставил Риту перевести взгляд на него. Лицо у Александра нахмурено. Бьёт двумя пальцами по циферблату часов. Нет времени? На что? До его поезда времени ещё полно. Александр делает знак рукой идти к оставленной на шоссе машине. Сам сбегает с бугра и уносится вперёд.

В сгущающем краски предвечернем свете весь его облик полон энергии и очарования. Прямое высокое тело пружинисто и легко несёт по дороге его драгоценную жизнь. И манит быть с ним. С ним, быть может,... да! – может открыться радость и сила жить. Прилепиться к нему и наполниться таким желанным, таким всеобнимающим ощущением родства.

Ну да, разбежалась! Забыла, каким холодом обдал, когда вышли из парка? Близость – ловушка с приманкой радости. Прихлопнет – не очухаешься. Но ведь есть же, кто умеет и приманку взять, и не попасться. Да, наверняка, есть. Вот Александр

уж точно таков. Как и отец. Тот тоже мог на минутку пригреть, приласкать, а после надолго забыть, в упор не видеть, будто нет у него дочери вовсе. Вот и ждала, когда же снова даст тепло и ласку. Но – редко, редко. А потом и этого не стало. Вообще его не стало.

Рита вдруг, словно подстёгнутая, рванула вперёд, догнала Александра и прижалась к его спине, обхватив плечи руками.

Потерпев несколько секунд, Александр мягко снял её руки и, подойдя к машине, открыл заднюю дверцу.

 Ты точно хочешь проводить меня до вокзала? – уточнил он. – Тогда садись назад. Ехать долго.

Захлопывая за Ритой дверцу, что-то досадливо буркнул. Риту кольнуло уловленное имя – Феофанов.

Опять хотел к нему? Каждый раз обязательно к нему! А сейчас злится, что не получается, не успевает – провозились в парке, да? И теперь недоволен. Рядом не посадил, назад спровадил. Но на что ему этот Феофанов?

Что тебя так к нему тянет? – продолжила вслух Рита.

Александр оторвал взгляд от дороги.

- К кому?
- К Феофанову.

Александр снова упёр взгляд в дорогу.

- Он не похож на других.
- И чем же это? колко попросила уточнить Рита.

Через зеркальце над ветровым стеклом Александр бросил на неё взгляд.

- Ему ничего не боишься говорить.
- A мне?
- Вот это твоё «а мне» и мешает.

Долго ехали молча. Потом, приняв смиренность, Рита вкрадчиво – то один вопрос про Феофанова, то другой. Вокзал прервал её расспросы.

На платформе у поезда Александр прикоснулся каким-то похоронным поцелуем к Ритиному лбу и сразу ушёл в свой вагон. Когда поезд дёрнулся и покатил в Питер, Риты на платформе не было. Она уже отправилась домой, подстегиваемая тем, что услышала от Александра о Феофанове.

Пережёвывая проглоченные сведения, она никак не могла найти объяснения, почему Александр так стремится к Феофанову, что за такая зависимость, а, может, – неужели! – любовь у него к нему. Мало ли, что этот Иван – бывший питерец, что

когда-то он играл на гитаре в одной группе с отцом Александра. Даже необычная его специальность – астрофизик, и то, что он её бросил и живёт теперь под Москвой в доме своей умершей тётки, не убеждают, что этому человеку действительно ничего не страшно говорить. И остаётся совершенно неясным, какие на самом деле у Александра с ним отношения.

На следующий день, сразу после работы Рита решительно отправилась к этому человеку, Ивану Феофанову. Добраться к нему — никаких трудностей. Он, оказалось, живёт в том же месте, что и она, только на окраине, за рекой, где еще горбятся деревянные дома.

Река у этой окраины делает длинную излучину, охватывая её с трех сторон. Обширная речная пойма почти вся заболочена. От самой реки осталась лишь узкая, переливчато тёмная полоса. Дальний берег — высок и обрывист. По его песчаному склону пестрят языки помоек.

На этом конце города Рита когда-то бывала с отцом. Водил её купаться, прихватив с собой очередную свою пассию. Но Рита могла этот довесок в виде женщины не замечать, главное ощущение – отец рядом, и река ласково обнимает тело.

Теперь жалкое зрелище эта река. Но Рита смотрела поверх неё, на дальний берег, до которого по собственной воле пошла через весь город пешком. Желание взглянуть на места детства — это лишь так, попутно, по дороге к человеку, увидеть которого было сейчас важней всего.

Нужная Рите улица оказалась от реки первой. Шла по верхнему краю высокого берега. Тротуара не было. Рита двинулась по обочине.

И снова под ногами песок. Перемешанный с дорожной пылью. Он мельче и сыпучей, чем у заброшенного парка. Легко проникает в туфли. Приходится снимать и вытряхивать.

Улица вдруг резко падает вниз, будто проваливается, и затем, сделав отворот от реки, идёт низом вдоль уступа, наверху которого — один только дом. После него — кустарниковая пустошь.

За штакетным забором вверх к дому – крутая, почти отвесная лестница. Нижняя её ступень примыкает к калитке. На калитке номер 37. Вот это место, где живёт Феофанов.

Открыв калитку, Рита пристально посмотрела, куда ей предстояло подняться. Да тут надо быть скалолазом, чтобы одолеть такую крутизну! Ступеньки узкие, ненадёжные, гвозди проржавели, шляпки их повылазили.

Рита поставила ногу на первую ступень и попробовала её. Шатается. Рита на неё шагнула. И тут же на следующую, быстро, как по тонкому льду. Перила хлипкие, пятки свешиваются, промежутки между ступенями с полметра. Какого чёрта держать такую лестницу! Рита сердито и резко сделала следующий шаг. Нога соскользнула. Рита вцепилась в перила и ожглась о её зазубрины. Отдернула руки и... неудержимо поползла на животе вниз. Чтобы удержаться, она схватилась за верхнюю ступеньку и упёрлась ногой в нижнюю. Та затрещала и развалилась. Ритина нога повисла в воздухе. На какое-то мгновение Рита застыла, затем подтянулась на руках к верхней ступени. Перехватив руки, — на следующую. Осторожно развернулась и осторожно присела на, похоже, надёжную ступень.

Нарочно на эту лестницу послали? Другого хода нет? Испытать хотели. Или чтобы вообще не добралась. Да на фиг сдался этот Феофанов!

Опасливо приседая на каждую ступеньку, Рита сползла вниз и вышла за калитку. Ладони пылали, голова тоже. Болела ушибленная щиколотка, а одна штанина оказалась на коленке порванной. Рита с ненавистью посмотрела на лестницу и погрозила ей кулаком. По мобильнику набрала номер Феофанова.

Вот как! Адрес по этой улице, а вход с другой. Нет, Александр не предупредил, дал только адрес. Нет, сегодня встретиться уже не получится. Как-нибудь другой раз.

Но ещё неизвестно, появится ли вновь решимость увидеть этого человека. Сейчас всё, улетучилась. Никакого желания видеть его нет. Пусть сидит себе там, наверху своей хитрой лестницы и морочит Александра, если тому так хочется. Не ревновать же его к Феофанову! Всё, надо переключиться на чтонибудь другое. На что-нибудь, но только не связанное с людьми.

И тут как раз то, что надо – потрясающей мощи закат. Смотри не хочу трагедию умирающего солнца. Древняя, как мир, игра в смерть и грядущее воскрешение.

Эту трагедию Рита досмотрела до конца. И, когда, пройдя мост, вошла в кварталы многоэтажек, небо уже полностью потемнело.

Пройдёт не так уж много времени, и небо снова озарится. Солнце воскреснет и будет снова изливать на землю свою благодать. Будет и никаких гвоздей! Это божество никогда не подведёт и не предаст. Если и оставляет в темноте, то ровно настолько, насколько и светит. Оно всесильно и справедливо. Всем воздает в должной мере. Мы – его дети. Будем же образом

его и подобием. Будем давать друг другу свет и тепло, как наше божество – Солнце.

- Подобный взгляд может, конечно, быть косвенным признаком психического расстройства. Но необязательно. В данном случае это скорей потребность в позитивном образе нашего мира. Молодёжи он особенно необходим.
- Что ты несёшь! Какой тут позитив! Мракобесие это. Парню двадцать лет, учится в МГУ, а в голове такая хрень. Это надо же не лениться встречать рассвет да ещё босиком! Их там целая кодла собирается. Ходят за руки, водят хороводы. Это же с ума сойти, чем занимаются.
 - Игра это. Пройдёт.
 - Пройдёт? А что после таких игр с их мышлением будет?
 - Другие игры начнутся.
 - Какие ещё игры?
 - Какие-нибудь, обычные.
- Ну да, бильярд, карты.... Да не корчь ты такую физиономию. Знаю я, о чём ты. Примитив и упрощение эта ваша теория игр. Взрослые, по-настоящему взрослые люди заняты серьёзными делами, а не играют в них. Поиграл бы я за хирургическим столом! Взрослеть надо, мужать, а не тетешкаться со своими неврозами. Вот раньше ты работал как профессиональный психиатр с действительно больными людьми. А теперь в своей психологической консультации возишься с теми, кто не взял на себя труд повзрослеть.
- Ух, ты! Как ты надвое разложил. А ведь по-настоящему беру твое слово по-настоящему в каждом такая своя мешанина. Даже в тебе. И окриком «А ну действуй по-взрослому, по-мужски!» тут не поможешь.
- Ну и продолжай потакать, тетешкаться: «тю-тю, митю-тю, разберём ваши игры и как нам в них выиграть».
 - При чём тут игры! Мое дело совсем в другом.
 - Да занимайся, чем хочешь! Я тебе не советчик.
- Нет, ты все-таки послушай! Со всей твоей любимой серьёзностью хочу, чтобы ты знал, чем я на самом деле занимаюсь, чтоб ты не выдумывал какие-то свои предвзятые представления. Так вот, моя задача помочь человеку выстроить внутреннюю, психологическую иерархию, разобраться, что необходимо поднять вверх, закрепить в своём сознании, а что крепко задрачть на самом дне. Человек сейчас совершенно взбаламучен и оттого психологически неустойчив.

Разговор шёл в башне — шестигранной надстройке над вторым этажом тёмного бревенчатого строения посреди старого участка, обширного и лесистого. Ассиметричное, с лепившимися к основному срубу террасками, эркерами, нишами и балкончиками, в резном, витиеватом уборе, строение это было под стать разнообразию форм и линий окружавших его деревьев, кустарников и трав. Похоже было, что замысловатое пространство дома уже не менее ста лет давало пристанище попадавшим в него существам.

Двое из них, наговорившись, начали спускаться с башни по наружной винтовой лестнице. Некогда она, видимо, была ещё и ажурным украшением задней глухой стены. В нынешнем же своём состоянии лестница внушала опасения за двигавшихся по ней людей. Сыпавшиеся по ней шаги заставляли ступени глухо и тяжко скрипеть.

На этот скрип последовал тонкий стон ивового плетения садового кресла, в котором повернулась в сторону лестницы крупная пожилая женщина. Плетение прутьев издало повторный скрип, женщина вернулась в исходное положение. В тени старой шатровой ели матово светилась густая седина её коротко стриженных, чуть вьющихся волос. У ног женщины чутко лежал пёс. Четырехглазый. Над парой влажных темнокарих выпуклостей другая пара выделялась ярко жёлтыми шерстинками на надбровных дугах.

Не поворачивая орлиный профиль в сторону приблизившихся к ней мужчин, женщина, уставив взгляд на газон, где зыбко играла граница света и тени, произнесла:

– Твоя жена, Игорь, поехала за питерской Фаиной. Даже эта пятая вода на киселе сочла необходимым быть сегодня здесь. Но не твои дети!

Приподняв подбородок, она повернула голову, из глубины глазниц сверкнула тёмным взглядом на одного из мужчин.

- Почему они не хотят сюда приезжать? потребовала она ответа.
- Мама, не надо накручивать! последовал отклик. Почему не хотят? Хотят, но не могут. У них полно дел.
- Не надо их защищать. Меня бы так защищал! Слова сдержанно вдавливались в воздух. Они должны были быть здесь. Сегодня особый день. Я ведь права, Вадим? обратилась она к спутнику сына.

Коренастый, широколицый мужчина, с удручённым видом глядевший себе под ноги, вдруг с непонятным смыслом пока-

чал головой и по-медвежьи, вразвалочку приблизился к креслу и взял запястье выжидательно обращённой к нему женщины.

- Таисия Андреевна, у вас учащённый пульс, отметил он, опуская её руку. Вот на это надо обращать внимание и принимать соответствующие меры.
- У меня всегда такой! Женщина поднялась, заявляя вообще, всему вокруг: Хочется мира, а выходят одни стычки.

Она направилась от своего кресла к дорожке. Пёс последовал за ней.

- Мама! Нельзя же так!

Таисия Андреевна, не останавливаясь, передёрнула плечами.

Ладно, как хочешь, – примирительно отпустил сын и тотчас добавил вслед уходящей матери: – А другая твоя внучка, Рита? Она приедет?

Рита! Должна появиться. Связующие нити втягивают в происходящее. Можно было бы их оборвать или из них вывернуться, но тогда – безымянность, молчание. Немота.

Таисия Андреевна ничего на вопрос сына не ответила. Чуть ссутулившись, начала подниматься по ступенькам террасы, дугами рам и резьбой подзоров отмеченной. Слегка осевшая на одну сторону, с облетающим растительным орнаментом терраса эта, как и весь дом, всё еще достойно тянула своё существование.

Игорь прокашлялся и тыльной стороной ладони вытер глаза. Вадим, стоя, как и Игорь, лицом к дому, полюбопытствовал:

- Давно хотел тебя спросить: когда дом этот был построен?
- Точно не знаю. Кажется, перед войной.
- Надо же! Не думал, что тогда ещё так строили.
- Да не перед второй! Перед первой. Прадед, говорят, угрохал на этот дом всё царское вознаграждение за свои исследования северных окраин империи. Дом этот он обожал. Так, во всяком случае, принято считать в нашей семье. А вот сын его, мой дед Андрей, этот дом терпеть не мог. Считал безвкусицей. Сам был известный архитектор, убежденный конструктивист. По нему архитектура должна упорядочивать пространство, а тут полный хаос форм. С ним солидарен и мой отец, его ученик. А мне этот дом кажется занятным. Почему бы такому и не быть. Я к нему даже, наверное, привязан. В детстве любил по его закуткам плутать, представлял себе, что забрёл в дремучий лес, где не знаешь, что тебя ждёт ужас или чудеса.

Сняв очки, Игорь окинул дом прищуренным взглядом и добавил:

– Подозреваю, что прадед мой был язычником, недаром ведь он родом пермяк. Из них христианство крепкую связь с природой так и не вытравило.

Игорь засунул руки в карманы брюк и повёл плечами очень похоже на то, как это делала его мать, уходя в дом.

- Да, вот так! Есть во мне пермяцкая кровь! Он горделиво обвел взглядом свой сад. – Считай – угро-финская.
- Надо же! ухмыльнулся Вадим. Ну а во мне татарская. И что?
 - Она во всех есть! отмахнулся Игорь.
- Хорошо, что не во всех угро-финская, оскалился Вадим. – От неё – заторможенность и склонность к пьянству.
- Зато не пакостят землю и не агрессивны. А твои татары.....
 От них в нас одна беда и только.
- Так это от татар наши беды?! хохотком поперхнулся Вадим. Да от них у нас хоть какое-то чувство локтя и чуток досталось дерзновенности.
- Дерзновенности? саркастически хмыкнул Игорь. Хватать и не пущать такой дерзновенности?
 - А кто не топтал и не хватал? Твои угро-фины что ли?
 - Они-то? В очень малой степени.
 - Темперамент не тот.
- Ну да, куда им до татар! Только вот что скажи, Вадим Улюкаев: зачем же ты из своего казанского ханства в Москву перебрался? Плохо, что ли, среди своих татар было?

Вадим вскинул поражённый взгляд на Игоря.

- Ты что? В своем уме?
- Я-то в своем. Я-то у себя! вдруг вырвалось зло у Игоря.
- Ну знаешь! Какого чёрта! рассвирепел Вадим и, пыхтя, круто отошёл от Игоря. Я, пожалуй, лучше поеду.
 - Да ладно тебе! Я ж это так!
- Что «так»? Вадим резко обернулся, и свирепость сползла с его лица.

Игорь в растерянности моргал и виновато улыбался. Потом развел перед Вадимом руками. Да, действительно, что тут скажешь. Совсем недавно там, в башне рассуждал, как надо держать свою говенную бездну внутри крепко задраенной, а тут, надо же, прямо-таки распахнул её.

 Не знаю, что на меня нашло.
 Игорь шагнул к Вадиму и притянул его к себе.
 Но ты тоже хорош. Ладно, прости.

Сдержанно булькнув, Вадим поддался в руках Игоря. Затихли. Тут Игорь через плечо припавшего к нему друга заметил

идущую к ним Риту. Шла она, как всегда слегка скованно, но радостно ему улыбалась.

До чего мила! Сдержанно, ненавязчиво мила. Повезло с племянницей. И хорошо, что племянница. Можно такую ладненькую, тоненькую обнять и без зазрения совести покрепче к себе прижать. А Вадим уже готов, успокоился. Можно его отпустить и теперь взять Риту.

Рита не сопротивлялась, лишь рассыпалась мелкими смешками. Но пора было и Риту из рук выпускать.

И тут оказалось, что вслед за Ритой по саду шёл еще некто. В добротном светло-сером костюме спортивного покроя. Было этому некто лет около пятидесяти. Шёл он с расстановкой, оглядывая всё окрест себя. Поймав на себе взгляд Игоря, направился к нему. Назвался Валерием Леонидовичем Налимовым. Прибыл из Перми. Таисия Андреевна дала согласие, чтобы он сюда сегодня приехал. И приезжий снова окинул странно оценивающим взглядом окружающую местность.

Такая манера разглядывать чужое хозяйство была мало приятной. Игорь скорым шагом направился в дом позвать мать. Раз она этого пермяка пригласила, пусть теперь им занимается. Надо прихватить с собой Вадима, а то вдруг опять обидится и уедет.

Приезжий проводил взглядом Игоря, удалявшегося в обнимку с Вадимом, и обратился к Рите.

- А без вас я бы точно тут заплутал. Хорошо, что вы мне попались.
 - А вы меня подвезли. Так что мне тоже повезло.

Приезжий кивнул и, отойдя от Риты, встал лицом к дому, склонив набок свою крупную, бобриком постриженную голову.

Теперь он был виден в полной мере, с головы до пят, и весь с головы до пят давал знать, что он-то среди обволакивающей это место зыбкости и увядания — крепок и надёжен. И он может.... Только не начинай! Нет, почему же — вот такой как раз и может без срывов давать заботу и защиту. Если к нему прилепиться, то можно и выплыть к устойчивому берегу. Надо только за что-нибудь в нём уцепится.

 Значит, ваш земляк строил этот дом? – окликнула Рита Налимова.

Тот оглянулся и, подержав на Рите цепкий взгляд, к ней приблизился.

 Да. Петр Николаевич Окунев. Но строил, конечно, не он один. Тут их целая артель из наших краёв работала. Но проект, уверен, его. И украшательства на доме его. Он вообще был прославленный мастер резьбы по дереву. Знаете, такой наш особый пермяцкий стиль. Так что художества тут — его рук дело. Его работы даже в Америке есть. Вот так! Купили! — наставительно оповестил Риту Налимов. — Вот и вы заполучили плод его труда. Но пользуетесь им из рук вон плохо. Того гляди дом развалится. Не впрок ему, что вы здесь живёте.

Ожгло это. Рита поёжилась. Обвиняет? Стало грустно. Привычно грустно.

 Такой дом трудно содержать, – промямлила она и, слегка сгорбившись, отошла.

У дальнего забора цвели поздние георгины. Неизменно под закат лета сигналят всеми цветами радуги, что ещё не конец, что под финал остались у растительной жизни силы и краски. Сигналят они тут об этом со времени основания дома. Теперь особый за ними присмотр ведёт Таисия Андреевна. Неизменно под зиму выкапывает их растопыренные, как пальцы, корни, хранит в подвале и каждую весну высаживает на закрепленное за ними место. Цветение их похоже на ежегодный ритуал, прекратить который смерти подобно. Исчезнут эти дико пышные цветы — исчезнет и жизнь в этом доме. Что и высказывает почти серьёзно Таисия Андреевна, заставляя сына Игоря каждую весну вскапывать для них землю.

Укрепившись духом подле георгинов, Рита оглянулась на приезжего. Оставленный в одиночестве, он нисколько не озадачен, не смущён. Самостоятельно ходит, осматривая дом.

А внутри дома мать и сын выясняют отношение к его появлению.

- Не надо было вот так запросто, по одному звонку приглашать его сюда.
 - В чём дело? Что тебе не нравится?
- Скользкий тип. Ты бы видела, как нехорошо он разглядывал наш дом.

Таисия Андреевна снисходительно покривилась.

- Что значит «нехорошо»? Не понимаю, с давящей терпеливостью спросила она.
 - He хорошо и всё!
- Но ты же можешь объяснить. Ты же психоаналитик. Вот и дай своё объяснение, а то я не понимаю. Ты вроде как меня предупреждаешь? Таисия Андреевна бросила взгляд на отстраненно сидевшего в углу Вадима. Но о чём?
 - Не понимаешь? Игорь тоже взглянул на Вадима.

За стеклянной трапецией окна, около которого стоял Игорь, беспорядочно закружили, точно чёрные хлопья пепла, вспуганные вороны. Игорь дёрнул в их сторону головой.

– Поясню. – Игорь весь подобрался, как перед броском. – У него явно какой-то свой особый интерес к нашему дому. Он словно бы к нему приценивается. Да, Вадим?

Тот промолчал.

- Надеюсь, мама, ты не собираешься продавать этому пермяку наш дом?
- Ах, вот в чём дело! Таисия Андреевна с довольным видом села на стул у обеденного стола. – И с каких это пор тебя стало волновать, что будет с домом?
- Уж во всяком случае продавать его сейчас совсем не время, тем более этому Налимову. И вообще зачем?
- А кто, кроме меня, занимается этим домом? Я еще как-то пытаюсь его подлатать, тяну на это деньги из твоего отца, хотя он-то открыто его не любит и не бывает тут. А ты? Завесил окна в башне мазней своих пациентов...
- Это не мазня, а мандалы важный элемент моей работы! перебил он мать.
- Все равно, что это! Рамы в башне надо чинить, а ты их просто закрыл бумагой. Этим ограничилось твое участие. А то, что дом требует колоссального ремонта это тебе неважно. Твои дети здесь почти не бывают. Вот они как раз были бы рады от него избавиться!
 - Не выдумывай!
- Я? Выдумываю? Таисия Андреевна сделала движение в сторону Вадима за поддержкой, но остановилась и, с гордой горечью вскинув голову, смолкла.

Выглядела мать утомлённой. Старенькая она, больное у неё сердце. Сильно изношено – комментарий Вадима после консультации в его больнице.

 Ладно, не будем, – буркнул Игорь. Подошёл к матери и погладил её по плечу.

Таисия Андреевна похлопала по его гладящей руке.

В столовой с низким, разделённым резными балками потолком потемнело. Наползла с юго-западного края иссиня-чёрная туча.

– Поди, Игорь, убери кресла из сада, – попросила Таисия Андреевна. – И пригласи Валерия Леонидовича в дом. И чтобы ты знал: он приехал из Перми по делам своего бизнеса, а сюда заехал, чтобы просто взглянуть на дом. Его строил его земляк,

может, даже родственник. Там у себя они им очень гордятся. Вот так!

Налимова Игорь в саду не нашел. Ну и к лучшему. Видеть его – мало приятного. Может, и уехал. А тучу пронесло, так что ничего из сада убирать не надо. Можно самому посидеть в кресле под елью.

Выйдя из дома, Таисия Андреевна там его и увидела. Вместе с Ритой. Он что-то у неё напористо выспрашивал. Но Рита как будто не очень его понимала. Растерянно улыбалась и пожимала плечами. Заторможенная она какая-то. Пора бы ей замуж. Может, тогда оживится.

Таисия Андреевна легко вздохнула и пошла искать пропавшего куда-то Налимова.

Он обнаружился на лестнице в башню. Уже успел преодолеть два из трёх её пролётов.

- Валерий Леонидович? Ради бога, осторожнее! А лучше спускайтесь. Там небезопасно.
- Вижу. Но наверху у вас ведь жилое помещение? Он глядел на окна, закрытые бумагой.
- Спускайтесь! Потом с моим сыном туда подниметесь. Там его хозяйство. Но ничего интересного внутри нет. Лучше смотреть издали. Вот отсюда волшебный вид.

Оказавшись лицом к лицу, Таисия Андреевна и Налимов молча друг на друга уставились, скрадывая улыбками обоюдное острое любопытство.

Эта дамочка – так определить Таисию Андреевну мог именно Налимов. – эта дамочка – хитрая штучка: сейчас для неё главное – выставить свою участливость, а на деле будет покусывать, проверять на вкус, что за фрукт перед ней.

Да ладно вам, Налимов! Думаете, так уж верно умеете разбираться в людях. Хотя, судя по костюму, вам удаётся в своём далёком пермяцком крае кое-чего добиваться. Но здесь, в Москве – осторожнее! Какие бы тут у вас ни были планы, наверняка заработаете щелбаны по вашему гордяцкому носу. Так что на успех не очень рассчитывайте.

Таисия Андреевна вела Налимова под руку на террасу пить чай. Обедать будут позже, часов в шесть, когда все соберутся. Сегодня юбилей. 150 лет со дня рождения Арсения Петровича Сазонова.

– Да, того самого, моего деда, – подтвердила Таисия Андреевна. – Так что приехали вы на редкость вовремя. Арсений Петрович и для вас не совсем посторонний человек. Ведь это

он первым открыл талант вашего земляка. Ездил с этнографической экспедицией в ваш пермский край и оттуда привёз сюда Петра Окунева. Привлёк к нему внимание. Кто только не приезжал смотреть наш дом! А вы знали, что Арсений Петрович помог вашему земляку поступить в удожественное училище?

- Только ведь он ушёл оттуда, отрывисто вставил Налимов. Не захотел там учиться. И славу себе заработал не здесь, а у себя на родине. Его работы, между прочим, есть в Америке.
 - Что вы говорите! Как необычно.
- Я привёз книжку. Наши краеведы сделали. Там всё о нём написано. И фотографии.
 - Обязательно покажите.
 - Ах, ты! Я ведь кейс оставил в машине. Сейчас принесу.
 - Сидите, сидите. Успеется. Я вам верю
- Что значит верите? неожиданно вскинулся Налимов. На веру брать это, знаете, от нежелания знать!
- Ну что вы так! Мы же с вами пьём сейчас чай! заворковала Таисия Андреевна. Я очень хочу всё знать про вашего Окунева. Что вы так разволновались?
 - Да спокоен я! буркнул Валерий Леонидович.
 - Ну и хорошо. Берите печенье.

Валерий Леонидович тяжело, двумя руками взял чашку. Опомнившись, быстро поставил её обратно и взялся двумя пальцами за тонкую чайную ручку. Окинул террасу тоскливым взглядом и произнёс:

- Он прожил здесь пять лет.
- Кто?
- Петр Окунев. Я тоже намереваюсь перебраться в Москву.
 В скором времени.

Нахмурившуюся Таисию Андреевну слегка передёрнуло.

- Зачем? Разве в ваших родных краях так плохо?
- Нет, не так плохо. Но надо быть там, куда сходятся все нити. Хотя, честно говоря, Москву не люблю. Спесивый город. Всё на себя тянет. Вот потому-то, Валерий Леонидович презрительно хмыкнул, и надо стать в Москве своим человеком. Буду сюда перебираться и точка. Налимов повёл головой, расслабляя шею. А сын пусть там, в Перми, остаётся. Отсюда помогать ему буду. Что ж, спасибо за чай. Пора ехать.
- Как же так! вскинулась Таисия Андреевна. Мы же собираемся отмечать юбилей Арсения Петровича! Вы, что, не хотите почтить память, извините за старомодное слово, благодетеля

вашего Петра Окунева? Да и какие могут быть дела в воскресенье, не понимаю. Дом осмотрели и теперь убегаете?

- Я ещё приеду.
- Да? Как-то всё это странно.
- Не беспокойтесь, ваши интересы будут учтены.
- Какие мои интересы? ошеломилась Таисия Андреевна. О чём вы?
- Обсудим, с ласковой мужественностью заверил её Налимов. А теперь, простите, должен ехать.

Валерий Леонидович расторопно расцеловал ослабевшие вдруг руки Таисии Андреевны и двинулся к выходу. Таисия Андреевна последовала за ним. Спустившись с террасы, Налимов приостановился.

- Вот, что я хотел ещё у вас спросить: Арсений Петрович похоронен на местном кладбище?
 - Да. А что? насторожилась Таисия Андреевна.
- Дело вот в чём. Место захоронения Петра Окунева не установлено. Но есть сведения, что в конце жизни он мог приехать сюда и скончаться здесь. Но это только предположение.
 - И что? Таисия Андреевна опять напряглась.
- Не могло быть так, что и Пётр Окунев похоронен на местном кладбище?
 - Странное предположение. Не думаю.
- Я бы хотел посмотреть могилу Арсения Петровича, если вы не против.
- Почему против? Пожалуйста, сухо согласилась Таисия Андреевна.

Машина Налимова была лаково черна и массивна. Он мешковато в неё впрыгнул и мгновенно рванул с места. Исчез. Но он возникнет снова. Обязательно. Не таков это тип, чтобы только однажды из чистого любопытства где-то появиться и на этом всё закончить.

Таисия Андреевна, поджав губы, медленно шла от калитки к дому. Правильно заметил Игорь: есть в этом Налимове что-то неприятное, какая-то скрытая пакостность. Но чем этот пермяк может тут напакостить? Да и зачем ему это? Таисия Андреевна передёрнула плечами. Как бы хотелось, чтобы все знали своё место. Но мало кто признает, где его место. Так и рвутся занять какое-нибудь другое и обижаются, думая о себе невесть что. А насколько было бы благополучнее, если б каждый мог осознать и принять себя таким, каков он есть. Но нет — воображение и гордыня уводят! К Феофанову бы всех!

Да, Иван Феофанов! На своем уступе, в светлом своём многооконном..., нет, не доме — обители, потому что он не живёт там, как все, а обитает, выслушивая всё и примиряя со всем, пока снова раздражение не взбунтуется.

– Хожу к нему, – повторяет всегда в разговорах об этом человеке Таисия Андреевна, – как иные ходят в баню. Ухожу от него легкой и освеженной. Почему? Потому что ему можно без опаски обо всём сказать. И он терпеливо и ласково слушает. Слушает и слышит, а не так что – мимо ушей. По делу переспросит или каким-то словом наведёт, как дальше сказать. Но часто ходить к нему совершенно не нужно. Это ведь не курс психотерапии, как у моего Игоря.

Обычно о Феофанове слушают недоверчиво. Но не те, кто его знает! Таисия Андреевна нервно втянула воздух и обхватила руками широкие свои предплечья. Жирка на них почти нет. Только сухожилья и минимальное количество мышц. Таисия Андреевна несколько раз сморгнула и обвела цепким взглядом свой участок.

Под шатровой елью Игорь с Вадимом играли в шахматы. Сентябрьский вечер был ярок и тих. Незамутнённый купол высоко вздымался над всем владением. Партия в шахматы складывалась в пользу Игоря. Таисия Андреевна одобрительно похлопала сына по спине. Оставшееся обращённым к доске лицо его улыбчиво расслабилось. И был сделан ошибочный ход. Последующие дело не поправили.

Стоя над сыном, Таисия Андреевна вдруг заявила:

- Надо будет на днях съездить на кладбище. Я была там вчера, но не успела всё сделать.
- На кладбище? переспросил Игорь и положил короля на доску. Партия закончена.
 - Налимов уехал, сообщила Таисия Андреевна.
 - Ну и слава богу!
 - Ужин через час. Надеюсь, все соберутся вовремя.

За столом собралось семь человек. Убрав лишние приборы, Таисия Андреевна, наконец, с торжественным видом всех оглядела.

Сестра Ксения подслеповато всматривалась: что на столе. Удивительно, как в её дряхлом сердце всё ещё удерживается яростное неприятие деда, выдающегося деда, Арсения Петровича. Зато бывшего с ним в контрах отца по-прежнему со слезами обожает, хотя и того тоже давно уже нет в живых. Пора бы ей эти свои бурные страсти похоронить. Боится, что ли, вместе с ними похоронить и себя.

– Когда ты, наконец, сменишь очки? – проворчала ей Таисия Андреевна, видя, как она тыкает вилкой мимо оставшегося на тарелке куска ветчины.

Ксения подняла на Таисию жидко голубоватые глаза и, собрав в них всю силу, твёрдым шёпотом попросила:

- Не груби! Положи мне сама.

Тут стал слышен не в меру громкий голос Игоря, перегнувшегося через жену Инну к Вадиму.

- Да! Я помогаю своим клиентам не выворачиванием их наизнанку, как это делает традиционный психоанализ, а заталкиванием всех их чертей осознанно подальше внутрь. Создаю у них положительный образ себя. Нет ничего бесполезнее, чем...
 - Игорь! Прошу тебя! прервала его Таисия Андреевна.

Но тот досадливо отмахнулся и продолжал глаголить Вадиму:

- Психически устойчивый человек еще может без особого вреда в себе копаться. Только таких здоровых людей раз два и обчёлся. Так что не надо психически неустойчивому человечеству лезть в свои внутренние дебри, наросшие за всё время эволюции.
- Правильно! несколько осоловело, сквозь пережёвывание пирожка поддержала его Ксения Андреевна.
- Нет, это уже просто невозможно! проскрежетала её сестра, Таисия.
 - Всё, молчу! Вадим откинулся на спинку стула.
- Самое надёжное все-таки медикаментозная помощь! не удержался Вадим.
 - Ну ты-то! простонала Таисия Андреевна.

Последовало то же обещание – молчать.

А что на другой стороне стола? Таисия Андреевна направила туда тревожный взгляд. Тоже не очень благополучно. Рита и Фаина продолжают напряжённо игнорировать друг друга. Что за кошка пробежала между ними? Вроде уже давно примирились с существование друг друга и стали даже как будто дружны. А тут вдруг — что? Может, Александр? Но Фаина сама с ним Риту познакомила. Хотя далеко не сразу после того, как Рита стала к ней в Питер ездить. До этого не решалась. Что-то её останавливало свести этих двух приходившихся ей с разных сторон племянников. Ладно, потом... Пора сейчас напомнить, зачем всех здесь собрала.

Таисия Андреевна поднялась с бокалом в руке, но тут в коридоре раздался радостно визгливый лай Оша. Кто-то пришёл, кому пёс рад.

В комнате появился Александр Бекетов. С высоты своего прямого, как столбец, тела петербургский пришелец овеял комнату прохладным голубоватым взглядом. Какая спокойная свежесть от него! У Таисии Андреевны появился лёгкий румянец на щеках.

Не предполагалось, что Александр приедет. Фаина была уверена, что он в Петербурге. Его приход, как первый снег: только было темно, а тут глянь – всё бело и светло. И тихая тонкая прохлада.

– Так только кажется, – прошептала про себя Рита. Когда расставались на вокзале, такую выпустил из себя колкость, что не смогли обняться. В вагон ушёл сумрачным, будто на перроне осталась не она, а кто-то ему досаждавший.

Таисия усадила Александра рядом с собой, оттеснив Ксению. Той было всё равно. Она даже оживилась, оказавшись ближе к племяннику Игорю, так здорово разозлившему Таисию.

- Какими судьбами? Таисия Андреевна протянула Александру тарелку с пирожками.
- Надо было побывать у одного человека. Как раз тут недалеко. Вот решил заехать и к вам. Фаина говорила, что вы сегодня все здесь соберётесь.

Какие изумительные у Александра зубы! Так бы и расцеловала его! Хорош, хорош. Питерская порода. Элегантен, ровен, сдержан. Но не обманешь! Есть, есть в тебе, Александр, магма внутри и ещё какая! Однако бездна задраена. Вот кто Игорю подходящий пример, как надо держать своих демонов крепко захлопнутыми внутри. Но как не испытать! Нет, конечно, только на какой-то момент! Но какой потрясающий! Взрыв освобождения — это ничем не восполнишь. Но можно наименее опасным способом делать — в постели. А потом — хлоп и снова себя задраить, не вникая, что и почему. Партнёр только должен быть подходящий. И ведь был такой! Интересно, каков Александр, когда даёт себе волю с женщинами. С Ритой? Вряд ли.

– Мама! Ты вроде собиралась сказать тост! – воззвал к матери Игорь.

Ах, да! Все ждут. Надо что-то сказать. Нет, не что-то, а самое сейчас важное!

И пошла речь Таисии Андреевны. Из её слов начала складываться своя реальность. Там по ходу дела рождается в далёком

лесистом крае её дед, Арсений Петрович Сазонов. Наделяется небывалыми по силе упорством и талантом. И становится он профессором Московского университета. А перед войной 1914 года закладывает этот необычный дом, после чего в начале 20-х годов создаёт новое направление в этнографии, объединяющее в единое целое биологию, религиоведение и географию.

- Знаю я, почему она всё это затеяла, шепнула Ксения непроницаемо прекрасному Александру. Внуки её мечтают этот дом снести. А она против. Вот внуки и не приехали. Только Рита. Но той всё равно.
- Жаль, откликнулся Александр и окинул взглядом комнату.

Массивный светильник под потолком держит в своих литых ветвях и листьях колокольца плафонов. В одном из них лампочка перегорела. Неяркая светимость остальных создаёт мглистость вокруг сидевших за столом, и они видятся изменёно и неясно. Рита вроде как вытянулась и похудела, лицо её покрывает коричневатая бледность, а глаза углубились и, глядя на него, влажно мерцают. Кивком дал понять, что рад её видеть. Губы у неё шевельнулись, то ли в обращенной к нему улыбке, то ли в ответ на сказавшей ей что-то Фаине.

А вот Фаина открыто, но непонятно зачем погрозила Александру пальцем и перевела взгляд на Игоря. Как он, старший мужчина в доме, относится к происходящему? Странное семейство. Отношения в нём неустойчивы и зыбки. Вот Игорь, можно сказать, силком вытолкнул мать на тост, а сам явно её не слушает. Отрешённо уставился в стену и мыслями где-то в другом месте.

Под речь матери Игорь погрузился в растительные дебри, широкими полосами вырезанные по краям деревянных панелей, покрывавших стены. Ушёл в эти дебри, как в детстве. И оттуда обрывками речь, идущая вроде из прадедовских времен. О дремучем-дремучем лесе. А в том лесу — дремучий-дремучий дом. Живут в доме два брата. Привычно им в этом доме и укромно. Теперь одному брату вдруг опостылело в нём жить. Ушёл он. Тому, кто остался, стало одиноко. Отправился он искать своего брата. Бродит, бродит, а брат его всё куда-то убегает, не хочет с ним встречаться. Вроде того, что боится, как бы его снова не утянули обратно в дремучий дом. Получается так: один всё ищет, а другой всё убегает. Тем временем дремучий их дом рушится, а другого нет. Один ведь брат всё ищет, а другой всё убегает. Теперь встречает тот, кто ищет, мудреца. И тот

ему говорит: сделай свой дремучий дом светлым и приветным, тогда, глядишь, твой брат и вернётся. Но тому не досуг: надо ведь искать. Отмахнулся он от мудреца и пустился дальше за братцем. А тот всё убегает. Так до сих пор один ищет, а другой бегает. На том, вроде, и сказке конец.

– Ты чего? В какую мандалу уставился? – Вадим со стуком отодвинул опустевший рядом с Игорем стул и сел, приобняв друга. Тот осоловело огляделся. Стол был пуст. Сидевшие за ним разошлись и были заняты отдельными своими делами.

Вдруг все одновременно вздрогнули и оборотились к окну. За ним с нарастанием – вой и гул. Скрип и стоны деревьев. Посвист и визг вихревых масс.

– Да это настоящий ураган! – пронеслось по комнате.

Бешеным напором воздушные массы расчищали себе дорогу с юго-запада на северо-восток, сотрясая всё, что попадалось на пути. Обитатели дома отступили во внутреннюю комнату. В ней не было окон, и воздух оставался неподвижен. Завывания и свист доходили сюда намного слабее. И всё же они были громче, чем постукивания пальцев Фаины по стойке витиеватой этажерки, чем мерный шум шагов взад вперед ходившего у стены Вадима, чем голос Игоря, называвшего вслух открываемую карту пасьянса на маленьком столике у дивана, где порывисто и редко вздыхала сидевшая рядом с сыном Таисия Андреевна. Александр Бекетов тоже порой вздыхал, прислонившись к стенке шкафа и глядя на ногти правой руки. Вдруг он перевёл взгляд на Риту. Она была не в пример другим совершенно неподвижна. Как длинный мотылёк, сложив на груди руки, замерла в глубине кожаного кресла. Его дряхлая массивность создавала волшебный укром погрузившемуся в него телу.

Нет, Рита все-таки восприимчивей и чувствительней, чем казалась. Буря действует на неё сильней, чем на других. Бывает резка и грубовата, но это от своей уязвимости. Рита, Рита, мотылёк длинноногий с тонкими крылышками...

Александр двинулся к ней. У её кресла замедлил шаг, примериваясь, и, наконец, опустился на подлокотник. Положил руку на спинку кресла и склонился к Рите, говоря: «Скоро кончится. Ничего страшного». Рита качнулась к возвышавшемуся над ней Александру, но зажатость её не отпустила.

Фаинины глаза сузились, рассматривая пару в кресле. Между ними ток. Наэлектролизованность. Вот так должно быть на сцене. Стоишь на расстоянии с партнёром, а всё пространство между – под напряжением. Тогда у публики возникнет ответный

трепет. Не явленностью, не эмоциональной открытостью действовать, а внутренним накалом, от которого к партнеру – ощущаемая нутром дуга! Но мало у кого достаточно для этого внутренней энергетики. А если она и есть... – тут Фаина горделиво дёрнула головой – ... то разве дадут её должным образом проявить в нынешних спектаклях.

К скопившимся в комнате вздохам Фаина присоединила и свой. Обвела комнату взглядом и направилась к воде в бутылке на столике подле кресла, где сидели Рита и Александр. Мелкими частыми глотками она пила минералку, усмехаясь собачьему вою урагана. В стенах дома ураган снаружи представлялся нереальным. Треск и свист его слышались звуками фильма, крутимого где-то за пределами комнаты. Иногда внутри мог вдруг защемить ужас, но всё равно нереально это, совершенно нереально.

Бросив мимоходом Рите и Александру свою, способную охватить полный зал улыбку, Фаина прошла обратно к стулу у противоположной стены.

 До прихода сюда ты был у Феофанова, да? – приглушённо скрипнул голос Риты, и следом – обидчиво режущий взгляд на Александра.

Лучше бы молчала. Мотылёк превратился в гусеницу. Александр поднялся с подлокотника и хотел было просто отойти от Риты, но она схватила его за руку и потянула обратно.

- Кто он тебе? на сдавленном вскрике вырвалось у Риты. –
 Что за человек, в конце концов, этот Феофанов?
- Феофанов? уловила сидевшая рядом на диване Таисия Андреевна. О! Это большой мастер. Не удивляюсь, что Александр к нему из Питера ездит.
- Мастер? проваливающимся голосом переспросила
 Рита. Мастер чего?
- Мастер общения. Это просто эйфория с ним общаться! воодушевлённо пояснила Таисия Андреевна. Так ведь, Александр? За этим к нему и ходят. И он всегда готов принять. Мне даже жаль его. Затратное это дело с людьми общаться да ещё так, как он. Вот у Игоря в его консультации за это большие деньги платят.
- Психопатическая личность этот ваш Феофанов, неприязненно откликнулся Игорь. Ненормальный интерес к чужой жизни вот, что у него.
- Нет, дорогой мой сын, человеческий интерес. А вот у вас – коммерческий, – категорически определила Таисия Анд-

реевна и достала из ящика серванта пачку свечей. – Свет наверняка отключат.

И действительно, не успела она расставить свечи, как лампочки погасли. От зажигалки Игоря вспыхнули фитильки. Огненные язычки затрепетали, хотя не то, что ни ветерка не ощущалось, а даже некоторая спёртость воздуха была в комнате.

 Такая буря и без всякого предупреждения! Как всегда у нас, – устало отметила из темного угла Инна, жена Игоря.

Вдруг что-то с тяжёлым стуком загрохотало, скатываясь по крыше. Через пару секунд прыгающий по верху грохот повторился. И снова ничего не слышно. Только ставший уже привычным вой и свист урагана. Все ещё немного прислушивались, а затем успокоились. Не идти же в темень под ветром смотреть, что случилось. Может, ничего страшного. Ну грохнулось что-то, но стены-то целы.

Игорь всё же поднялся и подошёл к открытому проёму в столовую. Оттуда видны широкие окна на противоположной стороне. За ними просматривалась наружная территория. По ней неистово мелькали какие-то неясные массы. Но ведь долго так продолжаться не может. Игорь повернул обратно и, поколебавшись, направился к жене. Встав около неё, заверил в пространство поверх её головы:

- Скоро это должно кончиться.
- А терраса-то трещит! каркнула Ксения Андреевна. Вотвот тоже развалится.
 - Почему тоже? встрепенулась Таисия Андреевна.

Теперь уже она подошла к проёму в столовую. За окном разрастался голубовато-стального цвета просвет. Проступавшие на его фоне вершины деревьев стали заметно замедлять свое раскачивание.

- Стихает, - сообщила она, возвращаясь к собравшимся.

И действительно, наружный вой перешёл на глухие вздохи. Вскоре в саду тихо зашуршало.

Сквозь темноту падали тихие хлопья снега. Все собрались подле окна. Снег летел мирно и мерно.

– Растает! – махнул рукой Вадим. – Но грязи много будет. А вот нам перед отъездом неплохо было бы чайку. – И с наигранной деловитостью похлопал себя по животу.

Какой-то шорох в коридоре. Похоже, прошаркали чьи-то шаги к лестнице на второй этаж. Таисия Андреевна напряжённо вслушалась. Ош отрывисто поскуливал. Надо пойти проверить.

Таисия Андреевна вернулась нахмуренной. Сообщила, что приехала внучка Лиза с другом. Не хотят показываться: страшно испачкались и промокли. А чайник вот-вот вскипит. Кто хочет, берёт чашки.

За столом утомлёнными периодами зашелестел разговор. За окном верх и низ сшивал снег. На столе с тихим потрескиванием светились огоньки свечей.

И тут снова в коридоре – короткий шум и лай Оша. Следом раздался голос влетающего в комнату Налимова.

- Видели? Башню снесло!

Неожиданность его появление и вспыхнувший тут же электрический свет не дали как следует расслышать его сообщение, и первое, что последовало, был вопрос:

- А вы здесь откуда?
- Оттуда, оттуда, из Москвы. Да вы выйдите, посмотрите!

Собравшиеся кучкой перед домом глядели наверх. Сквозь черноту ночи белые лепестки снега осыпали оскалившийся остов башни. Деревяшки и осколки её лежали припорошённые снегом на земле. Рассмотреть их не было никакой возможности. Отложили до утра.

Ш

Утро наступило ясное и сквозящее. Выходили в побелевший сад, глядя на остро голубое, в резных облачках небо. Потом различили на земле под снежной порошей обломки. Следом взгляд перешёл на уже виденное ночью — остатки башни над вторым этажом. Тёмными зубьями они вонзались в небо.

Инна поднялась обратно на террасу. Остальные начали собирать, что отвалилось во время бури. Двигались скованно, за исключением Налимова. Этот Валерий Леонидович деловито шустрил, будто происходило нечто его вдохновляющее.

Собрав, что осталось от бумажных мандал, Игорь уехал, прихватив с собой жену Инну, нахохлено простоявшую всё это время на террасе. Рита с отрешённым видом бродила среди обломков. Временами подбирала какую-нибудь деревяшку и относила в общую кучу. Туда, к этой куче, проворно сновал со своей ношей Валерий Леонидович. Его энергичность моментами взбадривала Таисию Андреевну, и она начинала действовать активнее. Но потом вдруг замирала, глядя на Налимова с наплывающей и опадающей неприязнью. Рухнула башня, потеряна часть дома, а он носится так, будто только того и ждал.

- Валерий Леонидович! не выдержав, позвала его Таисия Андреевна.
 - Можно просто Валерий! живо откликнулся он.
 - Поезжайте. Без вас управимся.
- Ничего! Мне надо быть в Москве ближе к вечеру. Так что я еще могу здесь поработать.

От Налимовского энтузиазма просто коробило.

Всё, хватит. Пошли в дом, – скомандовала Таисия Андреевна. – Рита, оставь сапоги у двери.

Рита кивнула, а потом оглянулась на затоптанный снег и ещё более темные, чем снег, обломки досок. Дом изуродован ураганом, река испоганена людьми. Вот так и идёт.

- Тут, как говорится, баш на баш, отозвался Налимов на какое-то замечание Таисии Андреевны. Но башню надо обязательно восстановить. Это вполне реально.
 - Не реально. Никто теперь так строить не может.
- А вот на счет этого у меня есть серьёзные возражения.
 Налимов заботливо взял под руку Таисию Андреевну, идя вместе с ней в дом.
 И у меня есть к вам предложение.
- А вот этого не надо! открывая входную дверь, отрезала Таисия Андреевна и первая вошла в дом.

Массивные доски стола на кухне испещрены письменами древоедов. Завитки, зигзаги, загогулины из конца в конец. Поверх них – бамбуковые салфетки. На салфетках – кружки с кофе. За кружками – двое юных чему-то в разговоре отрывисто похохатывают. При вошедших примолкли, но всё же, когда переглядывались, фыркали от смеха.

– Ну хоть кому-то весело, – скупо улыбнулась Таисия Андреевна. – Дайте теперь и нам перекусить. Но ты, Лиза, по-моему, ещё не умывалась. У тебя шея в чем-то испачкана. Похоже на сажу.

Худенькая, коротко стриженая девица дёрнулась со стула. Подскочив к раковине, плеснула на шею пригоршню воды и остервенело потерла. Вернувшись к столу, толкнула в бок своего парня. Тот, метнув взгляд на вошедших, буркнул:

Да всё в порядке.

Налимов обошёл стол и сел рядом с Лизой. Смерил её медленным внимательным взглядом и обратился к Таисии Андреевне:

- Знаете, я заметил кое-что странное. Доски кое-где были почерневшими, будто...
 - А вы кто? наскочила на него Лиза.

- Я? Валерий Леонидович Налимов. Из Перми.
- А здесь вам что нужно?
- Лизавета! цыкнула на неё Таисия Андреевна. Валерий Леонидович приехал посмотреть наш дом, который строил его родственник.
- Не совсем родственник, уточнил Налимов, но из тех же краёв, что и я. Наша знаменитость. У нас в Перми скоро будет его музей.
 - Музей? Лиза изобразила тупое изумление. Зачем?
- Затем, что Петр Окунев, раздувая ноздри, раздельно выговорил Налимов, выдающийся в своём деле мастер. Художник. А вот вам это невдомёк. У вас тут в Москве все его работы похерили. Только вот этот ваш дом и сохранился. Да и то в плачевном состоянии.
- Видишь, ба! обрадовано сунулась Лиза к Таисии Андреевне. Твой гость тоже считает, что этот дом развалина и его пора сносить
- Не говорил я этого! прогремел Налимов. Я говорю, что этот дом.... Нет другого такого дома. И его надо сберечь!.
- Зачем? Зачем его беречь? Лиза повторяла вопрос Налимову как глупому. Зачем? Жуть, дремучесть и гниль вот что такое этот дом! Знаете, как его называет мой дед? А он понимает, он профессиональный архитектор. Так вот он называет этот дом чудоюдо. Мыслить надо совершенно другими формами и не цепляться за милые сердцу уродства. Тем более, если это уже разваливается. Но говори с вами, не говори бесполезно. Пошли, Матвей!

Лиза потянула спутника за рукав, и тот проворно потащился за ней в чьих-то сваливающихся шлепанцах.

Как это унизительно! И что этот приезжий может подумать? А, плевать. Нет, не плевать! Надо дать ему понять, что всё здесь вовсе не так.

Таисия Андреевна уравновесила дыхание и уставилась на приезжего любезнейшим взглядом.

– Лиза тут наговорила невесть что. На самом же деле нашей семье этот дом безмерно дорог. Всем! А «чудо-юдо» – это так, просто смешное прозвище. Надо ведь уметь и над тем, что дорого, посмеяться. Вот мои внуки и придумали....

Таисия Андреевна приостановилась. Стоп. Не все этому пермяку надо выкладывать. Что у него на уме неизвестно. А! Вот сейчас можно кое-что проверить!

 Кстати, у дома есть еще и другое прозвище. Даже скорее название. Оно указано в завещании деда. – Горт.

- Как? удивился Налимов. Грот?
- Нет. Именно Горт. Что же вы! Это же ваше пермяцкое слово.
 - А! Горт. Как же! не сдавался Налимов. Слыхал.
 - И что же это слово значит?

Налимов набычился, вроде как задумавшись, а потом отмахнулся:

- А бог его знает!
- И дом, и гроб.
- И дом, и гроб, повторил Налимов и затем обрадовано воскликнул. Так это ж наверняка выдумка Петра Окунева! Он был охоч до таких словечек.
- Мой дед и без вашего Окунева знал это пермяцкое слово.
 Много изучал ваши края и прекрасно их знал.
 - Многие изучали, толку что, проворчал Налимов.
- Может, для вас никакого, а для науки большой, назидательно выговорила Таисия Андреевна и вдруг с наигранной зловещностью добавила: Когда Арсений Петрович умер, то по завещанию его череп был похоронен в подвале этого дома.
- Череп вашего деда под этим домом? поперхнулся Налимов.
- Ничего страшного. Всё остальное на кладбище. Дед был по своему складу язычник и дом свой назвал по язычески – Горт.
 - Понятно. Горт и череп в подвале.

Досадливо хмуря брови, Налимов похлопал по столу и прошёлся по кухне, глядя себе под ноги. Скрипели расшатанные половицы. Приблизившись к Таисии Андреевне, тихо и внятно выговорил:

 Смотрите, как бы ваша внучка этот дом вместе с черепом не спалила!

Таисия Андреевна отпрянула и со стуком двинула стул.

– Да вы в своем уме! Неслыханно....

Налимов повёл головой.

– Да уж так. Простите. Само собой вырвалось. – И отошёл.

Он двинулся в обход стола и оказался около толстостенного, до потолка мебельного сооружения. Обширный, резной, сформированный в буфет деревянный массив застопорил его движение. Налимов застыл, зачарованно оглаживая сооружение взглядом.

– Хорош! – провозгласил он. – А вот вашим внукам, – Налимов живо обернулся к Таисии Андреевне, – этот... шкаф наверняка не по нутру. Уверен, они его терпеть не могут.

- С чего вы взяли? возмутилась Таисия Андреевна. В детстве они обожали в нём играть. И он в прекрасном состоянии.
- Он-то, может, и да! Налимов снова повернулся к буфету. Отлично сработан. Сразу видно Окуневская работа.
 У меня в коллекции есть ларь. Похожая резьба. Очень им дорожу. А вот вашим, Налимов крутанулся к Таисии Андреевне, такая мебель явно не по вкусу.
 - Кому здесь что по вкусу не ваше дело!
 - Не совсем...
- Нет, совсем! Знаете что, Валерий Леонидович, поезжайте! Таисия Андреевна направилась к двери. Я потом за вами запру.

Лиза нагнала Налимова, когда он спускался с террасы. За руку потянула поскорее отойти от дома и, прикрывая рот накинутым на голову шарфом, быстро прошептала:

– Не говорите никому, если что-то там заметили. – Она кивнула на кучу собранных остатков башни. – Это получилось почти случайно. Из-за бури не было света, и мы разожгли там совсем небольшой костерок. На каком-то куске железа. И в нём оказались отверстия, а мы не заметили. Оттуда пошло. Ещё и ветер из щелей. Как полыхнуло. Пришлось ломать. Я сюда больше не приеду. Но вы не тяните, действуйте. Я же вижу, что вы задумали. Так что давайте!

Она чмокнула Налимова в щеку и побежала обратно в дом.

По шаткой, в два изгиба лестнице Таисия Андреевна поднялась к себе. Бревенчатая, крутобокая клеть замкнулась закрывшейся дверью. Всё. Толстые стены наглухо окружили со всех сторон. Лишь на восточной стороне – полукруглая прорезь окна, укреплённого дубовым переплетом. Сквозь жёлтые стёкла верхнего ряда тёк на приподнятое лицо медовый свет.

Укромно тут и уютно. Ничего из происходящего за стенами комнаты не слышно. Тихо здесь, убаюкивающе. За что и любишь эту светёлку. Держишься за неё. И плачешься о ней.

Широкая тахта под потёртым персидским ковром — место силы. Ляжешь на её податливую мягкость, закроешь глаза и поплывут, поплывут картинки с холмами, деревьями и полями. Воля и волны причудливых форм и линий понесут, понесут.... A! Кто это под боком? Посмел вторгнуться и просительно приласкался. Что за котёнок?

Таисия Андреевна, не открывая глаз, выпростала руку и нащупала Ритину голову. Погладила и притянула к себе всё её тело.

– Давай поспим. Ночь была тяжёлая, – пробормотала она.

Рита прижалась макушкой в бабушкину подмышку. Запах, мятный и туманящий, младенчески одушевил лицо.

– Вот выслушает меня Феофанов, – шепчет в полусне Таисия Андреевна, – и всё прояснится. Всё ему скажу, всё выложу. Вот ему – всё открою. Он-то воспримет и отпустит.

Смолкла, мерно дыша, охватив всем своим телом Риту.

А той беспокойно. Опять этот Феофанов! Ну почему! Да ладно. Сейчас бабушкино тепло всё для нее одной, для Риты. А Феофанов – вдалеке, неощутим.

Вдруг Таисия Андреевна резко открыла в потолок глаза и рывком приподнялась. Там, в щели между досками, вызревали и падали крупные капли, одна за другой. На выпуклой коричневатости пола жабой вызрела лужа.

Таисия Андреевна опрокинулась на спину. Рита вскочила с тахты, и её шаги быстро застучали вниз по лестнице. Вернулась с пластиковым тазиком и тряпкой. Подтерла лужу и поставила тазик под срывающиеся с потолка капли.

За столом у окна в полной бодрости сидела Таисия Андреевна и что-то столбиком писала на листе бумаги. Спина прямая, голова напряжённо наклонена набок.

- Что-нибудь ещё сделать? спросила Рита.
- Вот подсчитываю, не оборачиваясь, сообщила Таисия Андреевна, – сколько у твоего деда просить на ремонт крыши.
 Подойди!

Рита приблизилась. Таисия Андреевна взяла её за руки и окинула пытливым взглядом. Не обнаружив ничего для себя необходимого, отпустила.

- Тебе надо сделать другую стрижку, произнесло она. –
 А теперь иди. Тебе разве на работу не надо?
 - Я на полдня отпросилась.
 - Зачем?
 - Ну, чтобы тут...
- Совершенно лишнее, перебила её Таисия Андреевна. –
 Работу ещё потеряешь. А ты ведь одна, содержать тебя некому.
 Так что дуй на работу.

Рита обидчиво дернулась и выскочила из комнаты.

Бег машины уносил прочь от клубящегося деревьями посёлка. Всё дальше от скособоченного запутанного дома со снесённой башней.

Непринуждённо и твёрдо держит руль Матвей. Спокойно смотрит вперёд на расширяющуюся под колёсами магистраль. Точно знает, куда двигаться. Сейчас в офис на юговосток. Там своя отлаженная реальность, отличная от того, что делается вокруг. Обеспечено ясностью цели и креативностью сотрудников. Хоть всех их можно пересчитать по пальцам, но когда сложатся в кулак, то могут вдарить, куда надо, по полной. Так что дела идут, скажем так, очень неплохо. Но вперёд с доходами не прём, масштабами особо не выделяемся, тем самым не шибко раздражаем других. Так тихой сапой подобрались к глобальному проекту. Это будет настоящий хит! Такое заколбасим! «ССР»! — Создай Свою Реальность. И будет эта игра круче и подвластней, чем всё, что за пределами «ССР».

Матвей чуть двинул губами в улыбке и оглянулся на сидевших сзади Лизу и Риту.

- О'кей, Рита, и как тебе наш проект «ССР»? Впечатляет?
- Да. Замахнулись.
- Не вижу энтузиазма. Лиза, ты что-то слабо рекрутируешь сотрудницу.
- Я что на пальцах должна объяснять? Приедем, всё ей покажу.
- Можно и на словах, пока едем, уперев взгляд в дорогу, продолжил Матвей. В этой игре, Рита, главное её вариативность. Закладываются модули миров на любой вкус. Хочешь воюй супероружием. Хочешь живи мирно на природе с рыбалкой и охотой. Хочешь строй город или целую планету, а то просто счастливую семью Что хочешь! Всё можешь! Сотни вариантов. И фишка в том, что каждый модуль совместим с другим война с рыбалкой, счастливая семья с жизнью чудовищ. Число создаваемых по воле игрока реальностей пропасть!
- А не слишком ли сложно для пользователя? робко усомнилась Рита. В основном ведь предпочитают что попроще.
- Ого! Матвей резко оглянулся. Какой тут вдруг маркетолог объявился. Нет! Операционная система будет работать очень просто. Делать выбор элементарно и быстро. Мы над этим пять лет работаем.
- Но на такой проект нужны огромные деньги, сопротивлялась Рита.

- Об этом не волнуйся уверенно откликнулась Лиза. В наш проект собирается вложиться крупная трансконтинентальная компания Интергейм.
 - Вложатся! убежденно сообщил Матвей.
- И зарплата у тебя будет в разы больше, чем в твоём институте, заверила Лиза. Я показала нашим, какой отличный сайт для своего института ты сделала. И сколько они тебе заплатили?
 - Это входило в мои обязанности.
- Рита, Рита! Лиза притянула её к себе. Какая же ты! Это бабка наша тебя так затюкала. Она это умеет делать. А ведь ты талант. Умница. Нам такие нужны. Сосредоточенные и с воображением. Никого не слушай! Только меня. И у тебя всё получится.

Лиза легонько нажала ладонью на Ритин затылок, и Ритина голова легла на Лизину грудь. То мгновение, что Рита оставалась в таком положении, всё решило.

 Я хочу быть в вашей команде, – придушенно призналась Рита.

Поцеловав в макушку, Лиза оттолкнула Риту от себя. Но вобранного от Лизы тепла вполне хватило, чтобы доехать до офиса в приподнятом настроении, и Рита прошла с радостно распахнутыми глазами вслед за Лизой и Матвеем через двустворчатую дверь и увидела длинную, похожую на спортивный зал, комнату.

Вся она была разделена перегородками на закутки. Глаза разбегались от разнообразия их наполнявшего. В одном – разбросанные по полу и полкам разноцветные мягкие игрушки. В другом – чёрно-стальной тренажёр и диван. В следующем – зелень комнатных растений на этажерках. А вот – широкая тахта под пёстрым, расстилающимся и по полу ковром. Такой разнобой ошеломлял своей вольностью.

Единственное, что сближало все эти закутки – компьютерное оборудование на полках, на полу, на столиках – повсюду на своих местах.

Лиза с Матвеем ушли в угловой закуток, отгороженный матовыми стеклянными перегородками. И там загудел разговор. Остальной люд в зале занимался каждый своим делом. Большинство работало за компьютерами. Двое бездельничали: один задумчиво бренчал на гитаре за своим хайтековским столом, другой лежал на тахте, уставившись в потолок.

– Рита! – позвали из-за матовой перегородки.

 Давай твой электронный адрес, – попросил Матвей, когда Рита зашла в стеклянную секцию.

На неё, оторвавшись от клавиатуры, вскинул холодно внимательный взгляд аккуратный, подтянутый юноша.

– Мы сделаем так, – сказал он. – Сначала будете работать из дома. Мы перешлём вам один заказ нашего постоянного клиента. Надо обновить его сайт. Сделайте так, чтобы мы его не потеряли. А потом посмотрим. Думаю, вы уже понимаете, кто и как у нас тут работает.

Риту отпустили. Она миновала на непривычно пружинящих ногах мозаичный, в перегородках, зал, слыша удары мяча, пшыканье водяных струй, треньканье гитары. Закрыв за собой дверь в этот упорядоченный клетками разнобой, донесла до дома звенящую в голове, радостную пустоту. Долго сидела, молча поджав ноги на диване, не замечая хмурые взгляды бабы Ани. Ну да, могла бы эта внучка хоть слово сказать! Всётаки шесть лет как после гибели своего отца живёт здесь на всём готовом.

Когда бабкины шумы стихли, Риту охватило тряское возбуждение. А что если и правда произошёл счастливый перелом? И пришла нечаянная радость. Попала, наконец, в компанию замечательных людей, где её оценят и полюбят.

Рита кинулась к компьютеру. Лихорадочно открыла присланные для новой работы материалы. И охолонулась. Сникла. С этими скучнейшими текстами и фотографиями надо работать? В этом себя показать? Можно, конечно, что-то накрутить, напридумывать, но всё равно будет провально скучно. Ага, понятно! Они там для себя оставили самое выгодное: будут делать крутую игру «ССР», а на неё хотят свалить обрыдлую им самим работу. И никогда в свою главную игру не пустят. Теперь ясно: вся эта Лизина ласковость была лишь для того, чтобы впрячь в осточертевшую им самим работу. Нет, лучше остаться на прежнем месте, в своем институте. Там уж точно со всеми на равных и даже чуть впереди некоторых. Завтра же от этого заказа откажусь. Пусть сами с ним возятся.

Рита жёстко улыбнулась и выключила компьютер. Сомкнула веки. Застыла. Жалко поморщилась, судорожно сглотнула и пустила слезу. Ну вот, теперь горючая тоска совсем поглотит. Но тут молодое Ритино тело счастливо вспомнило..., нет, не то, что произошло в заброшенном парке — то не могло сейчас освободить от обиды и ревности. Ритиному телу причудилась пещера открывшего ей объятья бабушкиного тела на постели в

комнате старого дома. Было в этой пещере укромно и безопасно. Была в ней ласковость и милость.

Была, была да сплыла. Как потом бабуля оттолкнула! Да это всегда так. Только кто-нибудь пригреет, как тотчас обдаст холодом. Это уже привычно, так что можно уже свыкнуться. Хорошее не длится дольше мимолетности. Свою отдельную греющую тебя реальность можно, конечно, создавать при усилиях воображения и упрямства — мыльные пузыри желаемого, такие радужные, весёлые, игручие — лопающиеся при первом прикосновении. Дурь такая есть.

Рита подошла к тёмному незанавешенному окну. С четвёртого этажа в оба конца улица просматривается недолгим клочковатым тоннелем в густых деревьях и слабом свете уличных фонарей. От мутной этой картинки на глаза начала наползать пелена сонливости. Накрыла с головой. И всё коловшее, раздражавшее днём провалилось без памяти в темноту. И в поселении наукограда прибавилось ещё одно застывшее во сне тело.

Поворот этой спящей стороной к солнцу, и вот оно снова будоражит, подстёгивает — давай! давай! Двигай ногами, руками, головой! Делай то, пятое, десятое. Живей, живей! А вращение своим чередом продолжается. И вот солнечного света, слава богу, убыль. И назойливая его требовательность стихает.

Небо светилось фиолетовым остатком солнечных лучей, когда двое, не торопясь, вошли через калитку в сад. Вровень рыжеватая и темно-русая головы. Несколько шагов рядком, и вдруг на лицах оторопь. Фиалковый фон неба прорезал изуродованный силуэт дома. Не сразу поймёшь, в чём дело. А! Обезбашен дом! Нет на нём башни. Нет вдохновенно упиравшегося в небо шпиля. Первым к дому бросился русоголовый.

- Мама, что случалось?
- Инна вытирала на кухне руки.
- А, Илья! Буря, ответила. Весь дом трясло. Вот башня и рухнула. Отцовские мандалы разлетелись и, видимо, погибли. И чем же он станет теперь прикрывать бездны у своих пациентов! кривовато озаботилась Инна Иннокентьевна.
 - А как Сазоновский архив? Цел? Он ведь был там.
 - Никаких бумаг, кроме отцовских мандал, там не было.
 - А где бабушка? Она должна точно знать.
- Таисия Андреевна? Ищет, кого нанять для ремонта крыши. А ты что только ради архива приехал? На Сазоновский юбилей не смог, неделями тебя не видно, а сегодня только по делу? Инна Иннокентьевна улыбчиво хмыкнула.

- Мы тут с Олегом пробудем до завтра. Илья потянул друга за собой внутрь кухни. Садись! И нажал на его плечо. Нам надо чего-нибудь поесть.
- А тебя, Олег, обратилась к нему Инна, что тут интересует?
- Олег хочет кое-что тут поснимать, пояснил за него Илья. – Тут на доме полно солярных знаков.
- А! Ну да, отец твой что-то такое говорил про твоё увлечение. Только дом от этих солярных знаков крепче не становится. Может, какой-нибудь ритуал надо провести? Может, подскажешь, Олег?

Олег кинул отчаянный взгляд на Илью. Тот несколько раз мелко махнул рукой, мол, не обращай внимания, и сел за стол.

- Мама, а ты можешь нас просто покормить?
- Отчего же не могу! Инна оправила на себе фартук. Я ведь тут как раз для этого! Она распахнула дверцу холодильника и начала широким жестом доставать оттуда еду и ставить на стол. А у меня завтра, между прочим, в галерее открытие выставки. Может, придёте? Вдруг, Игорь, сподобишься в нашу районку статейку написать?
 - Мама! взмолился Илья.
- Молчу, молчу. Разве о таких мелочах ты станешь писать.
 Вот Арсений Петрович Сазонов другое дело, да?
- Мама! Ты опять? яростно взмолился Илья. Дай отдохнуть! Пошли, Олег, ко мне, Он приобнял друга и потянул на выход. Потом поедим.
- Ужин оставлю на столе! вдогонку им крикнула Инна Иннокентьевна. Ключи увезу. Завтра Таисия Андреевна за вами закроет.

Инна досадливо отбросила кухонное полотенце. Совсем не так и не о том хотела повести разговор с сыном. Но – не получилось. С другом приехал. Теперь только с кем-то вместе появляется. Сазоновский архив ему понадобился! А для матери даже заметку не хочет написать, сыночек!

Три полутёмных пролёта лестницы, и вот – еле видная дверь в светёлку под самой крышей. Над уютной этой комнаткой крыша снаружи поднимается узким конусом, образуя над фасадом дома вместе с тремя такими же зубцами подобие спины дракона. Или ящера. Голова его – корончатый верх водосточной трубы. Тяжёлый хвост – витой столб на другом углу дома. Вот такая страшащая магия снаружи, а внутри под одним из зуб-

цов – тёмно-золотистое, узкое пространство, отданное старшему внуку дома, редко им посещаемое.

В закрытую дверь настойчиво поскребли чьи-то когти. Илья вскочил с тахты и впустил зверя.

Ош, Ош, хороший пёс! Четырёхглазый. Бабушкин любимец. Всё чует жёлтыми шерстинками, помечавшими надбровные дуги.

Пёс по-хозяйски вошёл, обнюхал ноги Олега, свешивающиеся с подлокотника кресла, и улёгся подле тахты, где сидел Илья. Знает своё дело. Сейчас ему надо быть свидетелем того, что происходит в долго пустовавшей светёлке. В ней — золотисто-коричневое преломление света, как и во всей внутренности дома, под стать окрасу пса.

- Что за имя Ош? Из глубины кресла Олег с любопытством вглядывался в пса, застывшего в привычной для него позе сфинкса.
- Здесь всех собак звали Ошом. Бабушка говорит: так принято с самого начала, со времён прадеда Арсения Петровича. Сколько уже этих Ошей в саду закопано! На моей памяти штуки три. И вот очередной Ош! Игорь почесал пса между ушей. Тот принял ласку, не шелохнувшись. Думаю, это имя какогонибудь пермяцкого божка или колдуна. Прадед был из пермяков и, похоже, остался язычником.
- Наш человек был, одобрительно хмыкнул Олег и окинул взглядом подёрнутую желтоватой дымкой комнату. Предметы в ней были не существенны. Основным, довлеющим в ней была красноватого оттенка древесина стен. Хорошо у тебя тут. Я бы только здесь и жил. В сад по утрам свободно босиком! Зарядишься, и можно в каменные джунгли.
- Далеко до города, откликнулся Илья. Электричкой неудобно, а на машине пробки. Да и сам дом тяжёлый, то там, то тут что-нибудь разваливается. Теперь вот отцовскую башню снесло. Нет, по мне лучше в городской многоэтажке. Забот меньше. Голове свободнее. А телу? Можно в парке побегать. И не надо босиком. Олег, зачем тебе обязательно босиком? Да ещё в какую рань! Дурость это.

Меряются взглядами. Похожи возрастом, ростом, по-мальчишески стройным сложением, только один – рыжеволос, другой тёмно-рус.

Почему обязательно босиком, спрашиваешь? Потому что... Это надо чувствовать.

– И ты, конечно, чувствуешь! Тебе, считаешь, дано. А я, потвоему, ущербный? Нет, это ты, знаешь ли, чокнутый. Да, ладно, в целом ты – нормальный, но... Нет, интересно, что это у вас за восприятие такое? Ведь не притворяетесь же, когда к солнцу руки тянете. Как вы это делаете?

Илья с насмешливой ломкостью поднялся на ноги, выпрямился, вытянул над головой руки и замер. Ош, задрав морду, внимательно смотрел на его сомкнуто направленные вверх пальцы и что-то проурчал.

Смотреть на так стоящего Илью – смущающая радость. Под тонкой футболкой выпукло и мерно, обрисовывая мышцы, вздымается и опадает грудная клетка. И весь он такой, как надо, – сосредоточенный, устремлённый, открытый идущим к нему токам. Схватить его верным жестом вскинутую руку, горячо сжать, припасть к пружинисто вытянутому телу и стать с ним слитно за одно. Но ведь – притворяется он сейчас, пересмешничает. Оттолкнёт. Отвергнет.

Олег опустил глаза.

– Можешь сколько угодно ёрничать, – глухо произнёс он, – всё равно – очевидная сверхсила для нас – это солнце. Никакими издёвками этот факт не замажешь. И сам ты это тоже знаешь, но нет у тебя потребности это своё знание проявлять.

Олег поднял глаза на Илью, взгляд его был отчуждённым.

- А где мне на ночь можно будет лечь?
- Кресло раскладывается. Но могу я на нём спать, а ты здесь, на тахте. Пойду посмотрю, не вернулась ли бабушка. А ты пока посиди здесь, ладно? Ош, пошли!

Ош уже сидел около двери, выжидательно навострив уши. Как только дверь открылась, со сдержанным повизгиванием, он ринулся вниз.

Таисия Андреевна была уже дома. Вернулась, но не из поисков работяг для починки крыши, а из похода к Феофанову.

Движение к нему началось внезапно, с крутого разворота от входа на соседский участок, где работали таджики. Оттуда пошёл сбивчивый, порывистый шаг в обратном направлении. Мимо обезбашенного дома напрямую к станции. Скулы и лоб Таисии Андреевны покрывали горячечные пятна. Видно, в голове стучало: не стану, не буду, не хочу. Пусть валится дом к чертям собачьим. Чудо-юду конец. А череп деда пора в могилу, под крест. А то и там, и сям лежит. Не выйдет! Либо – крест над тобой, либо заковыристый дом – вот так, дед!

Перед носом – окошко кассы. Сигнал в голове – билет. И бросила в низкое отверстие – «До Мытищ». Теперь уже сидит, стиснутая справа и слева, на скамейке, уставя невидящий взгляд на дверь вагона.

Дом деда ветхий стал, умирающий. Так что надежней череп его – под крест. А дом лучше продать, пока он совсем не развалился. Или разобрать и поставить новый? А я тогда куда? А? Что скажите, Иван Феофанов? Куда мне? А он на это скажет: «Надо держаться». А я ему на это: «Зачем?» В нашем доме столько всего наворочено, всяких лесенок, закутков, шпилей и шатров! Как всё это держать в порядке? А он мне скажет: «Помогут». Но я: «Кто?». Каждый ведь своё хочет, своё застолбить на этом месте.

От этого стучания в голове Таисия Андреевна прозевала Мытищи, где пересадка на ветку к Феофанову. Поезд теперь, как назло, нёсся без остановок до Москвы.

Мерно покачивается поезд, отстукивают колёса свой ритм, и ритм этот глушит, гасит волны воплей внутри Таисии Андреевны. Смотрит она в окно, как всё дальше и дальше уносит поезд от места пересадки. Поддавшись ритму движения, покачивается Таисия Андреевна, расслабленно задрёмывает.

Когда поезд дошёл до конца своего пути, Таисия Андреевна выбралась из вагона, пошатываясь, слегка пришибленная. Теперь уже не пуститься снова в путь к Феофанову. Иссяк заряд. Промямлить своё недовольство, свои обиды без всякого воодушевления — бессмысленно. Ведь с Феофановым так — баш на баш: сколько энергии в слова к нему вложишь, столько и в ответ будет. Оттого, наверное, он ещё держится, и способность собеседовать у него не иссякла.

Площадь трёх вокзалов шумела затверженными звуками. Гул не иссякающего по ней движения включал в деловой настрой. А каким делом заняться, только выбравшись из пришибленности движением поезда? Тем, что первым подвернётся под руку. У Таисии Андреевны перед глазами – торговый центр. Вот и надо пойти туда и что-нибудь купить. Ну да – на голову в преддверии зимы.

Илья застал Таисию Андреевну на кухне. Она рассматривала отороченную мехом шляпу. Увидев Илью, надела её на себя с вопросом: «Ну как?».

- Ба, ты где была? вопрос внука.
- Ош, Ош! Таисия Андреевна согнула туго поддающуюся поясницу и потрепала по загривку усевшегося у её ног пса. – Вот

он всё знает. Всё чует. Недаром – четырёхглазый. У вас таких не будет!

Не будет, так не будет. Если надо, другой появится. Не это важно

- Ты что за шляпой ходила? А как же крыша?
- Не знаю. Как-нибудь.
- Ба, ты что? Дом и так еле держится. А с дырявой крышей так вообше....
 - Вот ты пойди завтра и найди, кого нанять.
- Я? поразился Илья. Нет, я не могу. Мне в Москву надо по делам.
 - Ну и ладно тогда. Пусть идёт, как идёт.

Таисия Андреевна, что-то насвистывая, сняла шляпу и сунула её в пакет. Помахивая им, двинулась к двери, поводя при этом седой своей головой так, будто слыша какую-то игривую мелодию.

Что это с бабкой? Слегка свихнулась? Этаким мотыльком вознамерилась крылышками над всем – плях-плях! Ничего, сейчас обратно, на землю!

– Если дом развалится, не с дедом же на квартире станешь жить? – вперил Илья вопрос в свою бабулю. – Да и Лиза теперь с ним там живёт, вместо тебя хозяйничает. Дед доволен. Думаешь, уживёшься с ними?

Пакет из рук Таисии Андреевны шлепнулся на стул у двери.

– Буду здесь, – с вызывающей насмешливостью провозгласила она, – вместе с домом разваливаться. Век свой доживать. Ни лечиться не буду, ни дом чинить. Пусть идёт, как идёт. А ты, вообще, что вдруг приехал?

Про свой личный интерес не стоит сейчас говорить. Об этом потом. Сейчас лучше про Олега:

- Вот привез друга дом поснимать. Фотографии ему нужны для музея Солнца.
- Для музея, удовлетворённо, куда-то вдаль произнесла Таисия Андреевна.

И вдруг наскоком удивилась:

- Какой еще музей Солнца? Откуда?
- Откуда я знаю откуда! огрызнулся Илья. И добавил уже другим, небрежным тоном: Да так, один чудак в Новосибирске устроил. Вот наш солнцепоклонник и решил свой вклад в этот музей сделать снимки каких-то солярных знаков на нашем доме.
- Солярных знаков? А! Ну да. На окнах. А ты и не замечал! Волнистые полукружья, лучи с завитками на концах, а на баш-

не перекрещиваются. Вернее, перекрещивались, теперь их нет. Так что Олег опоздал. Ну пусть хоть, что есть, снимет.

И тут Илья вдруг задиристо выпалил:

- А мне нужен Сазоновский архив!
- Ага! Сазоновский! протрубила Таисия Андреевна. Опомнился! Дошло, наконец! Понадобился Арсений Петрович! Давно пора о нём писать.
- Да не о нём! досадливо тявкнул Илья. Тут другая история. В редакции новый проект запускают. Что-то вроде -«Широка страна моя родная, много в ней всяких непонятных народностей». Шучу. На самом деле девиз проекта – «Сила в многообразии». Вот такой идеализм-идиотизм. К тому же мне как практиканту в паре с самым занудным их сотрудником дали наименее выигрышное – территории Предуралья. Это ж тебе не Кавказ. И не Казань. Всякие там мордва, коми, ещё, по-моему, марийцы. Одним словом – этнографический заповедник. Как тут себя проявить? Да и в голове у меня стопорится на одном: не может быть сила в многообразии. Сила – это единая воля, а многообразие - это разнобой. И никакими призывами разнобой силой не сделать. Так ведь, ба? Ладно, не заморачивайся. Сам знаю, что надо писать: про дружбу малых и больших. Вот я и подумал: не найдётся ли в Сазоновском архиве что-то для этого подходящее. Арсений Петрович ведь и сам был из малых, из пермяков, а выбился среди больших в известного ученого и как раз исследовал северные народы Предуралья. Подлажу его идеи под настоящее, наскребу какую-нибудь конкретику и вперёд! Как думаешь, ба, есть у твоего деда, что позаимствовать для такого дела?

Позаимствовать! А юбилей деда проигнорировал. Но вот Арсений Петрович для дела понадобился, так давай бабка его архив! Впрочем, что тут говорить! Здоровый прагматизм.

После полуночи быстрым и цепким наскоком Илья разворошил чемоданный архив Сазонова и вышел из кладовки с обветшальми экземплярами «Этнографического обозрения» за 1903 год, «Охраны природы» за 1928 и тремя картонными папками. К себе не пошёл: разложенное для Олега кресло перекрывало доступ к столу. Расположился в столовой. При рассеянном свете люстры принялся выуживать из нечётко различимых строк то, что соответствует редакционному заданию. Начал складываться вполне подходящий образ российских угро-финов на северных территориях пока ещё никуда не девшейся империи. Уравновешенные, работящие, верят в силы природы и поклоня-

ются предкам. Чем укрепляют общую массу населения страны. Вполне подходящий тип для девиза «Сила в многообразии».

Остаётся только подобрать какую-нибудь конкретику. Конечно, неделя командировки – смешной срок. Придётся в темпе самому организовывать нужные события. Может, какого-нибудь старика-пермяка подыскать, чтоб он провёл со школьниками экскурсию на природу, и подсказать ему, чтобы он поведал подрастающему поколению о древних знаниях трав, и вообще об экологии, сделал упор на заветный запрет дрязг и распрей, они, мол, портят урожай. Можно еще про очистительную силу леса. Про ремёсла? Нет, про ремёсла уже надоело. Надо попробовать уговорить какого-нибудь нефтяника обещать дать деньги на издание книг на местном языке и устроить встречу в библиотеке. Да, было бы неплохо. А вот ещё что! Наверняка среди местной администрации найдётся заядлый охотник. Обработаем его так, чтобы он вспомнил, как ему помогал осваивать местные леса какой-нибудь их Дерсу Узала. В общем, ясно, чем заняться в командировке. Дадим читателю картинку того, как можно обогащаться опытом и знаниями туземных народностей. Отставим за скобками никуда не девшуюся мысль: если хочется процветать на занятой территории, как, к примеру, англосаксы в Америке, надо иметь силы подмять под себя туземную жизнь, иначе она сама тебя разъест. От этой мысли Сазоновский архив не избавил, хотя, надо признать, написано там всё очень красиво.

Журналы и папки Илья собрал в стопку, и они отправились обратно в кладовку. Спать не хотелось. Разбередило прочитанное у Арсения Петровича. Что в таком случае надо делать? Правильно! На кухню! Там чайник, закипая, мерно и уютно замурлычит, а в холодильнике есть чем поживиться.

Ещё там оказалась Таисия Андреевна. Поставленный ею чайник уже вскипел, и в кружке парился пакетик с ромашкой. Таисия Андреевна, молча, подтолкнула коробочку с лекарственным чаем к вставшему у стола Илье.

Илья держал спину в суровой выпрямленности и, твёрдо глядя на бабку, произнёс:

– Просмотрел Сазоновский архив, и странно стало: как это Арсения Петровича за его угро-финскую агитку тогда не посадили. Уж так он превозносит зырян и пермяков! Такие они у него самостоятельные и развитые, что сомнения возникают, есть ли у них желание жить вместе с пришлыми русскими. И как это Арсений Петрович не пострадал за такие взгляды!

Таисия Андреевна побарабанила пальцами по столу и, вскинув взгляд на внука, вдавила в него:

- Мало ты знаешь! Поинтересовался бы прежде, где был Арсений Петрович, когда открыли угро-финское дело. В Средней Азии был! Уже несколько лет, как в экспедициях там работал. И вернулся, когда это дело было уже закончено.
- Понятно. В Кара-Кумах отсиделся. А к тамошним туземцам особой привязанности не питал. Вот и уцелел.

Илья отошёл к шкафу и, достав пакетик чёрного чая, залил его в кружке водой из вскипячённого бабкой чайника. Таисия Андреевна ловила его движения. Ничего ожидаемого не уловив, с нажимом объявила:

- Хочу этот дом продать.

Сделала паузу. В ответ – молчание. Тогда добавила:

- Уже покупатель есть.
- И кто это?
- Приехал из Перми. Налимов. Очень заинтересовался этим домом. Родственник его строил. Там, у них знаменитый мастер, художник по дереву. Вот так. Наш дом его произведение, и Налимов хочет его купить и в него перебраться. Сюда, под Москву.
- Ха! И семью, небось, перетащит. А семья большая. Пермяки на Москву пойдут. А этот чудо-юдо дом будет им как опорный пункт. Смешно. Ба, честное слово, не надо этого делать.

Илья зевнул и, взяв кружку, направился из кухни.

 Он, по крайней мере, дом приведёт а порядок! – пихнула ему в спину Таисия Андреевна.

Илья шутовски покачнулся.

- Уверена?
- У него в Перми строительный бизнес.
- Ну тогда он точно твой дом снесет.
- Этот дом он не снесет. Он его отреставрирует.

Илья вдруг резко развернулся и скользящим движением подлетел к Таисии Андреевне, обнял и поцеловал в макушку. Пожелал ей спокойной ночи и ещё – не продавать свой дом пермяку.

Перебраться в Москву? Есть такая идея у Налимова. Потому-то он и оказался предшествовавшим этой ночи днём в Деловом Центре. Вступил, чуть волнуясь, на территорию собравшихся в могучую кучку небоскребов. Их зубья вытолкнуты из гранита набережной, оскалены в небо. В стеклянных их сте-

нах преломляется голубизна и облачность того, что над ними. А внутри большие и помельче прорывают себе ходы в дебрях делового мира. Продумано, с оглядкой, а то – блефуя или же очертя голову.

Да, пыжится Москва, пыжится, вздохнул Налимов, как бы ей не лопнуть. Вот и надо успеть ухватить у неё кое-что и для себя. Но куда как привычнее, сподручнее вести дела в надежно сработанном, бревенчатом, в два этажа офисе на берегу Камы. Но что поделаешь — в Москву, чёрт бы её драл, все нити стянуты. Вот и надо хотя бы одну ниточку в свои руки заполучить.

Налимов еще раз набрал номер того, с кем была договорённость о встрече в три. Было уже без четверти четыре. И опять отказ в связи. Телефон то ли отключён, то ли вне зоны.... А, какая разница! Ежу понятно: отказывает земляк в связи. Видимо, чего-то испугался. Может, предвидел просьбу. Так ведь не с пустыми руками к нему! Да Аллах с ним! Налимов криво усмехнулся и поправил ремень сумки на плече. Мотнулся и, приподняв голову, отплыл от места своей стоянки. По лицу заскользил просторный речной ветер, похожий на тот, что веет меж болотистолесистых берегов. Ничего, обойдёмся. Сын, дай бог, прорвётся в Китай. Как намеревается. Туда расширим дело. Прав был сынок, с Москвой не заладится. Но тут есть ещё и другое дело, бросать его нельзя. Погибнет ведь тут Петра Окунева работа, если Сазоновский дом не взять в свои руки. Завтра же надо напрямую поговорить с этой дамочкой, Таисией Андреевной.

Налимов мотнулся снова, и тут его глаза упёрлись в стену, всю в зарослях деревьев и кустарников. Лес. На панелях метров под двадцать. Ага! И тут не смогли обойтись без леса. Хоть и нарисованный, но понадобился. Какой-то хитрой техникой нанесён. Оживляет ландшафт, а то во все стороны — асфальт, бетон да стекло. Хорошая техника. Дорогущая, небось, а, может, и нет. Но нам такая не нужна. У нас и без того вокруг полно леса. Незачем его изображать. Нет, нам подавай что-нибудь этакое, чудесное. Уж если изображать, то как-нибудь по-особому, узорчато. Вот Пётр Окунев как раз был на это мастер. Такую ведь хитрую в Бугрове конструкцию соорудил. И вот начала она разваливаться. Башню снесло. А ведь была эта башня, как холм причудливый, среди ветвистых карнизов. Заберу этот дом, точно заберу. Не по Сеньке шапка этому семейству Окуневский дом.

Налимов нырнул в проход через панельный лес внутрь торгового центра, чуя, что там можно утолить подступивший голод.

В пещерном лабиринте светящихся витрин броском завернул в первую попавшуюся нишу со столиками и баром. Вот в меню – пирожки. Давайте три с мясом. И еще какой-нибудь супчик. Официантка кивнула и оставила Налимова ждать за столиком.

Налимов скользнул взглядом по гладким поверхностям заведения. На его скуластом узком лице оценивающе сузились прорези глаз. Ну, таких забегаловок теперь всюду пруд пруди, где ни окажись. Налимов стал отключено ждать еду, как вдруг бесцельно блуждавший его взгляд зацепил нечто, лично его касавшееся. Ну да! Вчера на юбилее Арсения Сазонова видел. Примечательная женщина, с вызовом. Сухопаро широкая. Моложавая. Сквозь складчатый балахон проступают пирамидки грудей, а из выреза — нежным столбиком шея. Вроде родственница какая-то Таисии Андреевне, в доме её, похоже, своя. Надо бы с ней.... Как её? Вроде бы — Фаина. А может, не она это?

Тут женщина оглянулась. Острым взором Налимова не смутилась. Приветственно махнула рукой и поплыла твёрдым шагов к его столику, в руках – большая чашка кофе и тарелка с пирожным.

Всматриваясь друг в друга, оба эти персонажа одинаково возбуждённо восклицали: «Вот так встреча!», «Надо же!», «Как это вы тут!». Сталкивались фразами, и тогда влажной дробью сыпались смешки. Несло их друг к другу встречными волнами, сцеплялись взглядами и тёплым тоном незначащего разговора. И тут Фаине вздумалось признаться:

- Знаете, а ведь в Перми похоронен мой прадед.
- Вот это здорово! радостно отозвался на это Налимов, ещё не зная, до чего это признание доведёт. С грубоватой покровительственностью добавил: А вы сами, небось, у нас в Перми не бывали. А надо бы! Давайте! Могу всё отлично для вас устроить. Всё в лучшем виде будет!

Дрогнув губами, Фаина откинулась на спинку стула и окинула Налимова отчуждённым взглядом. Ага! Хочет меня заполучить. Ну уж нет. В его пермяцкие руки – ни за что!

– Нет, не хочу в вашу Пермь. Моего прадеда туда из Кракова с семьёй сослали. В холод и грязь. Сама я добровольно в такую глухомань не поеду.

К лицу Налимова мощным толчком прилила кровь.

 – А у вас тут что творится! До чего довели замечательный дом нашего мастера! Разруха!

- Я не из Москвы! змеисто усмехнулась Фаина. Я из Питера. Что тут делается, меня не касается. И вообще я скоро уеду в Краков.
 - Ну и езжайте! вспыльчиво воскликнул Налимов.
 - Конечно, поеду. В вашей Перми мёрзнуть не стану.
- Мёрзнуть! возмутился Налимов. Да у нас четыре месяца в году один плюс. А сейчас стало и того больше. Жара стоит. Притом воды кругом много. Красота! Как в Италии.
 - Ну уж! Как в Италии! Тоже скажите!
- Ну и скажу! А вообще нам и не за чем на Италию равняться. Мы сами по себе вполне себе...

Поискав глазами официантку, Налимов подал ей знак подойти.

Фаина вытянула из-за стола своё сухое широкое тело. Вежливый кивок Налимову и отбыла. Расплачиваться ей не надо было. За всё она уже заплатила.

Стеклянная дверь была открыта в расцвеченный витринами лабиринт. Фаина на её пороге оглянулась. Налимов убирал бумажник в карман. Ха! Вид у него понурый. Вскинул Налимов взгляд на Фаину. Хе! На лице этой вздорной якобы полячки никакой радости нет. В упор встретились глазами. Слабой вспышкой сожаление, у Фаины – прозрачно карее, как воды Финского залива, у Налимова — серовато-голубое, как низкое небо над Камой. Резко друг от друга отвернулись.

И вот теперь уже движутся по Москве, Фаина в одном направлении, Налимов – в другом. И расстояние между ними всё увеличивается. А как же бывшее между ними притяжение? Было да сплыло. Разошлись. И всё? Ну, хорошо, пусть будет так: когда-нибудь со смутной остротой вдруг вспомнится трепет этого притяжения, и, может, последует какой-нибудь тяжкий вздох.

Тьма октябрьской ночи сгустилась над Москвой. Единой пеленой накрывает и стоящий в отдалении от Москвы дом с рухнувшей башней. Внутри него Илья уже укутывается одеялом в своей постели, Олег ворочается с подогнутыми ногами на разложенном кресле.

А в питерском поезде Фаина туманно смотрит на мелькающие за окном огни.

А в московской гостинице, у себя в номере, Налимов сдержанно млеет под плотным потоком воды из душа.

Когда и в поезде, и в гостинице улеглись спать, Илья вдруг из своей постели выскакивает и – обратно в кладовку. Там вытаскивает из чемодана три толстые папки и альбом с фотографиями Сазоновских экспедиций, относит к себе и укладывает в объёмистую дорожную сумку, куда засовывает и свой планшет.

На следующий день это громоздкое сумище не даст Олегу, бросившему Илье гневно: «Останови!», выскочить из машины справа на тротуар. Из-за неё, загородившей правую дверцу, Олег ринется наружу слева, на проезжую часть, и будет сбит выехавшим из-за поворота фургоном.

Что же ты так себя подставил, сынок? Отчего, не глядя, выскочил из машины своего друга на дорогу? Не отвечает Олег. Отключился от внешних контактов. В коме. Внутри себя пытается восстановиться после травм. Лицо обескровлено бледное. Отросшая за три дня щетина крапинками затеняет впалые щеки.

Вадим поправил повязку на голове сына. Из-под неё подетски трогательно выпростаны тонкими зубцами пряди волос. Вадим снова послушал его сердце, приподнял веки, сжал вытянутую вдоль тела руку и сел на стул. Будет ждать, когда придёт невропатолог.

Самого Вадима дожидается у запертой двери его кабинета друг Игорь. Зачем пришёл в больницу? Точно, не повидать пострадавшего. И нечего тут говорить о долге это сделать! Ни перед собой, ни перед Олегом такого долга нет! И вряд ли есть выше. Незачем допытываться, что толкнуло Олега выскочить, не глядя, из машины Ильи. У Олега вообще явно не всё в порядке с его... нет, об этом не стоит говорить, тем более его отцу. Тот и без того невысокого мнения о своём сыне. Солнцепоклонник! Тоже мне, студент МГУ, нашёл, во что играть. Не мог подобрать что-нибудь более продвинутое? А то какие-то языческие пляски-хороводы. Нужна защита от открывшейся бессмыслицы? Пришёл бы в нашу консультацию, помогли бы и, прежде всего, обрести устойчивый иммунитет к неразрешимым вопросам и веру в ценность своей уникальной личности. Эту установку в нашей консультации довольно результативно вырабатывают. Красочности бытия не хватает? Надо рисовать многоцветные мандалы и перед ними медитировать. Нет, не понятно, что сына Илью так сильно к Олегу привязывает. Привычка с детства быть вместе? Нет, она одна не могла бы так долго длить их дружбу. Сын-то мой – весьма рациональный человек, психика железобетонная. Не замечал, чтобы что-то могло его глубоко задеть. А вот Олег - тот колышется от любого острого воздействия. Бедняга, так не повезло. Ну ничего, под присмотром отца выкарабкается. Незачем его сейчас видеть. А вот Вадима надо

дождаться. Пусть разговор с ним по телефону не пошёл, а вот с глазу на глаз наверняка получится. Нельзя же, в самом деле, из-за случившегося рвать отношения. К тому же Вадим первоклассный хирург.

В голом, бледно-голубом пространстве коридора язвяще очерчена знакомая фигура, ждущая у двери кабинета. Вадим сделал движение, чтобы повернуть назад, прочь от ожидавшего его Игоря, но тот начал неотвратимо приближаться. В висках отдавались стучащие по полу шаги. Нацелено улыбаясь, Игорь смотрел прямо в лицо. Встречи не избежать. Придётся выслушать. Но в ответ ссохшиеся губы не разлепятся, глотка окаменела. Пусть Игорь говорит сам, что хочет. Наперёд известно что, вина за происшедшее только на самом Олеге. Илья тут ни при чем. Ну пусть так, неважно. Из комы вывести сына – вот и всё, что важно.

Стоял и ждал теперь опять Игорь. Двигался Вадим. Не останавливаясь, мимо протянутой руки, не глядя, бросил: «Прости, спешу, пациент ждёт», и дальше от Игоря. Белая удаляющаяся спина быстро темнеет против солнечного света из окна на другом конце коридора.

 – Мне, что, уйти? – не сдержав гневной обиды, выкрикнул Игорь.

Плечи уходящей фигуры приподнялись и опустились. Игорь, сжав кулак, чуть, было, не потряс им вслед. Столько ждал и на тебе! Неужели этому казанскому выходцу невмоготу было хоть на пару слов остановиться. Ну как же так, Вадим? Теперь, что, уже не в счёт, что помог Москву к тебе приладить, а тебя – к Москве? Что столько лет, чем могли, делились. Ладно, сын твой в коме, но жизнь-то вокруг идёт. И если бы ты, пусть даже через силу, выдавил бы из себя чуток симпатии, это бы и тебе помогло, и напряжённость сняло бы. А так висит, давит. Ну для чего это надо? И без того проблем полно. Всё же ведь случайно вышло! Илья резко затормозил, Олег, и это показали свидетели, как сумасшедший выскочил из машины, а водитель фургона его не заметил. И что теперь с этим делать? Может, Илью стоит убедить придти сюда? Пусть сам объяснится с Вадимом. Тот ведь не раз говорил, что вот у Ильи правильный взгляд на жизнь, сыну в пример ставил.

Но Илья не придёт. Зачем? Сидеть и смотреть на молчащего в беспамятстве, а тогда, в машине, оравшего в ярости «Останови!»? И разъярился-то из-за чего! Это ж были просто слова, пусть, может, и язвительные, но только лишь слова! Пух. Воз-

дух. А он! Тоже мне нашёл божество — ядерный реактор в небе. Нет, не может же он на самом деле верить во все эти языческие бредни — хороводы, вытянутые руки и прочая ловля энергий. Нет, до чего же уязвим человек — только тронь устроенную им игру, разрушь построенные им кубики, как тут же — крик, шум и ярость! Да, конечно, смысл есть играть увлечённо, но только — не всерьёз. Не всерьёз! Иначе вот так, как с Олегом, получится. Пора мне жениться. Спокойно, нацелено, взвешенно. Пора. На Кате. Она давно ждёт. Олега шафером сделаю. К тому времени он уж точно встанет на ноги. Не будет же он против. В принципе он ведь добряк.

В начале зимы Олег очнулся. Все облегченно вздохнули. Весной сдал госэкзамены. Родные устроили праздник. А девятнадцатого июня он поехал в далёкий Аркаим. Раскопанный город Солнца. Место силы. И как оттуда сообщает, отлично проводит время со множеством таких, как он.

Ш

Глубокая ночь, а тьма так и не наступила. Ярким, малиновым звоном отливают в небе облака. Бродящие то там, то сям толпы людей возбуждены. Пора белых ночей. Будоражит не оставляющий землю свет, на доверчивость настраивает.

Когда солнце, так и не оставив своим светом западную часть небосвода, было на востоке на тридцать градусов выше горизонта, две знакомые фигуры появились на краю Лисьего носа. Стояли, обнявшись, лицом к Финскому заливу. Оба, женское и мужское, были спокойно утомлены. Перед ними простёрта от береговой линии до смыкания с горизонтом балтийская вода – отражает переходы от горячего жёлтого к подсвеченному розовым синему. Вблизи берега вода с прозеленью янтарна.

На усталых щеках горит румянец. То ли возник сейчас под возрастающим потоком солнечного тепла, то ли был поднят к кожному покрову соединившим их ранее, до выхода к заливу, биением крови. Рита сняла руку Александра со своего плеча и, сжав, поднесла к губам. Отпустила. Неловко ступая по каменистому берегу, спустилась к воде.

Взгляд Александра, нежно острый, – на ней. Вот она снимает сандалии, входит заворожено в воду. Скована её прямая узкая спина. Идёт всё дальше вглубь залива, уменьшаясь.

Залив мелкий. Хоть двадцать метров пройди, всё ниже колена будет. Александр прошёлся вдоль бетонной защитной

полосы. Выждал так, на ходу, минут двадцать, а затем крикнул маленькой фигурке, сурком торчащей над играющей с небом водой: «Давай, Рита, выходи!».

Рита сделала ещё несколько шагов от берега и только тогда остановилась и оглянулась. С суши махала оттопыренная от тела, как ветка от ствола, согнутая в запястье и локте рука. Перестав махать, рука опустилась. Теперь Александр обтёсан расстоянием в ровную классическую стелу, неподвижно и независимо ждущую.

Рита отвернулась. Скучно постояла над раскрашенной небом водой, обхватив плечи руками, и двинулась обратно к берегу.

Риту мелко трясло. Долго пробыла в холодной балтийской воде. Александр усадил Риту на корягу и начал, стряхивая песок, растирать её длинные ступни. Неожиданно приподнял её ногу и поцеловал раскрасневшуюся лодыжку. Рита ткнула его ладонью в лоб. Он поднял лицо. Сомкнулись губами — влажно, пронизывающе, горячо — и быстро разомкнулись.

Солнце поднялось на шестьдесят градусов выше горизонта, когда Александр и Рита появились на Лиговке, в квартире Фаины Александровны. Сама Фаина к ним не вышла. В её плотно занавешенной комнате темно. Спит, предположил Александр, после спектакля. Играли «Сон в летнюю ночь» на Елагинском острове под открытым небом.

- Кого она там изображала? с зевком спросила Рита.
- Ипполиту, жену герцога.
- А! Герцогиню. Это ей подходит. Я тоже валюсь с ног. Глаза просто слипаются. Сейчас прямо тут засну.

Рита свернулась клубком на диване.

- Я пойду? спросил Александр, накидывая плед на Риту.
 Она спряталась под плед с головой. Потом высунула руку и схватила отходящего от неё Александра за брючину.
- Знаешь, что я хочу тебе сказать? Я все-таки была у Феофанова. Если к нему пойдёшь, вход только с лестницы. У другого входа теперь другой хозяин. Рита завозилась, уютней укрываясь пледом, голос её уходил в сон. Лестницу Феофанов починил. Ну почему! с сонной тягучестью простонала Рита. Ну почему в Москве столько не сохранилось, сколько в Питере?

Рита повернулась на бок, уткнув лицо в спинку дивана. Теперь спит и видит – каналы, двоящие строгость дворцовых фасадов, мосты, приподнимающие северное небо, парки, роскошно играющие с природой. Мелькают виды, кружатся. Гигантская бальная люстра искрится фейерверком под невидимым потолком.

Александр брёл, брёл, отталкиваясь от залитых солнцем улиц, потом броском нырнул в тёмную подворотню, прошёл через глубокий сырой колодец двора и через пару минут стоял перед разбуженной и готовой его принять женщиной. За её спиной — узкое, полузанавешенное окно, выходящее на серую стену без окон.

Солнечно и прохладно в белой узкой кухне на исходе четвёртого часа дня. Высоки выложенные белым кафелем, а в верхней половине побеленные стены — уходят в невиданную, старинную высоту. Коричневая мебель, поднимаясь едва ли на треть высоты стен, нисколько не способна затемнить белизну пространства. Чисто вымытая плита с чёрной решёткой умиляет своей древностью. Здесь чудесно. По-детски распахнутыми глазами Рита смотрит на голубое пламя под чайником. Блаженство. Тетя Фаина в шёлковом кимоношном халате щедро кормит, чем бог послал, как сама шутит, ставя из холодильника на стол всё подряд, что совместить в желудке просто невозможно.

– Ну и какие на сегодня планы? – Глядя в отражающую дверцу буфета, Фаина Александровна поправляет свои медные, мелким бесом вьющиеся волосы. Яркие глаза пытливо резанули Риту и исчезли с поворотом головы обратно к дверце буфета.

Высоко заколот пучок её пружинистых волос. Шея длинным конусом подпирает гордо поставленную голову. Тётя Фаина чарует. Но как же это она забыла!

- Так ведь я сегодня уезжаю. Уже совсем скоро, тоненько, как бы жалуясь, напомнила Рита.
- Ах, да! Фаина крутанулась к плите и со стуком поставила снятый с плиты чайник. Металлическая подставка под ним ёрзнула, но устояла. Так что, как Саша?
- Саша? не поняла сначала Рита. А! Александр! Рита открылась улыбкой. Мы с ним до четырех часов утра гуляли в Сестрорецке. А до этого...
- Да, я знаю, перебила её Фаина. И по-актерски поставленным, строгим голосом вопросила: Александр внимателен к тебе? Заботлив? Не дожидаясь ответа, перешла на другую, насмешливую интонацию. Ты ведь совершенно не требовательна. А таких Александр не ценит. С ним женщинам надо быть начеку.
- Да? Рита косо скользнула взглядом по Фаине и опустила голову. Глубокий вдох, и простецким голосом доложила колко

глядевшей на неё женщине: – Ваш племянник столько знает! Не то, что я. Весь день до утра водил и рассказывал. У меня голова шла кругом, и ноги просто отваливались. Я к такому непривычная.

Фаина Александровна удовлетворённо кивнула и предложила выпить вина.

 Ну что вы! – замахала Рита руками. – Ещё в поезд не сяду. – И хихикнула. Но это было уже слишком! Рита недовольно дёрнула губами и, вскочив со стула, выдавила: «Спасибо» и ушла к своему чемодану в другой комнате.

Открыла его, взглянула и, сжав веки, захлопнула.

За её спиной возник вкрадчиво ласкающий голос Фаины:

– Соскучилась по дому?

Рита обернулась. Точёное, чуть тронутое морщинами лицо Фаины Александровны подёрнуто вниманием и теплотой.

Это тебе календарь с видами Петербурга.
 Она протянула Рите глянцевый картонный пакет в целлофане.
 На следующий год.

Рита положила календарь в чемодан поверх своих вещей.

- Там фотографии моего мужа, пояснила Фаина. Ты ведь с ним так ещё и не познакомилась.
- Да, не познакомилась. Он ведь всё время в Комарове, когда я здесь.
 - У него там фотостудия.
 - Ну и прекрасно.
 - А в августе мы с ним едем к родственникам в Краков.
 - Замечательно, тускло отозвалась Рита.
- Послушай! встрепенулась Фаина Александровна. А что если и ты с нами? Тебе обязательно надо там побывать.
 - Зачем?

Фаина взяла за плечи вяло поддающуюся Риту и повернула к окну.

- Там наши родственники, Яворские, Она слегка встряхнула Риту. Ты же ведь тоже на четверть Яворская. А? Что скажешь? Рита жёстко посмотрела ей в лицо.
 - Нет, вряд ли. И вернулась к своему чемодану.
 - Но почему?
 - Бабушка и без того огорчается, что я сюда приезжаю.
- Анна Семеновна! Ну сколько можно! Столько лет прошло.Как так можно!
- Наверное, можно, на ходу, неся чемодан в переднюю, бросила Рита.

 Болезненное это самолюбие – вот, что это! – бросила ей вслед Фаина Александровна.

Рита оглянулась в дверном проёме.

- Вы росли при отце. А моя мама без него. Мамы уже нет, а бабушка всё помнит.
 - Но тебе ведь нравится здесь бывать?
- Да. Наверное. Нравится. Наклон головы вниз глушил и без того слабо выговариваемые слова. – Но я, наверное, не права.
- Глупости! полетело через опустевший проём двери в переднюю. Мало ли, что было. Сейчас совсем другое.
- Да уж не совсем другое, выходя на лестничную клетку, пробормотала Рита.

Северный экспресс оторвался от Питера и понёсся к Москве. Серо-синими рядами текут кресла из конца в конец. Потолок и стены вагона — голубовато-серые. Рита повернула голову набок и закрыла глаза.

Через семь часов Москва. Ещё далеко она. Лежит на холмах под простёганным улицами, взбученным постройками, лоскутным одеялом. Лежит Москва, не дремлет. Только в неё прибудешь, как затянет в возню под своими крышами.

А Питер ещё совсем близко, в каких-то ста километрах, и плотно закрытыми глазами видится гранитным блюдом, уставленным дворцами, прорезанным каналами, опушенным парками на спине невидимой рыбы-кит. Не поднимая век, Рита откинула со лба щекочущую прядку.

Дёрк, стоп, вот и прибытие. С подножки вагонов сваливаются на платформу пассажиры. Жмурятся на открытый, незастеклённый, свет, растекаются по всей ширине платформы. Сбиваются в комки со встречающими. Кучковато, с неровным урчанием движутся из длившейся весь путь неволи на свободу.

Рита катит за собой чемодан, сосредоточенно уставясь в размеренные бруски покрытия — щели между ними разной глубины. И вдруг рывком возникает в тянущей чемодан руке неожиданная лёгкость. Взгляд вверх. Надо же! Дядечка Игорь! Встретил!

И ликованием приподнято тело, вскинуты руки и ему – на шею.

Как это ты вдруг?! – шепчет Рита в ушную раковину, розовато светящуюся на солнце. Завиток хрящика нечаянно задет губой.

Игорь сам покатил чемодан, а свободной рукой приобнял неустойчивую от возбуждения Риту. Конечно, приятно, что так возрадовалась, но всё-таки немного чересчур. Однако... однако такая горячность в молодом теле почти впритык к твоему разогревает и твою кровь. А как задорно прибивается порывистым шагом лёгкое платье к узким коленям! Возбуждает улыбчивость, хотя, конечно, глуповато всё это.

Игорь перехватил чемодан в другую руку, оторвав её от Ритиного плеча, и облегченно отметил:

- Хорошо выглядишь. И добавил вопрос: Как там Александр?
- Саша? Нормально. Хорошо. Много водил по Питеру. А вы тут как?
- Да не очень. Бабушке твоей плохо. Игорь загрузил чемодан в багажник. – Так что поедем прямо в Бугрово. Таисия срочно хочет тебя видеть.

Ах, вот, значит, почему встретил! Не по своему желанию, а по воле пославшей его бабушки.

- Нет, я хочу домой. Вези меня прямо туда.
- У Таисии очень плохо с сердцем, строго увещевает Игорь. – Хотели в больницу забрать, но она отказалась. Садись вперёд. По дороге поговорим.
- Я ей зачем? бурчит Рита. Ей сейчас специалист нужен, кардиолог. А я прямо с поезда. Нет, давай меня прямо домой. А завтра спокойно после работы приеду к бабушке.
- Ты можешь слушать не себя, а что тебе говорят! Бабушка, можно сказать, при смерти, то и дело отключается, никого не слышит и твердит: «Мне нужно срочно видеть Риту».
- Срочно? Меня? Я же её вечно раздражаю. Знаю: будет, как всегда, меня подкалывать: то во мне не так, то не эдак. Покусывает, и силы, что ли, прибавляются?

Игорь с хмыком втянул в себя воздух.

– Ну, зачем ты так, Рита! Может, бабушка твоя, действительно, любит подкалывать. Но так ведь многие. Обычная уловка. Превентивный способ устрашения. Вполне цивилизованный и широко распространённый. А у тебя просто повышенная на это раздражимость. Аллергия. Надо, Риточка, от этой аллергии избавляться. Нельзя же на всякий укус сыпью идти.

Игорь поправил на переносице тонкие очки и быстрой улыбкой скользнул по Рите. Та в углу сидения держала безучастно неподвижный взгляд на его лице. Брат отца, а ничего с ним общего. Отец всегда был какой-то взбудораженный, крученый. А вот Игорь – ровный, вон как плавно и ловко ведёт машину. Весь мягко очерчен, пушок на руках светлый. А отец – жгучий, чёрные, как у бабушки, обжигающие глаза. А как задиристо хохотал! Но весёлость его была мимо, для кого-то другого, для бабы его какой-нибудь, но не для нее, не для его дочери.

– Слёзы наворачиваются, в груди свербит, верно? – отмечает симптомы Игорь. – Хочется свернуться калачиком и замереть. Но время сейчас не для кисейных барышень, ты слышишь меня, Рита? – Игорь повысил и отвердел голос. – Над своей психикой надо работать, укреплять. Вот если бы твой отец.... Ладно, что сейчас об этом говорить!

Выскользнув из угла сидения, Рита села прямо, лицом к дороге.

- Что я хочу сказать, продолжает Игорь. Есть разные методики улучшать свою психику. Мы в нашей консультации...
- Да знаю я, перебила его Рита. что вы делаете в вашей консультации. – Кодируете бедолаг, как алкоголиков!

Игорь замер. Тряхнув головой, подобрался и с отменной доверительностью произнёс:

- Но все-таки самое главное для нормальной работы психики, дорогая Рита, это уверенность, что тебя любят. И ты, Рита, должна эту уверенность иметь. Больше всех тебя любит Таисия. Вот что надо ощущать, а не какие-то там покусывания. Поверь мне: ты бабушкина любимица.
- Xa! Ну конечно! Рита скосила уголки губ вниз и вдавила взгляд в дорогу. Никто никого не обязан любить. Просто не надо донимать. Просто оставьте в покое.
- Вот ты как! усмехнулся Игорь. Хочешь сказать достали. Ну, ну! Понятно. Отгородиться хочешь, защиту ото всех себе выстроить. Но одиночество, Риточка, очень уязвимое состояние. Знаешь, в чем твоя проблема? У тебя переизбыток подозрительности и недостаток веры в себя.
 - Уж какая есть! огрызнулась Рита.
- Вот, вот! Типичная ошибка. Или уловка. Но у меня намётанный глаз. Я же вижу. У тебя внутри полный раздрай, качает тебя туда-сюда, как ребёнка от слез к смеху. А надо свою личность структурировать, выстраивать. А не так, как мать-природа намешала.
- Только не надо опять про свою консультацию. Я как-нибудь, но сама по себе.

- Значит сама по себе. А зачем тогда к Феофанову ходила?
- А ты откуда знаешь?
- Он мне сам говорил.
- Ты с ним встречался?
- Пришлось, Риточка, пришлось. Разговор у меня к нему был. Я его предупредил! Игорь сделал значительную паузу. Чтобы он перестал дурить моих близких. Тоже мне мастер общения нашёлся! Да он просто бессовестно раскрепощает, чтобы вы ему всё, до самого дна из себя выложили. И без разбору со всем, что в вас есть, примиряет.

Рита собралась в комок.

- Ничего такого он не делает.
- А чем вы, Игорь снял руку с руля и приобнял Риту. с ним тогда занимались?
 - Лестницу чинили.
 - Что? Лестницу?
 - Да.
- Это хорошо, отрывисто отметил Игорь. И, что, починили?
 - Да.
 - Молодцы. Делом, значит, занимались.
- А ты думал! Рита приосанилась. Я ему гвозди подавала. С этой лестницы я первый раз чуть не свалилась, такая она была развалина. Теперь в порядке. Хотя Феофанов сомневается: не слишком ли она крута. Не очень удобно прихожанам.
- Кому, кому? вскинулся Игорь. Прихожанам? Это он так сказал?
 - Hy?
- Да! Именно прихожанам! Вот, за кого он вас принимает.
 А себя за священника. Вы к нему за отпущением грехов. Вытряхиваете ему всё из себя, а он готов вас со всей этой вашей кучей благословить. И вам облегчение, верно? Сладко ведь, когда тебя с твоими демонами примиряют.
- Господи, что ты несёшь! оторопела Рита. И вдруг хохотнула: Да ты ревнуешь! Да! Ты, дядечка, оказывается, ревнуешь!
 - Ревную? К нему? Ха! Это уж вообще....
- Ревнуешь, ревнуешь, пригвоздила его Рита и, фыркнув, отвернулась к боковому окну.

Глаза её и без того широко расставленные, раздвинулись еще больше к вискам. Она прижалась лбом к стеклу. Потянулся её голос глухо и сладкозвучно.

- Когда мы лестницу починили, Феофанов стал по ней подниматься. За собой меня не позвал. Но мне и незачем было за ним лезть. А на последней ступеньке он вдруг ко мне обернулся, приложил руку к сердцу и поклонился.
- Актер! Притворщик! Вас, дурёх, морочит! процедил сквозь зубы Игорь.
- А мне хорошо тогда было лестницу чинить. Тело работает, а внутри – лёгкость и покой.

Рита перекинула голову к Игорю. Сухощавые кисти его рук с нервной небрежностью держат руль. На правом виске живо пульсирует извилистая жилка. Рита к ней, примериваясь, потянула голову, но вдруг резко отвернулась.

Шуршат шины. За окном проносятся сто раз виденные виды.

Солнце всходит и заходит. Всё идёт своим чередом. Периодически выплеск протуберанцев всяческих страстей. И надо всем этим бесформенным облаком – сознание, что подобное уже переживалось где-то когда-то какой-то частью тебя. И эта дорога, и поздний приезд к бабушке.

Одним, горящим сбоку по фасаду, окном дом смотрел в сад. Над светящимся оком окна темнел морщинистый второй этаж с кокошником набекрень. Полоса света упиралась в широкую дорожку к дому. В месте упора расплывалось большое беловато-жёлтое пятно. В нём остановились Рита и Игорь. Свет был в столовой. Значит, Таисия Андреевна спустилась из своей комнаты вниз. Рита демонстративно ткнула на свидетельствующий свет в окне.

– Может, её в больницу забрали, – парирует Игорь и быстрым шагом взлетает на террасу и – в дом. Там Таисия за обеденным столом раскладывает пасьянс.

Оставшись по своему требованию с Ритой вдвоём, Таисия Андреевна подозвала её к себе и взяла за руки, остро глядя в её раскинутые к вискам глаза. Непонятно, от кого взялись такие у внучки. Разомкнула пальцы и отпустила Ритины руки. Указующий жест на диван в некотором отдалении от стола. Туда не доходил свет торшера, придвинутого к обеденному столу.

- Ну рассказывай! Как там Питер?
- Можно завтра? Я устала. Рита сдвинулась на край дивана, показывая, что хочет уйти.
- Ты... устала, прицениваясь к словам, повторила Таисия Андреевна. Ну конечно! Игорь тебя прямо с поезда притащил сюда. Что он тебе сказал?
 - Что ты... при смерти, не очень внятно выговорила Рита.

– Видишь ли, детка, похоже, моё тело устало носить мою жизнь. Но не так легко от моей жизни избавиться. – Последовала высокая дробь смешков. – Так что видишь, я не лежу в постели, а сижу здесь. Но! Я трезво оцениваю свою ситуацию. Поэтому кое-какие заботы хочу с себя снять. Поэтому позвала тебя. – Таисия Андреевна с въедливой симпатией всмотрелась в сумеречно серевшую в глубине дивана Риту. – Вот как раз сейчас я раздумываю, не привлечь ли тебя к одному важному делу касательно этого дома. Ты – дочь моего старшего сына, и поскольку его нет, то вместо него обращаться я должна к тебе.

Тут раздалось цоканье когтей по полу, и к Рите на колени легла тяжёлая голова Оша. Подвигав двумя желтоглазыми пятнышками на лбу, пес отошёл и снова лёг, как сфинкс, у ног Таисии Андреевны. Она, не сгибаясь, длинной своей рукой потрепала его уши.

- Дом наш, ты знаешь, в каком плачевном состоянии. Башню ещё осенью снесло. Крыша, хоть её и чинили, но еле держится. Требуется сложный ремонт. Игоря после гибели башни тут совершенно ничего не интересует хоть всё рухни. Дед твой денег давать сюда не хочет. Ты дом этот не критикуешь, как твой дед, но средств у тебя, как и у меня, на него нет. Но надо всётаки решать, что делать. Такого ведь дома больше нигде нет.
 - А я видела под Питером очень похожий, пискнула Рита.
- Не может там быть такой же! Там только игра и нарочитость, а здесь.... Здесь естественность и природность.

Вскинув голову, она отвернулась к окну. Выступил обтянутый сухой кожей орлиный нос.

- Может, кому-то не нравится, что дом наш причудлив, что в нём запутанность коридорчиков и комнат, но мне здесь уютно и привычно. Дед мой строил его не по какому-то там капризу, а по замыслу. И замысел мне этот по душе. Тут, как в самой жизни, без упрощений, без облегчений. Таисия Андреевна мотнула головой и, ожесточив голос, спросила: И вот хотелось бы знать, как тебе самой тут, только честно?
- Если честно, скучным голосом ответила Рита, то не очень в нём удобно.
- И ты туда же! сокрушённо воскликнула Таисия Андреевна. И тотчас отвергла это своё подозрение: Нет! Ты другая.
 Ты не зашорена современностью, как остальные мои внуки. Ты ведь понимаешь, да? Понимаешь особенность этого дома. В нём есть особая сила. Твой отец сюда всегда сбегал от своих

жён. А в детстве любил носиться по его закоулкам. Ещё ему нравилось прятаться и пугать. Он и сейчас сюда приходит.

- Кто? Кто приходит? Ба, ты что?
- Да это я так. Но в тебе, я вижу, что-то от этого дома тоже есть. Да! Только ты слишком замкнута. И будто чем-то напугана. Ну чего же ты такая, детка, а? Подойди ко мне. Ты же моя любимица.

Медленно приближаясь, Рита выговорила:

- Но ты же всегда была мною недовольна.
- Не тобой, деточка, не тобой! Таисия Андреевна прижала к себе Риту, отчего той пришлось неловко согнуться. А тем, что с твоим отцом случилось. Вот кто этот дом любил! Но твой дед с толку его сбил. Пошёл бы Анатолий по Сазоновской линии, в экспедиции бы ездил, простор бы и причудливость, что душе его было близко, изучал. А так в своей конторе сгинул.
 - Ба, давай не будем! И вообще, я устала.
- Да, не будем. Будем думать, что с домом делать. Но об этом завтра. Ты, действительно, устала. Проводи меня наверх.

Свое место в этом доме Рита знала – бывшая комната её отца. Рядом с Игоревой. А над ней мансарда, где маленькие ячейки для следующих – Лизы и Ильи.

Отцовская светёлка — с полукруглым оконцем и высокой деревянной кроватью. Спал на ней Анатолий только один. Когда ложился с женщинами, то были у него другие постели: то тахта в доме первой свекрови, то железная с пружинами, когда женился во второй раз, а потом настоящая чешская двуспальная в собственной квартире.

Рите спалось на этой высокой кровати глубоко и долго. Баюкала чуть пружинящая древесина. Водорослевой свежестью опахивала утягивающая вглубь подушка. И Рита плыла по волнам сновидений до самого позднего утра.

Солнце уже вовсю голосило в небе, когда она проснулась. Попадавшие то в полосу света, то в тень упоительны потягивания и свёртывания, потягивания и свёртывания, разгоняющие кровь до полной бодрости. И уже не улежать в постели. Пружинисто – на ноги. И... И? Вниз на кухню. Потому что хочется есть.

А там ванилью пахнут горячие сырники, и бабушка колышется у плиты в длинном шёлковом халате. На нём колеблются от бабушкиных движений фиолетовые и жёлтые цветы. Давай за стол!

Изгибчиво проскользнув между столом и стулом, Рита усаживается. Бабушка – напротив. Разговор не напрягает. Ласково

овевает простором между фраз: «Как спалось?», «Погода хороша, да?», «Ты кушай, кушай!».

Густой чай обволакивает небо, пышная творожная мякоть тает во рту. Никогда ничего подобного не бывало. Но откуда же тогда в памяти похожее, яркое и заботливое утро и похожая нега и свежесть в теле? Будто такое уже происходило, хотя точно такого не было. И что ещё чудеснее — всё это схоже с наполненной теплом и светом зеленью сада за окном, две створки которого распахнуты настежь, и оттуда в лицо веет лесным духом.

Таисия Андреевна выжидала. Пусть Рита поглубже увязнет в очаровании солнечного утра в этом доме. Когда Рита будет совсем готова к важнейшему в нынешней ситуации разговору, можно будет начать.

Рита подошла к окну и высунулась в сад.

- Жаль, но надо ехать. К трём обещала быть на работе.
- Подожди! встревожено остановила её Таисия Андреевна. Мы ведь вчера не договорили. Надо это сделать сейчас.
 Мне может снова стать плохо. Так что сядь. Это очень важно.
 Ты помнишь Налимова? Из Перми. Он приезжал сюда прошлой осенью смотреть дом.
 - Да, помню. Шустрый мужик. Ты тогда его ловко отвадила.
- Я? Нет, тебе показалось. Напротив, он мне понравился.
 Крепкий мужчина и толковый. Просто тогда, осенью, мы не совсем друг друга поняли. Теперь он снова здесь. И у него есть вполне определённое предложение насчёт нашего дома.

Таисия Андреевна прошлась по кухне. Встав позади Риты, нажала руками на её плечи.

- Предложение его такое. Он купит наш дом, отреставрирует и устроит в нём музей. А я... Я останусь в нём жить. Вот так. Смотрителем музея деревянного зодчества и еще каких-то малых форм, которые привезёт из Перми Налимов.
- Ба! Ты что? хохотнула Рита. Бред какой-то. Да он выгонит тебя, как только дом станет его.
- Спокойнее. Не суди с наскока. Человека надо получше узнать, чтобы вот так про него думать.
 - Но музей! С чего это музей? Не понимаю.
- Ну как же! Дом этот строил его земляк. Знаменитый в их краях мастер. Пётр Окунев. Вот Налимов и хочет сохранить этот дом как произведение его искусства. Ну что?
 - А я что?

- Как это что! Таисия нетерпеливо отошла от Риты. Ты же дочь моего старшего сына. Но его нет. Так что тебе действовать вместо него.
 - А что Игорь?
- Игорь? Огорчение мое этот Игорь. Уходит от всех разговоров о доме. Так что ты одна у меня осталась.

Рита нахмурилась и поднялась из-за стола.

- Нет, ба, я ничего не могу, отпихнулась она. И зря ты мне все это рассказываешь!
- Рита, нет! Почему зря? всерьёз встревожилась Таисия Андреевна. Я ведь на тебя рассчитываю!
 - Но что я могу?
- Можешь! с подстёгивающей уверенностью провозгласила Таисия Андреевна.
 - Ну хорошо. Только не понимаю, что я должна делать.
- Завтра приедет Налимов. Я хочу, чтобы и ты была. Прежде, чем принимать решение, надо разобраться, что он за человек. Вот в этом ты и можешь помочь! почти просительно произнесла Таисия. И не надо так удивляться. Ты миловидна, умна, можешь к себе расположить. Можешь, можешь, если захочешь! Со мной Налимов настороже, не раскроется, а с тобой, молодой, хорошенькой, вполне может. Сойдись с ним поближе и раскуси его: можно ли ему доверять. Ты же у меня тонкая натура, чувствуешь людей.
 - Ой, ой! Только не надо так!
- Перестань! Я же искренне. Без тебя мне ничего не удастся. Пожалей меня. –Таисия Андреевна тяжело опустилась на стул. Кроме этого дома я нигде не смогу жить. Ты же знаешь наши с дедом отношения.
 - Но, ба!
 - Ну что?

Поникший, невиданно поникший у бабушки вид. И вроде на самом деле растеряна, не знает, как быть. Надо же! Такой она ещё никогда не бывала. Рита подошла к ней и погладила шёлком прикрытое плечо.

- Поможешь? Таисия Андреевна подняла на Риту жгуче чёрные, как у Ритиного отца, глаза. Только не помнится, чтобы у него когда-нибудь были такие просящие.
- Постараюсь, сдавленно выговорила Рита. Приеду завтра, если на работе не задержат.

Таисия Андреевна благодарно похлопала по Ритиной руке.

Двурядный свет насквозь пронизывает пространство вагона-ресторана. Под дробь колёс и звяканье посуды на экране окон идёт движение холмов и низин, покрытых высоким и плотным лесом. В частоколе узких, островерхих, как кипарисы, тёмных елей то вспышками мелко трепещущая листва, то провалы полян.

От картин чащобного пермского рая взгляд набегал на лицо напротив. С буграми скул и впадинами щёк, озерцами голубоватых глаз и узким хребтом носа лицо Налимова приманивало не меньше, чем застеклённый вход в пермские просторы. Это лицо жёстко очерчено и спокойно. Такое лицо, хочется верить, обещает надёжность и защиту, по крайней мере, на время этой поездки. А может, и дольше? Нет, не надо! Только на те три дня, что пройдут в Перми. Если дольше, то наверняка вылезет какой-нибудь уродливый оскал на этом замечательном лице. А вот на три дня должно хватить его милости и мужества. Да? Уверена? Конечно. Ему же самому надо показать себя в лучшем виде и доказать, что эта его пермская земля – край всяческих чудес. Чтобы принято было твёрдое решение сохранить под его опекой одно из них, оказавшееся под Москвой – чудо-юдо дом, построенный Петром Окуневым. А что хочется тебе самой? Мне? Мне хочется птичкой влететь в невиданный еще край, попорхать там, но не умиляясь ему, а будоражась, и – назад, к себе.

– Рита! Вы чего дрожите? Замёрзли? – Налимов потянулся к подрагивающей на столе Ритиной руке. – Дует? Кондиционер. Может, пересядем?

Раскинутые к вискам глаза нахмуренно сблизились. Потом, видно, дошло, и появилась доверчивая девичья улыбка. Забавная девица. Двадцать два или три ей года. А носик-то у нее покраснел. Уж не насморк ли начинается?

– Смотрите, – остерёг Налимов. – Таисия Андреевна меня съест, набросится: такой-сякой увёз внучку, а она свалилась с простудой. А может, тогда водочки?

Рита кивнула. Глоток окатил нутро лёгким влажным жаром. Слегка приоткрыв рот, Рита откинула голову на спинку стула.

Упругая мякоть шеи под тонкой выделки кожей втягивает взгляд. В глубине шеи молодые сосуды гонят насыщенную кровь. Её алый цвет не виден, но чувствуется.

Чёрт знает что! Любят же сейчас про вампиров. Тьфу! Долго же сейчас стоит над горизонтом солнце. А в Москве в это время уже тьма. Здесь же — зудящее беспокойство от того, что в теле дремота, а через глаза вливается будоражащий

свет. Спустить шторку и в искусственной темноте попробовать вжиться в сон.

По прибытию в Пермь ранним жарким утром перед Ритой распахнул серебристую дверцу седана сын Налимова, Данила. Как только дверь захлопнулась, слепящая яркость и жара исчезли. Можно ехать.

 Рита будет в гостинице. Так она хочет. Отвезем её и – в контору, – сообщил Налимов сыну, устроившись рядом с ним на переднем сидении.

Сидевший за рулем оглянулся на Риту. Смерил оценивающим взглядом. Под давящей остротой голубовато-стальных, маленьких, как пули, глаз Рита вжалась в спинку сидения.

Явно недоволен Налимовский сынок, что отец привёз когото с собой. Поперёк горла ему, небось, всё, что идёт из Москвы. В белоснежной, шёлк с хлопком, рубашке хотел бы сам по себе князьком тут стоять, да? Дела свои без столичных нахлебников править. Тут бы своих накормить, и хватит. Верно? А Москва вечно: то, сё ей, пятое, десятое. Рита защитно сузила глаза. Но нет, не выходит отдельно от Москвы, ха! Однако присмотрись: Данила этот умеет крутиться-выкручиваться — вон какую неслабую тачку отхватил. Рита погладила гладко упругую поверхность сидения, провела пальцем по изящной коробке с кнопками, утопленной посередине и взглянула на густоволосый, коротко стриженый затылок Данилы. Нет ему причин так напрягать шею. Никакой угрозы ему с заднего сидения нет. Как бы его успокоить? Хотя пусть. Это он, видно, уже инстинктивно обороняется.

Тут оглянулся Налимов старший и приветливо блеснул озерцами глаз. Раздвинулась улыбка. Ещё и задорно подмигнул.

А вот Валерий Леонидович другой. Контактный. Открытый. Не опасливый. Хотя кто его знает. И станет ли ясно за три дня в Перми? Зачем он хочет вложиться в бугровский дом? Музей? Смешно. Неужели думает этим домом доказать силу пермяцкого мастера? Да не заметит того Москва. И не такое в ней затеривалось. И что их так тянет доказать себя Москве? Здесь что ли мало места? Или окружающая глушь их тут глушит?

– Ну вот и приехали, – сказал Налимов, отпуская Риту.

Только бросила вещи Рита, как сразу из гостиницы ушла. На ходу взбивает волосы, оправляет кофточку, подтягивает бриджи, а глаза ждуще – по сторонам, шаг стремительный, с паузами.

Так гонит желание встретить то, что можно полюбить. Спадёт тогда защитная пелена, откроются на всю глубину глаза и уши, расширятся ноздри и поры, и без устали пойдет вбирание того, что вызвало любовь.

Под вечер Рита вернулась и тотчас рухнула на постель. Блаженная утомленность покоилась на её лице.

Свернулась клубком, дёрнув ногой, как бы отпихиваясь от назойливого звонка мобильника. Через полчаса стук в дверь. Нарастающий. Тревожный. Рита нехотя поплелась открывать.

В комнату, хватая Риту за плечи, ввалился Налимов.

- Рита! Вы что?! На звонки не отвечаете!
- Я гуляла. Рита, зевая, опустилась на край постели.
- Почему ваш мобильник молчал?
- Я его не взяла.
- Да как так можно! Я не знал, что и думать. Вы одна, в незнакомом городе....
- У вас чудесный город. Рита вольно опрокинулась спиной на постель, но тут же выпрямилась. Я в него просто влюбилась. Невыпендрёжный, и в то же время какой-то таящейся силой приподнятый и просторный. А река ещё просторнее. Улицы одна за другой к ней тянутся. Кама держит среди города свою мошь.
- Долго же вы гуляли! Налимов, наконец, успокоенно сел на стул. – Как ещё не заблудились.
- Да что вы! Тут это невозможно. Всё четко и ясно прочерчено, как в Петербурге. И дома в центре того же стиля, но ниже, небо не заслоняют. И речной воздух доходит вглубь улиц.
- Ну и ладно. Понравилось и ладно, ворчливо удовлетворился Налимов. И вдруг резко вскинулся: Но этот старый центр не самое главное, что есть у нас в Перми! И вообще этот под Питер стиль с финтифлюшками и колонами пустышка, мне не по душе. Вот завтра поедем в Кунгар, далековато, правда, вот тогда увидите, что такое настоящий пермский дух.

Двухполосным провалом рассекает шоссе густо и темно обитаемые урманы. Ущельем тянется дорога сквозь горами высящийся лес. Прорезали её по живому, но стойко и полно, по обе её стороны живут чащи, поймы, останцы и болота. Колышутся, манят, настораживают. Сплетают в своих глубинах буреломы, очерчивают поляны, свивают кроны и заросли в своём особом зверином стиле.

– Пермским звериным стилем Пётр Окунев владел с непревзойденным мастерством и новаторством, – говорит поселковая библиотекарша, встав посередине комнаты. Налимов и Рита кружат вдоль стен, уставленных выделанными из дерева объектами – резными смесями зверей, растений и людей. Из этих смесей сформированы доски, полки, бадьи, скамейки, и в них иное смешение – иллюзии и реальности.

Рита присела перед резным стулом и вплела взгляд в застывшее кругообразное движение линий и объёмов, которые составляли его спинку. Постепенно определялось: вот — человек с рогами оленя, а вот — опадающие к плечам, как волосы, продолжение рогов, они сплетаются с витыми стеблями, упирающимися, как и ноги человека, в зубчатое тело ящера, разинувшего пасть, откуда фонтаном — облиственные ветви, замыкающие аркой всю композицию спинки стула.

- Обалдеть! констатирует Рита.
- Да. Это один из лучших экземпляров нашей коллекции. Видите, как умело использован древний орнамент. Такой часто встречается в найденных при раскопках оберегах. Окунев сохранил и смысл орнамента, и стилизованность образов, но перенёс это на обыденный предмет, связав современный быт с древним осмыслением бытия.
- Не древним! тихо прорычал Налимов. Мы и сейчас так со всем этим связаны, хоть и пыжимся эту связь разорвать.
- Ну что вы, Валерий Леонидович! проворковала библиотекарша. Жизнь идёт вперед, мир так сильно меняется. Но мы, конечно, должны сохранять всё ценное, что было создано в прошлом. У нас ведь не так много уцелело. Из работ Окунева только то, что здесь, в музее нашей библиотеки. Ещё и у вас, Валерий Леонидович, несколько вещей.
- И кое-что ушло заграницу. Я это точно знаю, сурово отметил Налимов.
 - Есть ещё дом в Троельге, напомнила библиотекарша.
 Налимов отчаянно махнул рукой.
- Нет, всё-таки! настаивала библиотекарша. Его, конечно, в своё время немного перестроили, но сохранился же!
- Этот дом, взволнованно обратилась библиотекарша к
 Рите, единственный уцелевший экземпляр архитектурного творчества Окунева. Представляете, там крыльцо, как вход в пещеру. Проём окружён мощными выступами брёвен основного сруба. Чудо!
- И это чудо они собираются обить сайдингом! возмущённо вскинулся Налимов. Видите ли, чтобы было в одном стиле с новой пристройкой! Идиоты!

- Может, ещё получится договориться, робко предположила библиотекарша.
- Там они столько уже наломали! Вы просто не видели. Но завтра попробую. Может, хоть насчет наличников договоримся. Если они их еще не сорвали и не сожгли. Заодно свожу Риту к Белой горе.

В неостывшие сумерки открыто окно Ритиного номера. На теле горят отпечатки домов и деревьев, узоров и холмов, улиц и ложбин. Рита водит рукой по коже лица, шеи, рук, смазывая обожжённую за время поездки поверхность тела. А что проникло внутрь? Густая, многосоставная вытяжка из того, что встретила и видела. Будоражит кровь, кружит голову, мешает верх и низ. Гонит выскочить на городскую крышу, вытянуться, как стебель, раскинуть, как птица, руки, оскалить рот, как зверь, и смотреть в небо человечьими глазами. Но это так, воображается. А в действительности, утихомирить себя надо, утишить, войти в норму. Вот – постель, расстелить. Вот – пижама, надеть. Вот – одеяло, откинуть, залезть под него и укрыться.

В Троельгу, расползшееся по склонам село, приехали под высоким полуденным солнцем. Налимов остановил машину у заваленного строительным мусором участка. В глубине его – мощный сруб дома, наполовину забинтованный белым сайдингом.

Рита осталась в машине, Налимов направился в дом. Минут через десять уже шёл обратно, огрызаясь на летевшие ему вслед выкрики: «Достал уже! Пошёл вон. Что хотим, то и делаем!»

Налимов молча вырулил из Троельги на шоссе и повёл машину дальше по пологим петлям вверх. Не говорил ни слова. Набыченно молчал. А до этого ведь был таким разговорчивым! Про то, про сё рассказывал. Что важное могло тогда выясниться? Наверное, то, что отец у него коренной пермяк, работал на лесозаготовках, а мать — приезжая, русская, была учётчицей. Часто болела. Когда умерла? — Рано. «У меня тоже», — с тихим солидарным жаром вставила Рита. Так что рос у бабки-пермячки в её родовом селе недалеко от Троельги. В школьные походы ходили. Даже до Ветлана добирались — белой обрывистой стене стометровой высоты, тянется она на десятки километров вдоль Вишеры и пучится выветренными причудливо столбами. Ещё в Каменный город забирались, скальные останцы там башнями, арками, ступенями....

Рассказывал обо всем этом Налимов холмисто, то поднимая в воодушевлении голос, то опуская его до небрежной шутливости.

А вот после Троельги молчал, в сердитой замкнутости глядел на дорогу. Но что тут говорить? В лес надо. В самую гущу. Юркнуть под деревья, залечь на часок отдышаться. Такая мразь в глаза и уши набилась. Во что Окуневский дом превратили! А послушать их — так отличное жильё себе обустраивают. Разорались, будто дом у них отбирают. А просил-то ведь только наличники.

За окнами стало небеснее и светлее. Налимов остановил машину и вышел на широкую площадку у края обрыва. Рита открыла дверцу с вопросом: что?

- А ничего! Выходи тоже. Можно сказать, приехали. Вот она – Белая гора. Там слева – храм. А вокруг – вон какие дали.
 - Кто это здесь кусается? Чёрные такие и летают.
- Это пауты. Здешние охранники. Ну что? Давай дыши! Где ещё столько воздуха? Никаких преград!

Налимов выпятил грудь, раздувая ноздри, и принялся усиленно дышать.

Белый храм пухлым купольным комом сидит на усеченной вершине. Важничает. Красуется обильным декором. Смущает своей каменной мощью.

Рита отвела взгляд. И тогда в глаза хлынул дикий простор бесконечных, как океан, холмистых волн земли в густой пене лесов.

Поставленный на вершине храм несёт округе вполне определённый смысл. А что несут волны холмов, какой смысл, кроме ощущения безмолвной силы. Есть ещё, правда, в этой волнистой дали с кипарисными конусами елей напоминание о далёкой Тоскане, но в памяти оттуда — вечное итальянское тепло, а тут надо помнить: месяцами всё сковано снегом и морозом. И смотришь на эту землю слезящимися от резкого ветра глазами.

Сновали туда, сюда туристы, фоткая красоты храма. Ветер не так ощутим, если стоять лицом к его громаде. Глядя на неё, Рита спросила:

- Кто тут молится? Столько народу должно сюда приходить, чтобы намолить такую махину. А ведь до ближайшего села десятки километров.
- Неважно! уверенно отмахнулся Налимов. Главное богато обновили, и красуется собор над дикой природой. Что думала? Тут такой вот имперский символ и нужен.

В кармане у Налимова зазвонил мобильник. На услышанное – краткое, гробовое: «Понятно. Передам».

- Ты что опять свой мобильник не взяла? накинулся Налимов на Риту.
 - Нет. А что?
 - Плохи дела. Это Игорь из Бугрова звонил. Дом сгорел.

Руины дома живописно чернели среди зелени сада. В отдалении от пепелища под белым шатровым навесом стоял стол. Во главе стола сидела прибранная и подкрашенная Таисия Андреевна, неделю назад выписанная из больницы. За её спиной, оставив своё место между Игорем и Лизой, озабоченно стояла Рита. По левую руку от Таисии Андреевны сидел Александр, попавший на это собрание случайно – заехал в Бугрово после посещения Феофанова. У того была своя неприятность. Его лестница снова сломалась, но не от ветхости, а под тяжестью двух дородных барынь, приманенных к Феофанову давней, еще допожарной рекомендацией Таисии Андреевны. Из-за этого происшествия с лестницей Александру досталось в основном лицезреть спину Феофанова, поправлявшего поломанные ступени. Общение не складывалось, разговор не клеился. Досадно было стоять внизу и, задрав голову, просительно пытаться обратить на себя внимание. Не получалось то, за чем приехал. Феофанов то пилил, то колотил молотком. Впервые Александр уехал от Феофанова голодным.

Феофанов всё чинил лестницу, а под шатровым навесом в саду в Бугрово никак не могли начать назначенное обсуждение. То муж Таисии Андреевны зачем-то ушёл к своей машине. То Лиза отлучилась с братом Ильей о чем-то пошептаться. А когда вернулись, их мать, настойчиво отчеканив что-то в ухо мужу Игорю, отправилась покурить. Только она снова уселась за стол, как зазвенел мобильник сначала у Игоря, потом у Налимова, и они поочередно отходили поговорить.

– Мобильники отключить, никому не уходить! – тихо и твёрдо распорядилась Таисия Андреевна. – Надо решать, что будем делать.

От этого призыва каждый на свой манер нервически поёрзал. Раздавшийся скрип стульев вызвал у Таисии Андреевны неприязненный передёрг. Отвернув голову от собравшихся, она глухо произнесла:

 Своё слово я скажу последней. Первым пусть выскажется мой сын Игорь. Игорь поднялся не сразу. Мельком взглянув на жену и на мгновение подняв глаза на Риту, он поправил на переносице тонкие, почти невидимые очки, уперев взгляд в стол. Кашлянув, оттолкнулся ладонями от края стола и встал.

- Предлагаю рассматривать случившееся как освобождение. Все из нас так или иначе понимали, что дом этот нам не по силам. И не хмыкайте, Валерий Леонидович. Вы в этом доме не жили и не знаете всех его слабых мест. А им нет числа. Мама, у тебя есть муж, мой отец, отличный архитектор и, надо сказать, самый близкий тебе человек, скажем так, из ныне живущих. Это так, ты должна это признать. Вот вместе с ним по его проекту на этом участке постройте себе простой удобный дом. И в нём моя семья будет с удовольствием бывать. Так, Инна?
- Конечно, горделиво отозвалась она. Вы же сами, Таисия Андреевна, понимаете, что восстановить старый дом, каким он был. невозможно.
- Почему же! громко подал голос Налимов. Вполне возможно. Фундамент остался, фотографии есть, мастера у меня тоже имеются.
- Но это же какие деньги нужны! ужаснулась сестра Ксения.
- Я могу кое-что вложить, уверенно сообщил Налимов. Ещё ведь страховка есть.
- Со страховкой проблема, сумрачно сообщила Таисия Андреевна.
 - Что так?
- Не хочу об этом сейчас говорить. Но у полиции есть свои подозрения.

Налимов непроизвольно метнул взгляд на Лизу. Та отодвинулась на стуле от стола и с независимым видом повела головой. Тут снова подал голос Игорь:

- Если получим страховку, то денег хватит как раз на постройку небольшого удобного дома. На проект тратиться не придётся. Его сделает отец. Верно, папа? Без выкрутасов, чёткой конструкции, простой удобный дом.
- Простой! Удобный! язвительно передразнил Налимов. И это после того, что было!
- А что в этом доме такого было? строго поинтересовался муж Таисии Андреевны.
 - Мировоззрение в нём было вот что, Сергей Иванович!
 - Ну да! Чудо-юдское! хихикнула Лиза.

 «Чудь начудила, меря намерила», – тихо подхватил Александр.

Лиза кинула ему одобрительный взгляд. Лежавший у ног Таисии Андреевны пёс Ош глухо зарычал.

- Значит, старый дом никому не жалко! с истеричной ноткой отметила Таисия Андреевна.
- Ну почему не жалко! Рита ласково положила ладонь на бабушкин затылок.
- Какое это имеет значение жалко, не жалко! воскликнул внук Таисии, Илья. Сейчас главное решить, что делать дальше. Вот это и давайте обсуждать. Я предлагаю продать здесь землю. Она рядом с Москвой, стоит больших денег. Очень больших. У деда пустует участок под Истрой. Вот там пусть бабушка с дедом и строят себе дом. Там будет им жить спокойнее и, наверняка, лучше. И денег на все хватит даже без страховки.
- Все высказались? Дыхание у Таисии Андреевны пошло свистящими рывками, как хлопающий хвост разъярённого ящера. Теперь скажу я. И мой голос будет решающим. Я хозяйка дома, хоть его теперь нет. Но я ещё есть, жива. Таисия Андреевна потянулась рукой вниз и погладила Оша. И ещё мой четырехглазый пёс. Он всё чует. Он нигде жить не сможет, кроме как здесь. Сергей Иванович это знает. Да, Сережа? Житья тебе не было от него, пока я была в больнице. А когда вернулась, в квартире он места себе не находил и всем мешал. Как и я всем мешаю.

Посыпались протестующие возгласы. Таисия Андреевна, снисходительно усмехаясь, переводила взгляд с одного лица на другое.

– Так вот. Я, – продолжила она, – остаюсь здесь.

Ничего больше не сказав, Таисия Андреевна поднялась и, пошатываясь, пошла к пепелищу, бормоча: – Как после войны жили? В руинах. Но как-то жили. Вот и я.

Покачнувшись, она рухнула на землю. Ош бросился к ней и начал лизать повернутое набок лицо.

- Отгоните собаку! - взвизгнула Инна.

Лиза схватилась за мобильник. Илья накрыл лицо руками. Игорь с Налимовым кинулись к лежащему на земле телу и, вдвоем подняв, куда-то понесли.

Александр приблизился к Рите, отошедшей к забору, где кое-как доцветали потоптанные во время пожара георгины. Рита к нему не повернулась. Не глядя, поймала его руку и, пожав, отпустила.

Это ведь можно было предвидеть, – произнёс Александр.
 Рита, не оборачиваясь, неопределённо пожала плечами.
 Александр понимающе хмыкнул и покинул Риту, оставшуюся стоять лицом к забору.

Лиза смотрела на Александра издалека с внимательной улыбчивостью. Он подал ей знак, что идёт к ней.

 – А я жду, когда же ты со мной поговоришь, – доверительно сообщила она, беря его под руку. – Ну как тебе мое резюме?
 Берёшь меня в свою команду?

Рита тускло глядела на шагавшую по центральной дорожке пару.

Через год на месте пожарища под треугольной высокой крышей стоял новый прямоугольный дом с двумя открытыми прямыми террасами на западной и восточной его стороне. В нём постоянно живописалась Таисия Андреевна, чаще стоя у окна в сад. За ней — её муж и сестра. Иногда вырисовывались сын Игорь с женой, реже возникали их дети.

Сазоновский череп при строительстве нового дома не раскопали. Значит, остался лежать там, где был. Это какое-то время утешало Таисию Андреевну, потом она об этом забыла, как и обо всём остальном. По толкованию, близкому её сыну, она плотно задраила в себе свою бездну и всё, что было над ней.

А Рита? Рита по дороге из Пермского края, где почти год пыталась найти себе место в компании Налимовского сына, встретила понравившегося ей человека, который позвал её за десять тысяч километров от Москвы в Приморский край. Там она полюбила вырваться из обложивших её забот и стоять на сопке лицом к подступавшему океану.

г. Пушкино, Московская обл.

Александр Макаров-Век

КРАСНЫЙ УГОЛЬ

* * *

Отброшен тетивой тугой, от Игоря полка ночного, двенадцатый – стрелой слепой до нас достал – письмом былого...

Нам в грудь вонзился остриём, самих себя – в былом, на ощупь, от боли – вдруг не узнаём, как будто мы там жили ночью...

А из Полка глядят в упор – и страшный, скрюченный, горбатый, тупой, холодный, как топор, глядит в ответ им век Двадцатый!

1

Хлеб сжат. На чистые поля свои мазки наносит осень иконописью бытия, где каждый штрих прозрачно-точен. Кто он, неведомый Рублёв, лазурью, охрою покрывший поля, и возвестивший вновь печали праздник наивысший не спрашивай! Не знаю я. Наверно, он кто нас веками так мучает, любовь храня, и умирает вместе с нами.

2

Поля не спят. И что такое опять волнует их? ...вокруг в природе – нет и нет покоя... Деревья, в золоте кольчуг, вновь жаждут боя... Сучья страшны... И дождь, как стрелы, моросит... Какой артелью на Руси расписаны поля и пашни? Кто выдумал,

что дерева должны стоять всю жизнь на месте... ...они оврагом шли сперва, сбираясь ратью. К ночи вести дошли – пора! ...и закипел не бой – побоище... Ломались... ...и кровь лилась под градом стрел водою дождевой. Сдавались к утру последние полки... И клочья золотой кольчуги покрыли раны и куски, шепча, как шепчутся в испуге... И стали стоны деревень слышны. И вороньё кружится. В морщинах неба третий день холодный пот, как соль, искрится. Но вот, как радость, как Покров, когда земле нет горше часа, вдруг с белой гвардией снегов войдет Ноябрь под ликом Спаса!

Эх, тулуп ты мой пригожий, с дедова плеча, – тёртобокий, дырокожий, жёлтый, как свеча! Эх, тулуп ты мой расшитый нитью золотой....

* * *

Недотрога, не маши ты белою фатой! Не проси меня жениться – мол, всё холостой... Лучше да ещё влюбиться, загулять с тобой! Не проси, моя зазноба – брось тулуп в сарай... На печи мы нынче оба – под него, как в рай... Он нашепчет, он согреет зябкую тебя! Обними меня скорее, поцелуй, любя! Он такого напророчит на сто зим вперед... Он любую заморочит и растопит лёд! Не проси, моя касатка – мол, снеси в чулан... Как с тобой нам будет сладко, Скинь-ка сарафан! Эх, тулуп ты мой пригожий, с дедова плеча тёртобокий, дырокожий, жёлтый, как свеча! Эх, тулуп ты мой расшитый нитью золотой... Разгулёна, не маши ты белою фатой! Не проси, моя веснуля, – мол, снеси в амбар... До утра уж не засну я, Ставь-ка самовар!

CAMOBAP

На лапах выгнутых и медных, бока тяжёлые раздув, дышащий жаром сил несметных, стоит он, запрокинув клюв!

И ярко блещет медалями, украсившими оспой лоб, и дышит конскими ноздрями, и красным углем полон зоб...

Индюк индийский! ...тульской медью обмытый – с головы до пят! И гребень, пряником и снедью, завёрнутый в цветной халат!

* * *

С прошлым – лишь до завтра мы расстались! Голяди¹...
...и голядью остались!
С нищего,
нетверёзого –
что возьмёшь?
Всех ушкуйников и пичужников
в Чухлому не сошлёшь!

¹ 1 Голядь – балтоязычное племя, обитавшее, согласно древнерусским письменным источникам XI-XII веков, в верховьях реки Протвы (на территории современных Московской, Смоленской и Калужской областей), между землями вятичей и кривичей.

Вон – погудочка, в перстах ломашных, да и та пищит! Отрок, ангелец, Варфоломушка – на всю Русь кричит! Только слышим ли, только видим ли вот печаль... Варфоломушка, свет невидимый, коль не жаль дуй в погудочку! Голядь - голядью удиви... Нас – заблудшими, нетверёзыми нам яви...

* * *

А в саду, как змеиная кожа, с деревьев спадает кора, и они, извиваясь, узлами на решётку чугунную, в кольца сплетая тела, опускают стволы и шуршат, и шипят до утра... Я не знаю, что это такое и как объяснить их шипенье, и шелест, и шорох, и шёпот за дверью... Может, это от шума в крови и восходит к поверью?

Может, ночью нам вовсе не так полагается жить? Если можешь – сильнее прижмись! В суете этой жизни хоть ночью не стать круговертью! Чтоб не видеть, как наши змеятся тела в темноте, – если даже любовь ночью дышит страданьем и смертью...

* * *

Январь – как лёд на проводах прозрачен и высок. Иссиня выбрит впопыхах под окнами каток в порезах тонких. Третий день, как я люблю... Я рад. Деревьев призрачная тень летит сквозь снегопад. Машины траурная гарь легла на снег крыльца... И кажется – весь век - январь, и нет ему конца.

* * *

Дед мой, Пётр, умер на Крещенье. Целый день мы жгли костёр, рубили ледяную землю. Грелись водкой... И ведром помятым выгребали плоть могилы... Я пришёл в избу, и моё тело было леденее тела деда... Долго руки мыл водой в жестянке, но остались на ладонях знаки вспухшей крови и земли набухшей... Почему я не могу уехать, жить у моря, сеть тянуть и обжигать ладони об весло, горячее как солнце?.. Может потому, что стылым летом дедова могила мне напомнит грядку в огороде, на которой – тело репы в запахе медовом.

г. Москва

Михаил Моргулис

ЗОЛОТАЯ НИТЬ

Рассказ

Старый волк смотрел на молодую волчицу...

Старый волк Ор смотрел на молодую волчицу Дару и знал, что долго она с ним не будет.

Он видел, как вокруг Дары ходят молодые сильные волки Гир и Туто. Проходя мимо волчицы, они показывали клыки и призывно урчали. Близко подходить пока боялись: Старый поворачивал большую голову и смотрел на них не мигая. Он знал, что в его взгляде есть даже непонятная ему самому страшная сила. Был случай, когда на тропе к водопою он столкнулся с леопардом. Старый впился взглядом в леопардьи сузившиеся зрачки – и тот не выдержал, молча ушёл с тропы.

Да, всякое бывало. Когда-то они стаей напали на огромного дикого быка, и тот вспорол брюхо первому волку, который кинулся на него. Потом, ревя, бык пошёл на Дару. И тогда Старый встал между ними и, дико зарычав, вонзился в подслеповатые бычьи глаза синей сталью глаз волчьих. И бык стал пятиться назад. И тогда Старый в прыжке достал его, повис на ухе, зная, что, если сорвётся, будет раздавлен. И опомнившаяся стая оседлала быка, повалила, и был кровавый пир до рассвета.

Старый волк никому не говорил, что ослабело зрение. Но вчера это заметили, когда он промахнулся мимо шеи косули и щёлкнул зубами в пустоту. В последнее время он старался бросаться на загоняемую жертву с близкого расстояния, чтобы не промахнуться, но вот вчера сорвалось. Видно, настал его час уходить в небесные леса.

Он очень любил молодую волчицу, но скоро придётся её проиграть.

Он знал, как всё будет. Вначале молодые волки убьют его. Потом станут драться между собой. И тому, кто сильней, достанется Дара.

Волчица посмотрела на него болотными глазами, и он, как всегда, внутренне охнул. А она зевнула и снова ласково посмотрела на него. Старый волк подполз к ней и положил лапу на её гладкий загривок. Он не забыл, как влюбился в нее и, будто щенок, носился по лесной поляне, как ежеминутно тёрся об неё. А сейчас любовью ему уже хотелось заниматься реже, было достаточно гладить её уши, лапы, живот. Но она снова посмотрела на него призывно, и он не выдержал, положил ей лапы на спину.

После любовного слияния он отполз в угол и стал наблюдать за Дарой. Конечно, она понимала, что чувствует старый Волк. Волчица тоже любила его — за щедрость, великодушие и ум. Ну да, и ещё за его ласки, когда он, лаская, смотрел не мигая в её болотные глаза. Он никогда не отвечал на рычание других волков, а когда наступало время дележа добычи, разрешал Даре есть рядом с ним. Однажды матёрый волк Гос не выдержал и занял место Старого рядом с Дарой. Старый не подал голос, он молча и мгновенно вырвал кусок холки у Госа, а потом так зарычал, что все волки подняли морды к небу.

Теперь предстояла охота, которая может стать последней: если удача отвернётся от них, стая потребует нового вожака.

Старый вновь дополз до Дары, она ждала его и тихо повизгивала. Он коснулся мордой её глаз, несколько секунд они смотрели друг на друга синим и зелёным светом. Потом Ор потёрся о неё и ласково куснул за хвост. Дара понимала, что это, наверно, уже прощание, и нежно урчала и поскуливала в ответ. Потом они спали, положив морды друг на друга.

И пришло утро.

Ор выбрался из логова и зарычал, призывая волков к охоте. Вышли все и окружили его. Он сказал им на волчьем языке:

– Наступает время охоты. Мы отгоним быка от стада. Кто успеет первым, тот вцепится ему в шею и разорвёт кровяную жилу. Остальные нападают со всех сторон и валят добычу на землю. Потом – вы знаете, что делать... Потом пир...

Гир и Туто заворчали:

– Ты вожак, и ты должен прыгнуть первым.

Ор знал, что в этой бешеной гонке прыгнуть на шею — это прыгнуть почти на рога. Ошибёшься — и ты распорот. А у него большие шансы ошибиться, и, скорее всего, он промахнётся. Ор подошёл к Гиру и Туто, и шерсть дыбом поднялась на его загривке:

 Я столько раз бросался на быков первым, что и вы могли бы это сделать разок. Но я знаю, что вам не справиться со страхом, поэтому будете в середине стаи. Ну а я – попробую. Но знайте: если не схвачу быка за горло и останусь жить, то перед смертью перегрызу горло вам обоим.

Туто и Гир отступили на шаг, но шерсть на их холках говорила, что они ненавидят Ора и только ждут своего часа. Ор презрительно посмотрел на них, повернулся к стае и прорычал:

 Сегодня будет юбилейная охота! Я убил 199 быков и, если сегодня убью ещё одного, буду счастлив.

Дара подошла к нему и на глазах у стаи потёрлась мордой о его нос. Слегка поблёкшим синим огнём он окинул свой волчий народ и зарычал:

– На охоту!

И все волки и волчицы зарычали в ответ:

– На охоту!

Они отыскали стадо неподалёку от водопоя. Подошли с подветренной стороны, чтобы их не учуяли, чтобы ветер не принёс бычьему племени страшный волчий запах. Распластавшись по земле, стая поползла к добыче. Потом все замерли и стали ждать тихого сигнала вожака. Рядом с носом Ора в траве качнулся жёлтый цветок. Ор на мгновенье отвлёкся на его запах и вспомнил, что возле логова, откуда он выползал маленьким и беззащитным волчонком, рос такой же. Цветок напомнил ему о матери, которая жёстким языком вылизывала его и приносила еду. Но однажды не принесла, не вернулась, её убили охотники, и Ор остался в этом беспощадном мире один.

Стадо унюхало, а потом увидело волков — и степь задрожала от тяжёлого слитного бега. Волки неслись следом и цепочкой, пытаясь отделить кого-нибудь послабее. В этом мареве мычанья и пыли волки легко могли попасть под удар бычьих копыт. Но они ускользали и снова теснили намеченную жертву в сторону. Ору было нелегко мчаться впереди всех волков. Но молодые наседали, и он нёсся вперёд, роняя пену, ещё не кровавую.

О Создатель, что это был за дикий гон, когда, кроме копыт и намеченной шеи, ничего не видно, — и ты летишь по земле, над землёй, в безумии предстоящей схватки, опьянившись жуткой сладостью предстоящего убийства! Азарт разрывал ноздри, и охотничьи инстинкты затопили Ора. Он увидел совсем рядом налитый кровью бычий глаз и огромную тугую шею. И с волчьими заклинаниями взвился в воздух, не промахнулся, вцепился в бычью шею. Он висел и рвал плоть, жилы, артерии; кровь брызнула ему в глаза, но Ор, напрягаясь до предела, старался не сорваться, не упасть под копыта, потому что сорваться — это по-

зор и смерть. Он не видел, но чуял, как сужается вокруг жертвы кольцо волков, готовых броситься, чтобы помочь ему. Сквозь заливающую глаза чужую кровь он углядел, что ещё один волк сумел добраться до бычьей шеи и стал вместе с Ором разрывать её. А дальше Ор уже ничего не видел, он просто верил и не верил в свои клыки, и вдруг почувствовал, что бык стал оседать и наконец упал на колени. Вся стая устремилась к нему и, победно урча, прикончила павшего гиганта. Только тогда Ор с трудом разжал клыки и рухнул рядом в траву. Но отлёживаться было нельзя, он должен делить добычу. Лапы дрожали, но Ор встал и подошёл к лежащей туше. Дара стояла в стороне, но Ор понял, что волком, повисшим на бычьей шее, была она. Ор понюхал быка, ткнул носом в брюхо, но есть не стал, а повернулся и позвал взглядом подругу. Та подошла, Ор отодвинулся, и она встала рядом. Присмиревшие молодые волки бросали на них смущённые взгляды.

После пира волки стали облизывать себя и друг друга от крови. Дара и Ор легли бок о бок. Он начал говорить ей по-волчьи:

– Сегодня я уйду из стаи. Мне пора к отцу и матери. Ты оставайся, выбери себе другого волка и помоги ему стать вожаком. Только никогда не переставай быть волчицей. Не вой с другими на луну, а наблюдай, сколько правды в их вое. Не люби никого, кроме меня, но живи с тем, кто выберет тебя, а ты его. И никогда не показывай им, что по-прежнему любишь меня. Никогда! Иначе они разорвут тебя.

Дара слушала, хвост её замер, уши приподнялись, а глаза были полузакрыты.

Ночью Ор ушёл.

Он дошёл до леса, продирался сквозь кустарники, пугал сов и зайцев. Нюхал и рассматривал, искал место для вечной спячки. Наконец ему приглянулся громадный дуб — в корневищах была пещера, подходящая для последнего логова. Он расширил вход, вполз, расчистил внутри листья и мох и лёг. Нужно было оторваться от прошлой жизни и тихо входить в ожидание, в звон новой тишины. Ждать, когда с неба спустится золотистая нить. И тогда он возьмётся за неё, и она унесёт его вверх, где лежат на райских полях его родители и все другие ушедшие в небеса волки. Чтобы не приходило чувство голода, надо убрать его из желудка и упрятать куда-то глубоко в голову и ещё в то место, без названия, которое есть в Оре и напоминает о матери и о Даре.

Он лежал и просил, чтобы приблизилась нить Сверху. Он напрягал все оставшиеся силы; перед глазами мелькали картины из прошлых охот и, мелькнув, уходили навсегда. Привиделась последняя охота и Дара, впившаяся в шею несущегося быка. Постепенно всё замирало. Он начинал чётче различать тех, кто ждал его на райских просторах. Ближе всех была мать.

Раздался шорох. Ор услышал движение какого-то тела, но даже не шевельнулся: он уже не хотел сражаться за жизнь.

Это была Дара. Она втиснулась к нему, облизала его лапы, а он лизнул её в голову. Она легла рядом с ним. Он тихо спросил:

– Зачем?

Она ответила:

– Есть жизни, которые заканчиваются сразу у двух волков.

Теперь и она сводила вместе все свои чувства, всё то, что жило в ней, то, чем она всегда была, и прятала это туда, в особое тайное место, где хранились картины прошлого и жили все те, кто ушёл. Люди называют это место душой, а у волков оно просто есть — без названия. Дара и Ор скрестили лапы, их головы сблизились — большая голова старого волка и изящная волчицы.

Последний запах, который к ним пришёл, – запах сгоревших листьев. Они поняли, что это сгорает жизнь.

И они замерли для земли в ожидании нити с неба. И те места без названия вышли из них и коснулись золотистой нити, которая спустилась Сверху, и вместе они поплыли к небесам.

Флорида, США

Александр Паксиваткин

НАКЛОНИЛАСЬ К ОМУТУ РЯБИНА

VW TDM-TO

Досижу уж три-то года! И – подамся в монастырь. Лучше пить святую воду, Чем задиристый чифирь.

Богомол живёт не хуже Коммерсанта-торгаша. Затянув ремень потуже, Чтоб не выпала душа,

Где – канаву покопаю, Где-то гряды прополю, Там – метлою помахаю, Тут дровишек поколю...

Нешто тяпкой да лопатой Не зароблю на еду? Пусть – с рассвета до заката... Но ведь легче, чем в аду!

Я в аду червонец жизни, То есть, чуть не десять лет Жрал и пил – в ущерб Отчизне, Как тот трутень-дармоед. Дом, конечно, не построю... Попрошусь уж в монастырь... ...Лучше – чёрный хлеб с водою, Воля-волюшка с бедою, Чем весёлый конвоир!

ЧИСТИЛИЩЕ

Мы с тобой – горемычный народ! Далеко нам до волюшки-дали. Помогайте тому, кто дойдет, Но дойдет первозданным едва ли...

Полбеды, если молод, здоров – Основное в тюрьме превосходство. Плюс на воле – родители, кров И морально – не знаешь сиротства.

Ну, а если кругом – никого? Ни родных, ни гроша за душою? И вся жизнь между тех берегов, Где в ничто превратилось большое...

Одинок среди тысяч людей, Как челнок среди скал-великанов, А на тропах свирепых идей – Сотни тысяч силков и капканов...

И работы по силам – увы... В биографии – скопище пятен... И в каменьях летящей молвы – Оскорбленье, изгнанье, проклятье...

И не знаешь, в которой весне Ты найдешь – и приют, и участье. И в каком светлооком окне Поджидает возможное счастье...

Эти мысли, как нервный клубок, Эти руки – не руки, а крюки – Нарежимленной сути итог, Результат долгосрочной разлуки.

За окном день и ночь моросит, И не греет сырая одежда. Жизнь по горло в болоте стоит Под созвездием чистым – Надежда.

Этой карме ты – не прекословь. Эта женщина прелесть–химера. Да протянет мне руки Любовь! Да поддержит величество Вера!

* * *

Ранним утром косячок певучий Пролетел – и снова даль светла. Лишь моя печаль ненастной тучей, Словно в омут, в душу заплыла.

Кто же там идёт без опозданья, Спелой гроздью обжигая рок? Со зловещим смыслом увяданья Осень речки переходит вброд.

Наклонилась к омуту рябина, Вглядываясь в зеркало глубин... Не любим я женщиной любимой, Нелюбимой женщиной любим.

Не скупись, судьба, на долю счастья! Без него не мил мне белый свет. Мое счастье не в твоей ли власти? Может, счастья в жизни вовсе нет?

Тот ли счастлив, кто шуршит деньгами? Не приманишь гордое к рублям! И, ковры пиная сапогами, Я кричу высоким журавлям:

В добрый путь! Счастливых вам инерций. Через степи, горы и моря!.. Никуда не улетит из сердца Золотой журавлик сентября.

* * *

Темнота в глазницах окон. Тишина. Туман с реки. Лишь попавший в сетку окунь, Передёрнул поплавки.

Только конь, почуяв осень, Звякнул бубном и заржал. Да рябина на погосте Одинокий свет зажгла.

Мост, упавший на колени, По-верблюжьему горбат. Убежать бы из деревни! Чем тут хвастать? Не Арбат...

О! В капусте стонут жабы... О! Шуршит в соломе мышь... Убежал бы! У-бе-жал бы! От себя не убежишь.

Млечный путь звезду уронит – Вздрогну! Сникну. Затужу... И, оставшись на перроне, Вслед тебе из-под ладони Я сквозь слёзы погляжу.

Никогда к потерям не привыкну: Покидают белый свет друзья... Вот опять предсмертно кто-то вскрикнул – Нет, не я... не я ещё... не я...

Но и мой наступит високосень. Колокольчик отзвенит в груди. Ах, судьба! Хотя бы лет за восемь Ты меня о том предупреди.

Чтобы мне не быть кому-то в тягость, Уплыву за реку на простор, Разломаю старую корягу, Разведу под звёздами костер.

Впеленаюсь в дикие туманы, И навзрыд заплачу у огня. Знаю я, что в мире, кроме мамы, Никому нет дела до меня.

А любовь... Она уйдет к другому. Разлетятся дети по стране. И, быть может, только цвет черёмух Просветлит им память обо мне.

Догорай до фильтра, сигарета! Осушайся, кружка, в три глотка!.. Жизнь моя, как северное лето, Как ответ кукушки, коротка.

ДОЧЬ ЛЕСНИКА

Заблудился... Песнь расслышав Сквозь журчанье родника, Как на зов, пошёл – и вышел Я к заимке лесника. Старика с литовкой звонкой Ожидал я встретить, но!.. Молодая незнакомка У стожа плела венок.

И, меня не замечая, В тот венок мой взгляд вплела. В алый пламень иван-чая По-русалочьи вплыла.

Набрала малины горстку, И, потрогав лучик дня, Оглянулась на березку – И увидела меня.

Как прозрачную юбчонку, Что лучом смахнуло в луг, С неизменным «Ой!» девчонка Уронила песню с губ.

Как косой, красой весенней Резанула по глазам! Растерялся я, осенний, Словно эхо по лесам.

на то и люди...

Я мысленно уже в селе. Мечты томят, но не жестоко. ...Сову, сидящую в дупле, Не спросит обо мне сорока.

Седая песня про погост Не по-вороньи – по-павлиньи У клавишей распустит хвост, Словами пользуясь простыми. За поймой иволга всплакнёт, Подвоет песне пёс на даче. И я в начёсанный шевиот, Как скупердяй, слезу припрячу.

Пусть грош цена моей слезе И сам я полслезы не стою – Уйду по чёрной полосе, Просясь в деревне на постои.

Нет, никому не расскажу, Где пропадал и чудом выжил, И кем приравнен был к бомжу... Но встал с колен и в люди вышел.

И люди поняли без слов, Ибо на то они и люди: Откуда я и кто таков, И кем Иисус Христос мне будет,

Кем были те, кто спят в земле, И та, как горький дым, седая... ...Я мысленно давно в селе! И сам себя в нём поджидаю.

г. Нижний Тагил

Александр Радашкевич

ДЫМ ОБУГЛЕННЫХ БЕССОННИЦ

НАБЕРЕЖНАЯ

На набережной бездны, струимой сквозь меня, просвечивают горы, взмывающие внутрь, и птицы бледнокрылые в обратную парят над полыми озёрами к нечающим лугам, восходят луны в проруби отыгранных времён, и пьяный паровозик визжит, вдыхая дым, с моста спадая в Волгу, не впавшую в Оку, барашки волн попятных метнулись к берегам, где голые, как свечи, фантомы крайних снов сдувают с парапетов всевышний прах ночей. Подводных окон профили уставились в ничто за штофными гардинами, где дотлевают дни над набережной бездны, продетой сквозь меня, и вогнутые кручи струят туман бурливый в подвижные гравюры, где бабочки бумажные навеют, пусть не нам, в истошной тишине предсмертную истому калёных слов любви, и я плыву сквозь сущих и бывших, и грядущих, усердно созерцая в обратный перископ счастливое устройство картинок бытия.

* * *

Как юности далёкий взгляд, стремимый мимо мира, как фотографии, не видящие нас из-за прощальной вспышки, как волглый взор немых икон и долы вогнутые снов, так расступается вода и так садится утром жизнь на краешек расшатанного стула и уверяет нас, что всё-таки была и даже нас по-своему любила, водя по ветреным садам с рассветными упругими цветами.

Смывает зиму вешний глас, сны подбираются к обрыву, и почки распирает благодать в сухой тени сутулистого тына, а мне себя теперь не променять на всё, что будет, есть и было, как фотографии, глядящие сквозь нас из-за зеркальной вспышки, как всё, что не в ходу и не про нас, и, к счастью, нас давно и так легко забыло, как юности далёкий взгляд, струимый мимо мира.

ДОМА

Как у Христа за пазухой, у мамы я буду спать под ватным одеялом остатние века. «Было лихо, и сейчас не тихо», – в старинном вздохе ты повторишь. В последний вечер мы обнимемся, заплачем на грани убывающих миров, под небом, рухнувшим на плечи, и закачаемся на самом, на краю, бросая тень беззвучного упрёка за

них, за вас и за себя, за всех, кого здесь обманули, как ту собаку за окном, в снегах дорожных, что подозвали и пнули в нос. «Спокойной ночи, мой дружок», – ты скажешь и по-новому вздохнёшь, и скрипнет дверь в бессильные миры, где мы сильнее ночи и себя, пока, как столп, качаемся, обнявшись, на самом, на краю.

ПО ПРОЧТЕНИИ ДНЕВНИКОВ

Ю. Кублановскому

Давай молчать о Лондонах и Римах на бывшем русском языке, о сарацинам преданном Париже и жалком мире, звёзднополосатом, где бьётся рыба о сальный лёд глобализаторских безрыбий, об ожлобленье коктебельском и нью-московских казино, о танцевальном православии и вымирании Руси, о встреченном, о гаданном, о слывшем, об утре дней и вечере надежд, давай молчать, мой прошлый друг, о вечном, о том, что нам отснилось наяву. Не надо рыпаться: мы не в формате. Мы не в формате, слава Богу. Вмерзая в мерзость существованья, где наша жизнь случилась ни к чему, давай молчать так громко и пытливо, как нас великие когда-то там учили, на чистом русском языке.

Я ХОТЕЛ БЫ

Я хотел бы быть тем, кого нет. Мёртвый ветер гуляет по миру. Так хотел бы не знать, что не вижу, и не видеть, что так и не знал, и зайти за высокий экран в чёрно-белом кино одиночеств, где опять прошлогодний аншлаг, и розовым шампанским скоротать антракт необратимой «Травиаты», этой осени рыжие сны, этих дней небывалые были.

Горит последнее окно за тем обветренным углом, за веткой той, непоправимой. Театр времени на улице судьбы, где голуби клюют вчерашнюю блевотину у входа. Я хотел бы быть тем, кого нет, кто не явится и не отбудет, и не видеть уже, и не знать, всё, что знать не хотел и провидел, как все те, кого носит по миру мёртвый ветер пустых перемен.

Горит последнее окно, и небеса непоправимы. Под утро снова снится брат, под вечер – нет ни досад, ни боли бережной, ни ветреной тревоги. Я хотел бы уже не хотеть и не знать всё, что так и не видел. А долы те, преголубые, пускай лоснятся для других, и ласточки ныряют за окном в подводном мире яви, и счастье улыбается с подушки и думает о ком-то о другом.

НАША ЛЮБОВЬ

Она дрожит на тех вокзалах, где откатили поезда за сеть обратных поворотов, она встречает самолёты в небесных аэропортах из

городов, прилежно стёртых на картах позапрошлых стран, в её глазах струятся годы за веком, канувшим в века. Мы различаем в раме окон её прощальное лицо, в дыму обугленных бессонниц, во мгле оледенелых снов, с той отгоревшей сигаретой над отыгравшимся вином. Недораспахнутое небо, недогадавшаяся память, недолюбившая любовь, в потёртом прошленьком пальто, со взглядом дальним и незрячим, она дрожит на тех вокзалах, на той заснеженной скамье, в той неразгаданной аллее, куда её мы заводили и где мы предали её.

КРИТСКОЕ

Древовидные хвощи в память павших динозавров, и над прахом безвестных вселенных золотые надкрылья жука. Тамариски вдоль тропы цедят в полдень мятный воздух. Здесь потерянней собаки, мудрей осенние коты и богоугоднее смуглые старцы, а алоэ алоевее и живее пустая душа, как тогда, когда прильнула великая волна к араукариям и смыли мир народы моря. Но есть ещё страшней и горше: я больше не люблю тебя той, небоокою любовью.

ПОЛДЕНЬ

Со мной случилась пустота, со мной случилась просинь, и вислый занавес дождей скрывает сцены осени глубокой, где мчится поезд красно-голубой сквозь сонные воскресные предместья и ловит в полдень смерч развоплощений, где в серой клетчатой рубахе, бренча забывчиво на сморщенной гитаре, уже почти никто кому-то никому неслышно напевает в летящем в пустоту, залапанном вагоне чужую песню нежности и скуки: «Жё тэм а ля фоли, жё тэм а ля фоли...» Даю зажатую монету. Он вежлив и учтив, как книжная судьба прочитанного в юности романа. Я выхожу на пепельный перрон и умываюсь зажурчавшим светом. Со мной случилась пустота, со мной случилась осень.

* * *

Когда не станет нас, за нами встанет право на башню наших болей, на надмирность в речениях, на возведение очей горе – воззвавших, на забубённость и любови, на бешенство, беспомощность, надменность – на нас самих за нами встанет право.

Когда не станет нас, за вами встанет долг: взойти на башню отболевших, до середины пусть; твердить сверкнувшую строку, очами проблестеть – заплывшими, и возлюбить усопшие любови за бешенство, беспомощность, надменность – за нас самих за вами встанет долг.

Когда не станет нас, когда не станет вас, как светляки, жемчужными снегами пронизая друг друга, вскружим у Отчих стоп.

г. Париж, Франция

¹ Я люблю тебя до безумия... (фр.).

Сергей Крюков

ХОЛСТ

* * *

Пока не выпали снега, Легла легированной сталью Седая осень на луга, Простясь с последнею печалью.

Надолго скрылась суета Под слоем инея морозным. Лишь побежалости цвета Горят торжественно и грозно.

Ничто уже не говорит О страсти летнего угара. И только углями пожара Тревожный взгляд небес горит.

* * *

Речка небольшая, Коромысло – мост. Сом хвостом мешает Варево из звёзд. Звёздочки мерцают Крошками пшена. В облаке всплывает Луковкой луна.

Лес, чернее сажи, В ночь прохладу льёт. Славно, если даже Рыба не клюёт.

TPABA

Была бы глина непроезжей, Когда б, ей-богу, не трава, Что каждый год сплетает между Землёй и небом кружева.

В ней – междоузлия и сгустки Чудных акриловых акрид. И, даже если ночи тусклы, Трава их взорами горит.

В её тени по всей планете Снуют несчётные жуки; Серьёзно-хмуро ставят сети В её затонах пауки.

Не устаёт столпотворенье Неугомонных муравьёв, Их коллективное прозренье Луг наполняет до краёв...

Не различал того я прежде, Что под колёсами – братва...

Была бы глина непроезжей, Когда б, ей-богу, не трава...

Я тебя провожал на причале... Шли по пирсу с тобой полчаса, А едва лишь ладони разжали, Стала бездной реки полоса.

Резал уши гудок парохода, Возвещая конец всех начал. О, как много вмещает народа Безнадёжно-короткий причал!

ОМУТ АХТУБЫ

Ты натерпелся страху бы... с ужасом заодно, Если б тебя – омут Ахтубы звал и манил на дно. А я не дрожал, не вздрагивал. Сутками напролёт лесками перетягивал чёрный водоворот.

И поднимались тёмные – из подкоряжной тьмы, словно стволы, огромные – яростные сомы. Я не стараюсь выставить, как я силён и смел, Просто – сомов неистовых я укрощать умел...

Но иногда в полуночный лихопогодный шквал кто-то совсем уж нешуточный лески мои срывал. Слёз не бывало пролито ноченьками без сна, но – не играли роли тут прочность и толщина...

– Кто ж это был, скажите мне!

– Перекрестясь, забудь! Омута долгожителей людям не обмануть. Ты отказался сразу бы от несуразных дел. Вслушайся в голос разума: бездна – не твой удел!

Многие слухи верные повествовали мне, как пропадали смертные в чёртовой глубине...

Сделав работу адову, разуму супротив, мне предстоит разгадывать Ахтубы детектив.

ГОБЕЛЕН

Даль выткана узором на холсте: Дома на той сторонке над рекою Глядят на косогорной высоте Глазами окон, полными покоя.

За ними лес поодаль – гребешком Полого окаймляет луговину. И путник удаляется пешком, Вверяя ходу времени – картину.

Воистину – величественно прост, Кто не жалел натруженные пальцы, Старательно натягивая холст На окоёма сомкнутые пяльцы...

Евгений Шацкий

СЛЕДУЯ ЧЕХОВСКОЙ ТРАДИЦИИ

Творчество М. А. Шолохова неразрывно связано с традициями русской классической литературы. Признано влияние на писателя произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, М. Горького и других русских классиков, в частности, А. П. Чехова.

Как и Шолохов, Чехов – уроженец области Войска Донского. Закономерно, что творчество Чехова вызывало у Шолохова особый интерес. В 1920-21 гг. Шолохов брал книги у вёшенского священника В. В. Евсеева, который «имел большую библиотеку; на полках стеклянного шкафа рядами были расставлены тома Гоголя, Чехова...» [1: С. 304].

Творчество Чехова начинающий писатель изучал в 1923 г. на встречах московской литературной группы «Молодая гвардия». Участники беседы «Чехов — мастер короткого рассказа», проведённой М. А. Шолоховым в 1931 г. для литературного кружка при редакции газеты «Большевистский Дон», вспоминали: «Шолохов приходил без всяких конспектов, рассказывал свободно, интересно, поражая всех нас большим знанием мастерства Чехова, тонким анализом его произведений», «Михаил Александрович делился с нами своими мыслями о величайшем русском новеллисте, советовал учиться чеховской краткости, меткости изложения, блестящей динамике сюжета. Образ Чехова вставал перед нами точно освещённый прожектором, но по-новому — яркий, глубокий, мудрый».

В 1934 году Шолохов, отвечая на вопрос молодого поэта: «Михаил Александрович, а у кого вы учились литературному мастерству? Кто ваш учитель?», назвал, в числе прочих, А.П. Чехова: «конечно, учусь лаконизму у Чехова, когда шлифую каждую фразу. Но, повторяю, – прислушиваюсь, советуюсь, присматриваюсь, учусь, но – не подражаю». И в дальнейшем, говоря о русских классиках, повлиявших на его творчество, Шолохов

неизменно вспоминал Чехова. В 1937 году, когда корреспондент «Известий» спросил писателя: «Находились ли вы, создавая «Тихий Дон», под чьим-нибудь литературным влиянием?» Шолохов заметил: «Казалось бы, что общего между мною и Чеховым? Однако и Чехов влияет! И вся беда моя и многих других, что влияют еще на нас мало. (...) Возьмём Чехова. Чехов никогда не выпускал полуфабрикатов. И брака у него не найдёшь...».

Писатель М. А. Никулин вспоминает об одной из довоенных встреч Шолохова с ростовскими писателями и журналистами: «Лицо Михаила Александровича совсем просветлело, когда речь зашла об Антоне Павловиче: (...) «Ведь он, Чехов, оставил нам в наследство свои чудеснейшие произведения...» (...) Говоря о Чехове, тихо, но как-то празднично, он поднял взор, дескать, Чехов там, на литературных вершинах!» В 1959 году на приёме национального союза писателей во Франции: «Я люблю и уважаю одинаково всех хороших писателей (...) я предпочитаю Горького. Но Чехов это тоже неплохо. И Гоголь тоже. Что же касается моего ученичества и влияний, которые на меня оказывались, то можно сказать, что я понемногу учился у всех». В том же году, на пресс-конференции в Швеции: «О творческом влиянии... Нельзя сказать, что только один Толстой.... Многие... И русские... И иностранные... Трудно ответить, сколько процентов от Толстого, сколько от Чехова, от любого другого... Я считал полезным учиться у всех...».

Неоднократно упоминал Чехова Шолохов в статьях и выступлениях. В статье, посвящённой памяти М. И. Калинина, приводится высокая оценка последним повести «Степь». Цитата из рассказа А. П. Чехова «Белолобый» звучит в статье «О маленьком мальчике Гарри и большом мистере Солсбери» (1960). Эпизоды из биографии Чехова Шолохов приводил в пример коллегам-писателям: «Чехов, даже будучи тяжело больным, нашёл в себе силы и, движимый огромной любовью к людям и профессиональной писательской настоящей любознательностью, всё же съездил на Сахалин. А многие из нынешних писателей, в частности многие из москвичей, живут в заколдованном треугольнике: Москва – дача – курорт и опять: курорт – Москва – дача. Да разве же не стыдно так по-пустому тратить жизнь и таланты?» «В прошлом русские писатели часто встречались независимо от личных симпатий. Известно, что интенсивные творческие и дружеские отношения связывали Чехова, Горького и многих других русских писателей. Этим, естественно, живёт писательское сообщество и сегодня». «...рождение писателя» –

это мучительный и долгий процесс. Вы знаете, что писатели, как правило, до начала творческой деятельности были людьми совсем других профессий. Скажем, Чехов был врачом. В настоящее время не Литературный институт является поставщиком новых писательских кадров, новых писательских имён».

Писатель критически откликнулся на следующий фрагмент изданных в 1950 г. в Париже воспоминаний И. А. Бунина о Чехове: «Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным как лёд», – сказал он однажды». Не называя Бунина, Шолохов возразил: «Говорят, что Чехову принадлежит фраза о писательском творчестве: «Когда садишься писать, будь холоден, как лёд». Неправда! Не может быть художник холодным, когда он творит!» Не вполне точна характеристика, данная реплике писателя в «Шолоховской энциклопедии»: «Шолохов не согласился с Чеховым в характеристике творческого процесса». Точнее будет сказать, что Шолохов не согласился с интерпретацией Бунина, воспоминания которого он скептически охарактеризовал, как «говорят». И в этом заочном споре прав Шолохов. В письме к писательнице Л. А. Авиловой Чехов пояснял, что сам писатель не должен быть холоден в процессе творчества: «Както писал я Вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И Вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. Вот что я хотел сказать». И ту же мысль развивал в разговоре с Щепкиной-Куперник: «... у вас: «трогательно было видеть эту картину» (как швея ухаживает за больной девушкой). А надо, чтобы читатель сам сказал бы: «Какая трогательная картина...» Вообще, любите своих героев, но никогда не говорите об этом вслух!» Следовательно, шолоховская оценка художественного творчества, как небеспристрастного процесса, соответствует позиции Чехова.

Сравнивая писателей, исследователи отмечают: «Чехов и Шолохов, певцы сказового и песенного края, близки по многим мотивам художественного творчества» [6: С. 125]; «У Шолохова с Чеховым отдалённая, но несомненная близость образов, мотивов, форм» [4: С. 146]. Влияние Чехова, как правило, изучается на материале «Тихого Дона» и «Поднятой целины» [1: С. 87-90; 3: С. 110, 145-169; 5: С. 125-142; 7: С. 105]. Но оно, очевидно, проявляется и в ранних рассказах. Уже в первых опубликованных фельетонах Шолохова видно знакомство с произведениями

Чехова, в частности, фельетон «Испытание» написан по мотивам чеховского рассказа «Пересолил».

Рассмотрим в контексте осмысления М. А. Шолоховым чеховских традиций рассказ «Ветер» (1927) – последний, опубликованный писателем перед «Тихим Доном». Анализ выявил в рассказе ряд параллелей с рассказом А. П. Чехова «Печенег» (1897).

Сходны сюжеты. И в том, и в другом рассказе на казачьем хуторе случайно остаётся на ночёвку проезжий из города: у Чехова — частный поверенный, у Шолохова — учитель. Хозяева хуторов — у Чехова пожилой отставной офицер Жмухин, у Шолохова молодой, безногий калека Турилин — ночью рассказывают гостям истории из своей жизни. И тот, и другой гость рано спешат покинуть хутор, не сдержавшись от грубой реплики в адрес недоумевающих хозяев. То, что сходство не случайно, следует и из совпадения деталей.

Обоим гостям не дают уснуть духота и укусы насекомых. «Печенег»:

«Было душно перед грозой, кусались комары, и Жмухин, лежа у себя и размышляя, охал, стонал и говорил самому себе: «Да... так» – и уснуть было невозможно (...) Частный поверенный поднялся порывисто и сел.

– Извините, мне что-то душно стало, – сказал он. – Я вый-ду».

«Ветер»:

«Учителю было душно на холодной печке. Он чувствовал, что по нём ползают морёные вялые вши. Они кусали зло и ненасытно. Полежав с полчаса, он слез с печки и надел полушубок.

- Вот, что, - сказал он хрипло, - я пойду».

Схожа авторская характеристика Жмухина «любил поговорить», и слова Турилина о себе: «Я люблю гутарить».

Со сходного вопроса начинается очередной рассказ владельца хутора:

«Печенег»:

«- Вы спите?

– Нет, – ответил гость».

«Ветер»:

«- Да ты спишь никак? А?

- Нет, - хрипло ответил учитель».

В рассказах обоих хуторян проявляется духовная дикость, особенно ярко выраженная в отношении к женщинам.

Жмухин откровенно признаётся: «Я женщину, признаться, не считаю за человека». Как о чём-то естественном рассказывает он о том, как казаки высекли на Кавказе вдову за то, что её плач об убитом муже мешал сотне спать: «Уж она голосит-голосит, уж она стонет-стонет, и такую на нас тоску нагоняла, что не спим да и всё. Одну ночь не спим, другую не спим; ну, надоело. И, рассуждая по здравому смыслу, нельзя же в самом деле не спать чёрт знает из-за чего, извините за выражение». Равнодушно Жмухин повествует и о слезах и горе собственной жены.

Ярко характеризует отношение к женщинам Турилина: он насилует шестнадцатилетнюю сестру, кормится помощью при абортах, цинично повествует: «Я тебе расскажу, как я двух девок до смерти залечил. Животы сводил им... Поте-е-ха!»

Подчёркнута эмоциональность реплики гостя, неожиданность её для хуторянина:

«Печенег»:

«Много лет назад какой-то проезжий землемер, ночевавший на хуторе, проговорил всю ночь с Иваном Абрамычем, остался недоволен и утром, уезжая, сказал ему сурово: «Вы, сударь мой, печенег!» (...) Частный поверенный оглянулся на Жмухина с каким-то особенным выражением; было похоже, что ему, как когда-то землемеру, захотелось обозвать его печенегом или какнибудь иначе, но кротость пересилила, он удержался и ничего не сказал. Но в воротах вдруг не вытерпел, приподнялся и крикнул громко и сердито:

– Вы мне надоели!

И скрылся за воротами. (...) Старик, смущенный, не зная, как и чем объяснить этот странный, неожиданный окрик гостя, не спеша, пошёл в дом».

«Ветер»:

«Учитель неожиданно свесил ноги и, дёргаясь вихрастой головой, сказал с холодным бешенством:

– Эк сволочный ты человек! Гадина ты!..

Безногий с минуту молчал, поражённый до немоты».

Вслед за Чеховым, Шолохов прибегает к форме сказа, нередко используемой обоими писателями. Чеховым, например, в «маленькой трилогии»: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», в таких рассказах как «Бабы», «Ариадна» и других. Шолоховым — в рассказах «Председатель реввоенсовета республики», «О Колчаке, крапиве и прочем», «О Донпродкоме и злоключениях заместителя Донпродкомиссара товарища Птицына», «Лазоревая степь», «Семейный человек», «Шибалково

семя», «Наука ненависти», «Судьба человека». Исследователь творчества М. А. Шолохова Н. Д. Котовчихина говорит о «важнейшей особенности эпоса как жанра, состоящей в стремлении писателя к объективности повествования, в отстранении авторских симпатий и антипатий, в умении по возможности сдерживать авторские эмоции (хотя, по сути, это непросто), что было характерно, например, для творческого метода А. П. Чехова, не раз подчёркивающего, что в творчестве главное – сущая объективность, правда. «Людям давай людей, а не самого себя» – писал он в письме к брату». Сказовая форма, рассказ от имени героя способствовала выполнению названной задачи. Оценочной характеристике героев служит контраст между жестокостью, безнравственностью рассказываемых ими историй и оправдывающим отношением к ним рассказчика: «И, рассуждая по здравому смыслу, нельзя же в самом деле не спать чёрт знает из-за чего, извините за выражение» (об избиении вдовы за плач по убитому мужу), «Должна бы, как родная сестра, пожалеть, войтить в эту положению» (об изнасиловании сестры) и т. п.

Говоря о чеховских традициях в творчестве Шолохова, Н. Драгомирецкая отмечает: «Чехов организует оценку как бы силами самого объекта, композицией образов-фактов». В. Бритиков отмечал близость шолоховской психологической характеристики к чеховской: «второй план, подтекст шолоховской авторской характеристики по-чеховски глубоко спрятан (...) Чеховский подтекст связывают с мастерством детали (...) «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам», — объясняет Чехов (...) Шолоховский подтекст часто создаётся на основе такого недосказанного, внутреннего подобия (или различия) деталей». И Чехов, и Шолохов воздерживаются от прямых авторских оценок, авторское отношение выражается через детали, контекст, портрет, пейзаж.

В рассказе Шолохова внешнее сходство хозяина хутора с волком – «лобастая голова, широкие в посадке, как у волка, выпуклые глаза», – оказывается соответствующим его внутренней сути. В рассказе Чехова подчёркнута старость, замшелость героя: «старый, сухой и сутулый, с мохнатыми бровями и с седыми, зеленоватыми усами», «ноги, жилистые и сухие, как палки». 68-летний Жмухин родился и получил воспитание в деспотическую николаевскую эпоху, которую защищает перед гостем: «Говорят, что в наше время, лет 30-40 назад, люди были грубые,

жестокие; но теперь разве не то же самое? Действительно, в моё время жили без церемоний».

Пейзаж в рассказе Чехова образует яркий контраст к убогому миру «печенегов»: «Направо далеко видна степь, над нею тихо горят звёзды - и всё таинственно, бесконечно далеко, точно смотришь в глубокую пропасть; а налево над степью навалились одна на другую тяжёлые грозовые тучи, чёрные, как сажа; края их освещены луной, и кажется, что там горы с белым снегом на вершинах, тёмные леса, море; вспыхивает молния, доносится тихий гром, и кажется, что в горах идёт сражение...». В рассказе Шолохова, ветер, который «прямо в лицо бил» герою, позже, в рассказе Турилина, охарактеризованный, как «лютой»; «уродливые очертания дубов» - предвещают путнику неприятную встречу. В конце меняется отношение героя к ветру – «в лицо ему, освежая, дул ветер». По оценке Г. С. Ермолаева, в этой эволюции «заложен смысл целительного воздействия природы на человека, который испытывает боль от жестокости своего ближнего», точнее было бы сказать, что ветер освежает героя после испытанного им чувства отвращения, гадливости от соприкосновения с духовным миром нравственного калеки.

Как и в «Печенеге», в «Ветре» подчёркнуто, что дом не убран, не ухожен. У Чехова: «штукатурка облупилась», «на стенах висели ружья, ягдташи, нагайки, и вся эта старая дрянь давно уже заржавела и казалась серой от пыли. Ни одной картины, в углу тёмная доска, которая когда-то была иконой», У Шолохова: запах «летней пыли», снег в сенях, реплика хозяина: «грязновато трошки в избе». Говоря о значении концепта Дома для героев Шолохова, Н. Д. Котовчихина отмечает «патриархально народное устремление к устройству объективного, не зависящего от него бытия через установление с ним тесной, земной, крестьянской связи. Выражается это в обустройстве семьи, земли и дома. Участок в шесть соток, домишко о двух комнатах с кладовкой и коридорчиком, купленные две козы – это не просто реализация врождённого, присущего русскому человеку крестьянского жизненного уклада, это осуществление генетически врождённого русского типа мироустройства». Жмухин презирает, отвергает семью в целом: «...лучше бы вовсе не жениться. Жена скоро прискучает всякому, да не всякий правду скажет, потому что, знаете ли, несчастной семейной жизни стыдятся и скрывают её. Иной около жены – «Маня, Маня», а если бы его воля, то он бы эту Маню в мешок да в воду. С женой скука, одна глупость. Да и с детьми не лучше». Соответственно, и его

отношение к жене и детям. Характеристика положения жены в авторской речи: «Это не жена, не хозяйка, даже не прислуга, а скорее приживалка, бедная, никому не нужная родственница, ничтожество...»; своими сыновьями, по свидетельству жены, «Иван Абрамыч брезгают, не пускают их в комнаты». Турилин на вопрос о семье отвечает: «У меня, брат, её нету (...) Не нуждаюсь ни в ком». Связи с миром, как у Жмухина, так и у Турилина, оказываются нарушенными, жизнь героев нечеловечна, противоестественна.

Но чеховский сюжет Шолохов переосмыслил по-своему. В изображении Чехова, дикость Жмухина – последствие невежества. Как говорил писатель о казаках Донского края: «Мне больно было видеть, что такой простор, где все условия созданы, казалось, для широкой культурной жизни, положительно окутан невежеством и притом невежеством, исходящим из правящей офицерской среды. Тут виноваты другие, вне власти казаков стоящие, причины, но эта главная. Будь офицер, который на самом деле является главным воспитателем казака, образованнее, культурнее духовно, я уверен, что не было бы такого невежества и «печенеги» все бы перевелись».

Жмухин внутренне осознаёт свою неполноценность, тянется к чему-то высшему: «Он любил поговорить о чём-нибудь важном и серьёзном и любил подумать; да и хотелось на старости лет остановиться на чём-нибудь, успокоиться, чтобы не так страшно было умирать. Хотелось кротости, душевной тишины и уверенности в себе, как у этого гостя». «Он любил пофилософствовать, оставаясь с самим собой, в тишине, и тогда ему казалось, что он очень серьёзный, глубокий человек и что на этом свете его занимают одни только важные вопросы. И теперь он всё думал, и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такою же серьёзной и глубокой, как он сам». При иных условиях, и он не был бы «печенегом». Из-за условий жизни одичание ждёт его детей, это понимает как мать, мечтающая отдать детей в учение, так и сам Жмухин, но «учить их тут в степи негде, отдать в Новочеркасск в ученье – денег нет, и живут они тут, как волчата. Того и гляди, зарежут кого на дороге».

Герой Шолохова, напротив, с гордостью говорит о себе: «Собой хорошо грамотный». Однако, единственное в чём пригодилась Турилину грамотность – он, лишившись ног, кормится изго-

товлением абортивных средств и сочиняет письма от солдаток к мужьям в армию. Здесь у писателя впервые встречается мотив, позднее развитый в «Они сражались за родину»: фальшивые, составленные по книжным лекалам любовные письма оказываются не интересны мужу-красноармейцу, который просит: «...глупости больше в другой раз не пиши, а объясняй толком, как в хозяйстве».

Как всегда у Шолохова, перед героем стоит задача выстоять в тяжком испытании не только физически, но и духовно. И здесь «хорошая грамотность» не помогает. В рассказе Шолохов ставит вопрос: может ли внешняя беда, тяжесть пережитых испытаний оправдать нравственное одичание, потерю человечности? Первоначально герой вызывает лишь жалость. Во время отступления казаков от красных рушатся узы боевого товарищества. Хопёрские казаки силой не пускают на постой в хату казаков другого округа, Турилин вынужденно ночует в холодном сарае и обмораживает ноги. Санитар со смехом рассказывает безногому, как выбросил его отрезанные конечности на съедение свиньям. Собственный командир не только бросает калеку, но и грабит его, отбирает последние деньги, за которые тот пытался купить место на подводе. Герой рассказа кажется жертвой времени, жертвой взаимной жестокости людей друг к другу в условиях гражданской войны. Но Шолохов изображает и людей, сохранивших в тех же условиях человечность. Латыш-комиссар, давший Турилину – белому казаку – подорожную, чтобы тот смог вместе с больными красноармейцами вернуться домой; крестьянинхохол, снабдивший его едой на дорогу; сестра, готовая кормить «никудышного» инвалида. Сам Турилин человечность сохранить не смог.

В написанном годом ранее рассказе «Лазоревая степь» Шолохов уже изображал молодого человека, потерявшего ноги из-за гражданской войны. В финале безногий Аникей играет с маленьким племянником, старается поддерживать на людях весёлый вид и, когда никто не видит, целует и обнимает пашню, которую ему более «сроду не доведётся пахать». Но Турилина гложет лишь тоска по «утехе»: «Кишки напхаешь, а сердце глиста точит... Бабы меня жалеют, а мне от ихней жалости ишо хужее. А ить я молодой был и с лица подходимый. Скажу, бывалоча, какой-нибудь: «Заночевать с тобой можно?» — а она в дыбки... Кажной стерьве целостного человека подавай, а я половинка. Гребостно им, стал быть».

То, что жалостливых казачек отталкивала от Турилина одна только брезгливость к его телесному недостатку — вывод героя. Очевидно, что не с физической, а с нравственной порочностью Турилина связано то, что порывы «сердца» у него сводились к предложению «заночевать». Однако герой во всём винит жизнь, окружающих, что в итоге приводит его к отказу от нравственных законов: «А какая же тут должна быть совесть, раз кругом мне очко, кругом я обиженный...».

Схожая мысль позднее прозвучала в «Тихом Доне»: «Совесть! – Григорий обнажил в улыбке кипенные зубы, засмеялся. – Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, когда вся жизня похитнулась...», но Григорий не отказывается от ответственности, от признания и своей вины в происходящем с ним: «... у меня вот тут сосёт и сосёт, кортит всё время... Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый...» Ни в чём не признаёт свою вину Турилин. Изнасилование сестры – «Должна была, как родная сестра, пожалеть, войтить в эту положению». Отказ сестры жить с ним в одном доме – «Как стала на одном, так, проклятая и закостенела. Настойчивая, подлюка». Нечаянное убийство женщин абортивным средством – «поте-е-еха!» Закономерна оценка слушателя, совпадающая с авторской: «сволочной человек».

Та же оценка прозвучала из уст Мелехова в адрес Мишки Кошевого, после слов последнего: «Я за тебя отвечать не хочу». «До чего же ты сволочной стал, Михаил!» – сказал Григорий, не без удивления». Т. е., в «Тихом Доне» дважды появляются параллели с рассказом «Ветер», и, в обоих случаях, когда речь идёт о признании героем своей личной ответственности за происходящее. Закономерно, что связь между указанными фрагментами романа была отмечена в статье М. С. Кургинян «Концепция человека в творчестве Шолохова (Нравственный аспект характеристики персонажа)». Исследователь противопоставила признание Григорием «личной, непосредственной ответственности и принятие всей полноты вины за общий «ход» круто похитнувшейся жизни» - фактическому уходу Кошевого от личной ответственности за судьбу Мелехова после его возвращения из Красной армии: «... Почему тебя в такое время демобилизовали?.. раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное... Там тебе не верили и тут веры большой давать не будут... ты закручивал всем восстанием... приказ есть такой регистрироваться немедленно... Я за тебя отвечать не хочу». М. С. Кургинян оценила эти реплики Кошевого, как идущие от

«соображений ответственности не внутренней, а внешней, совсем примитивной. Недаром он вызвал в Григории не только злобу, но и удивление». То, что Кошевой в разговоре с Мелеховым снял «с себя ответственность» отмечал и писатель М. А. Никулин. Но наиболее полно смысл поведения Кошевого раскрыл Ф. Г. Бирюков: «Кошевой перекладывает на Мелехова всю ответственность за восстание. Других причин он не видит. И это самое опасное, потому, что он не хочет учитывать ошибок, часть которых приходится и на его долю».

Здесь Шолохов поставил принципиально важный для себя вопрос о том, кто ответственен за трагедию казачества, за восстание 1919 года, за возникновение банд после окончания гражданской войны. Только Кошевые – представители новой власти? Только Мелеховы – восставшие казаки? И тот, и другой ответы для писателя примитивны, упрощающие жизнь. Он не возлагал вину на какую-то одну сторону. Прочтя интервью, в котором писателю приписали мнение, что большая доля вины за трагедию Григория лежит на нём самом, «хотя, конечно, левачество Мишки способствовало тому», Шолохов «подчеркнул в тексте фотокопии журнала приписываемый ему тезис («большая доля вины») и поперёк страницы написал: «Такого я не говорил! Личная вина Григория в этой трагедии есть, но не большая». Итак, доля вины есть у каждой стороны конфликта. Но от признания своей ответственности отказывается именно Кошевой, а не Мелехов. Вспомним, что дед Гришака обличает Коршунова цитатами из Писания и восставших, и усмирителей: «Поднявший меч бранный от меча и погибнет», «Вот, и подошло, что восстал сын на отца и брат на брата». Но Григория слова старика заставляют задуматься, а Мишка отвечает на них смертоносным выстрелом. Закономерно, что если Мелехов изображён в романе носителем высоких душевных качеств, выразителем «представления русского крестьянства о человеческой норме» (Ю. А. Дворяшин), то Кошевой воспринимается читателями, - говоря словами писателей-современников, - как «не просветлённый человек» (А. Толстой), «абсолютный подлец» (А. Фадеев). Признание своей вины, своей ответственности – для Шолохова. важнейший критерий нравственной оценки личности.

Чеховский рассказ мог заинтересовать Шолохова уже как одна из немногих в русской классической литературе попыток создания образа донского казака. Шолохов сожалел, что «читатель, даже русский читатель, по сути дела не знал, кто такие донские казаки. Была повесть Толстого «Казаки», но она имела

сюжетным основанием жизнь терских казаков. О донских казаках, по сути, не было создано ни одного произведения». Чеховский сюжет позволил столкнуть представителей разных жизненных укладов, изобразить и оценить жёсткость казачьей жизни посредством взгляда со стороны. Но, взяв ситуацию из классического произведения, Шолохов наполнил её своим содержанием. Ни невежество героя-казака, ни условия его жизни — главные причины нравственного падения, а внутренняя слабость характера, отсутствие нравственного стержня. И самые экстремальные условия не могут оправдать отказ от совести, от нравственного закона, от ответственности человека за ход жизни.

г. Москва

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. Бритиков А. Мастерство Михаила Шолохова. М. Л.: Наука, 1964. 204 с.
- 2. Кузнецов Ф. Ф. Тихий Дон: Судьба и правда великого романа. М.: Народная книга, 2005. 863 с.
- Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Кн. 2. 1941-1984. М., 2005. 972 с.
- 4. Михаил Шолохов: Статьи и исследования. М.: Художественная литература, 1975. 326 с.
- 5. Сойфер М. И. Мастерство М. А. Шолохова. Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1976. 461 с.
- 6. Тамахин В.М. Шолохов и Чехов // Гуманизм художника: К 70-летию со дня рождения. Ставрополь, 1975. С. 125–142
- 7. Чехов А. П. Полное обрание сочинений и писем в тридцати томах. Письма. Т. 5. М.: Наука, 1977. 679 с.

Виктор Петров

ЖДАНОВ, МОЖАЕВ, КАРЯКИН

Вот странное дело: читаю и перечитываю давнее письмо Ю. А. Жданова, адресованное «главному редактору журнала «Дон» тов. Воронову В. А.», и меня не покидает ощущение противоестественности того, что произошло в связи с ним в отдалившееся теперь уже время. На ту пору я работал в журнале заместителем главного редактора и об отклике члена нашей редколлегии Юрия Жданова на роман Бориса Можаева узнал от Воронова, который был озадачен, что делать?

По мне, случись такое сейчас, нечего и заморачиваться: доказательная по-своему статья — печатать, и вся недолга! Кто не согласен — дадим ответное слово. Но тогда время было смутное, и хотя у самого Воронова в кабинете висел портрет Горбачёва, «плюрализм» понимался своеобразно, а именно: внезапную статью Жданова нельзя печатать без её осуждения, больно уж по-большевистски убедителен был «автор-ретроград» в своём мнении.

Обратились к Борису Андреевичу Можаеву, и тот присоветовал столичного критика Юрия Карякина, мол, знаток Достоевского, а в «Мужиках и бабах» есть параллели с «Бесами». Всё делалось негласным образом при участии зав. отделом критики Александра Обертынского ну и, разумеется, Воронова.

Читаем, как об этом повествует тот же Карякин: «Он (Жданов – В. П.) написал в редакцию «Дона» клеветнически-оскорбительное письмо в адрес автора романа, явно уверенный в том, что по его велению и роман, и автор будут немедленно изничтожены. Борис Можаев и редакция «Дона» предложили мне на страницах журнала ответить Жданову. Но пока я писал, хитрован Жданов, учуяв ветры перемен из Москвы, вдруг написал в редакцию второе письмо, в котором, виляя и труся, «отозвал» свое письмо потому что – по его словам – «теперь не время ударять» по Можаеву. Видно, посоветовался с кем-то из Москвы».

Тон и догадки оставим на совести автора, но фактическая сторона была следующей. Редакция «Дона», желая закулисно выставить Жданова в невыгодном свете, чтобы на перестроечной волне быть в рядах «прогрессистов», без его ведома передала письмо, адресованное лично «главному редактору тов. В. А. Воронову», третьему лицу. Об этике никто не думал. Да, Жданов затем сам пришёл к Воронову и забрал своё письмо имел право. Но маховик был запущен... Требовалась перестроечная жертва. Умом можно понять, но вот душа не лежит к таким методам изничтожения оппонента.

А оппонентом Юрий Андреевич, как легко заметить по его логичному тексту, был достойным. Можно не соглашаться с позицией Жданова (меня она тоже не во всём устраивает, например, в оценке Достоевского), но, возьми, и опровергни, докажи своё — только спорь на равных. Куда как легче надёргать цитат и, простите, изгаляться над тем, кто не сможет тебе ответить. Но это уже был расцвет демократии.

Юрий Карякин тогда дважды прошёлся по Юрию Жданову ("Знамя" № 9, 1987) и "Ждановская жидкость" ("Огонек" № 19, 1988). Ростов гудел: был либеральный восторг, и был стыд. Юрий Андреевич вышел из состава редколлегии журнала «Дон». Это уже значительно позже я попросил его вернуться, чему, кстати, несказанно был рад писатель Анатолий Калинин, бывший всегда другом Жданова.

Сам Юрий Карякин, заметный специалист по Достоевскому, ушёл с этими статьями в политику и стал затем известен как подписант приснопамятного письма 42-х «Раздавите гадину!» (1993) с требованием расправиться с неугодными, а также сказавший фразу: «Россия, ты сошла с ума!» Пожалуй, его общественная неутомимость таки заслонила литературоведческие труды. Тут каждому своё.

Когда Юрия Андреевича Жданова не стало в декабре 2006 года, то я счёл нужным опубликовать реквием «Прощание с эпохой», где выразил своё отношение к этому человеку. Уже одно его имя говорит само за себя. Юрию Жданову было написано на роду оказаться среди первых лиц государства.

Блестящее образование, широта взглядов, аналитический склад ума... Заметная должность в аппарате ЦК, близость к Сталину. Следует опала, и Юрий Андреевич оказывается на Дону. После обкома партии – 30 лет ректорства. Судьба Ростовского государственного университета – его судьба. Совет Северо-Кав-

казского научного центра высшей школы возглавлял почти до последнего.

Жданов был личностью, своих взглядов не менял и всегда их отстаивал. Талантливый не только на научном поприще, но и в литературном деле, Юрий Жданов издал ряд оригинальных работ, писал стихи, играл на фортепиано. Храню с автографом автора первую художественную книжку эссеистики Юрия Жданова «Хрустальный свод», которую довелось редактировать. А последний его труд «Взгляд в прошлое» печатался в журнале «Дон», где он уже был снова членом редколлегии. И вот журнал вышел с его именем в траурной рамке...

А хоронили Юрия Андреевича при огромном стечении народа 21 декабря – в день рождения И. В. Сталина. В этом угадывается особый смысл. Мы простились с эпохой, но знаем ли о ней всю правду? И разве жизнь и судьба Ю. А. Жданова не помогут пытливому уму и сердцу?

Сам же Борис Андреевич Можаев всегда был дружен с редакцией журнала «Дон». Разве забыть, как он пригласил нас вместе с Василием Вороновым «обмыть» публикацию романа в ресторане, кажется, гостиницы «Украина». Да и в Ростове тоже отмечалось это событие. А ещё у нас была устроена большая читательская конференция с приездом демократов-москвичей, конечно, участвовал и Юрий Карякин. Говорили о прорывном романе Можаева «Мужики и бабы». Поминался недобрым словом и Юрий Жданов, а заодно и его отец.

Вскоре настали иные времена, и Борис Андреевич уже не мог без горечи видеть, как распалась великая страна, и к чему всё идёт. Он писал об этом, возмущался.

И последняя его публикация «Крымские страдания» прошла в «Доне» (№7, 1996), когда он, получив отлуп от столичных редакций, обратился с этим материалом в Ростов точно так же, как в своё время с романом «Мужики и бабы». Я посчитал естественным предварить эту, увы, посмертную публикацию нашего не только автора, но и члена общественного совета, редакционным словом:

«Всякой власти Можаева был не ко двору. Правду у нас никогда не жаловали.

Десять лет тому назад прилетел инкогнито в Ростов-на-Дону писатель, который к тому времени изрядно помыкался со своим романом. Прогрессивная Москва не хотела печатать новый роман Можаева, не хотела – и всё тут!.. Так крамольная вторая книга романа «Мужики и бабы» открыла в журнале «Дон» 1987 год...

Помнится, тогда Борис Андреевич, сам рязанский родом, обронил: «Рязанцы, они завсегда на Дон бегали, и я тоже... С Дона, чай, выдачи нет!»

За десять лет Можаев не изменил ставшему ему родным журналу «Дон». Где и как только мог поддерживал наше издание. А сотрудничал с «донцами» всегда.

Вот и «Крымские страдания» в полном объёме печатаются только в журнале «Дон», иные из «независимых» изданий по тем или иным причинам на подобное не отважились. Всё боязнь, как бы чего не вышло. Писал же «Крымские страдания» Борис Андреевич, вспоминает его вдова Милда Эмильевна, буквально страдая сам, сердцем переживая разлад России и Украины. Людская боль становилась его болью...

И уже умирая, в последний миг Борис Андреевич мучительно вопрошал: что же это делается?!. Пусть вопрос русского писателя Бориса Можаева прозвучит и для каждого из нас. Задумаемся о жизни, о чести, об Отечестве.

...Обложку нашего журнала освящает Андреевский крест. Символична созвучность Вашего отчества, Борис Андреевич, с российской святыней. Андреевский флаг журнал «Дон» поднял и в Вашу честь, Борис Андреевич, писатель, офицер флота».

Перечитываешь сейчас «Крымские страдания» и понимаешь, как точно провидел Борис Можаев будущее России и Украины, Крыма, Севастополя, русских и украинцев, всех нас, сегодняшних. Это его слова: «А у нас теперь всё дозволено: режь и кромсай державу, как ковригу хлеба...» Он называет полоумными утверждения самостийников, «что Крым и Новороссия и Область Войска Донского исконно украинская земля».

Борис Можаев и поныне пребывает в русской литературе. Возможно, тому в определённой степени способствовала не только публикация романа «Мужики и бабы» в журнале «Дон», а и связанная с ней история с критическим письмом-отзывом члена редколллегии Юрия Жданова. Понятное дело, масла в огонь подлил Юрий Карякин. Надо сказать, что только сравнительно недавно то самое злополучное письмо увидело свет в сборнике «Литература в жизни и творчестве Ю. А. Жданова» (Ростов/Дон, изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы ЮФУ). При этом издатели, осторожничая, судили-рядили, включать его в книгу или нет? Включили, хотя и не решились должным образом прокомментировать историю вопроса: мол, Жданов и Можаев — такие персоналии и такие разночтения!

По прошествии времени становится ясно, почему всё случилось именно так. Роман «Мужики и бабы» – можаевский взгляд на коллективизацию рязанской деревни. Это не Шолохов, не «Поднятая целина», это другое. Борис Андреевич написал как написал, имея в виду прежде всего художническую задачу. Однако, известно, какое время было: шла перестройка, вернее, ломка, свергались прежние авторитеты и насаждались новые. Главное – разрушить до основанья. Литература не исключение.

И был заказ на то, чтобы развенчать советских писателей-классиков. Особенно мешал Шолохов. И когда появился роман Можаева, то его и пожелали использовать «прорабы духа», заместить, так сказать, «Поднятую целину», а там, глядишь, и «Тихий Дон» вместе с автором подвинуть. Сам же Борис Можаев здесь не при чём. Для него Шолохов был непререкаемым авторитетом.

Забыть ли сказанные тогда же слова Анатолия Калинина: «Это два разных романа, два разных писателя. В литературе места всем хватит. Пусть рассудит время».

А на Рязанщине, в посёлке Пителино, установлен памятный камень на месте, где был отчий дом Бориса Андреевича Можаева.

В самом же центре Ростова-на-Дону стоит памятный бюст Юрию Андреевичу Жданову, и несколько поодаль – скульптурное изображение Шолохова.

Круг замкнулся.

(«День литературы» denlit.ru Свидетельство)

Иван Гаранин

БЛИЗКИЙ КРУГ

О Шолохове немало написано шолоховедами и антишолоховедами, а некоторые из последних печатали такую ересь, что «на воз не покладёшь». Я никакой не литератор, но мне посчастливилось не только видеть этого человека, а и встречаться с ним, в последние годы даже играть «на одну руку» в карты

Двенадцатилетним мальчишкой я впервые прочитал шолоховские строчки, смысл которых запомнил и отложил в детской памяти, но мне не забыть и отзывы своих земляков-хуторян. Наш сосед – Григорий Карпович Кривошлыков, добрейшей души человек, неугомонный труженик, попросил моих родителей, чтобы я «помог колхозу». Оказалось, что невдалеке от дома силами стариков и старушек вручную была вырыта силосная яма, куда на подводах подвозили свежескошенную траву, её чутьчуть пересыпали солью, а трамбовать земляную массу на старой кляче Григорий Карпович поручил мне, предварительно спустив лошадь в эту яму. В перерывах (пока привезут очередную порцию зелёной массы) я читал «районку» — «Большевистский Дон», где печатались отрывки из «Поднятой целины» Шолохова. Слушали все внимательно, а по окончании чтения — «галдёж», говорили, перебивая друг друга.

 До чего, чертяка, правду режет о нашей жизне, и все гутарят по-нашему, вот уж башковитый казак.

Однажды в конце работы я спросил Григория Карповича:

- Деда, а Шолохов большой человек?
- Нет, Ваня, человек он среднего роста, а вот умом талант, приедет к нам на поля, бог даст, увидишь.

Правда, в детские и юношеские годы я Шолохова не видел. Но...

Удивительна, даже непредсказуема наша жизнь. Разве я, простой деревенский мальчишка, выросший в бедной крестьянской семье (нас в семье было пятеро: отец-конюх, мать-домо-

хозяйка), мог подумать, что не только увижу Шолохова, но по воле судьбы мне придётся общаться с семьей писателя, с его родственниками, встречать и провожать многочисленных гостей Михаила Александровича. Но так было.

После окончания средней школы в Вёшенской мы с женой по комсомольской путевке стали работать в сельском магазине родного хутора Андроповского (это в 20 км от станицы), одновременно учились заочно. Через некоторое время мне предложили возглавить коопунивермаграйпо. Но я стал отказываться, ссылаясь на возраст (мне не было и 30 лет). Коллектив раймага большой, треть оборота райпо – вот мои доводы. Должность директора в те времена была «номенклатурной», и с моими доводами не согласились. Круг обязанностей директора широк: шло строительство нового здания универмага, дефицит площадей, товарной массы, встречи с руководителями всех уровней по обслуживанию (школ, больниц, соцсферы и т. д.), особо остро стоял вопрос кадров, внедрялись самообслуживание и кассовые аппараты.

Станица Вёшенская сравнительно небольшая – десять тысяч человек, руководитель раймага «просвечивается» со всех сторон. Как в калейдоскопе, мелькали непростые рабочие дни – расслабиться некогда. Но на всю жизнь я запомнил майское утро конце 60-х – впоследствии, оказалось, что оно в корне изменит мою судьбу.

В кабинете — тишина, только что закончилась рабочая планёрка, предстоял тяжёлый, напряжённый день. Мои раздумья прервала продолжительная трель междугородки. Приветливый голос телефонистки просил ответить квартире М. А. Шолохова. В трубке знакомый голос секретаря-помощника писателя Андрея Афанасьевича Зимовнова, который просил зайти к писателю.

И вот знакомая калитка, вхожу во двор. За спиной, справа, миролюбиво грелись возле искусственного бассейна утки и гуси, чистили перья. Невдалеке, в другом «вольере» перелопачивали насыпанные «озатки» (отходы зерна) куры разных пород, там же гомонили важные индейки, а в конце сараев пережёвывала жвачку упитанная корова.

Слева – вспаханный под картофель участок (соток 25), рядом ровные ряды грядок уже поднявшейся зелени. В глубине двора сад, обнесённый крашенным штакетником, одиноко, как

часовой, стоял навес для сушки будущих плодов, здесь же и печка.

В сопровождении секретаря поднимаюсь к писателю на веранду. Михаил Александрович, поздоровавшись, указал на стоявшее рядом кресло из лозы.

- Ну, андроповский казак, расскажи, какие виды на урожай, как озимые, яровые? Много ли твои земляки посеяли пропашных? по-свойски, по-будничному задавал он вопросы. В этих вопросах я был как рыба в воде; брат жены работал управляющим отделения совхоза, и положение дел я знал хорошо. Коротко обрисовал полеводство отделения, по лицу писателя было видно, он остался доволен, не перебивал, а только вставлял уточняющие вопросы. К нам подошла Мария Петровна. Шолохов сказал:
- Вот Мария Петровна хочет что-то решить по обуви детям, пройди с ней.

Вскоре я возвратился к себе и был в недоумении: писатель не задал ни одного вопроса по работе раймага — его интересовала хлебная нива. При последующих встречах Михаил Александрович всегда начинал разговор с хлеба, и такое трепетное отношение к нему было понятно.

Сам писатель вырос на традициях казачества, где культ хлеба был непререкаемым, Боже упаси, чтобы хлеб выбросить! У казаков это немыслимо! Они собирают крошки со стола – и в рот.

Сохранение хлеба – по Шолохову – это величайшая культура. Писатель вспоминал, когда они с Хрущёвым были на сессии Генеральный ассамблей ООН, один американский сенатор пригласил в буфет. Сенатор сносно говорил по-русски. После трапезы (выпили по рюмочке коньяка, закусили бутербродом) у сенатора остался кусочек хлеба, и он его завернул в салфетку, положив в карман дорогого костюма, но не выбросил.

Михаил Александрович рассказывал об отношении к хлебу в скандинавских странах, в Японии, об умении преподнести его покупателю, но в конце добавил:

 И упаковка, и вид хлеба хороши, но в нём нет духа, как в нашем донском хлебе.

Помнятся в шолоховском доме сшитые бязевые сумочки, где хранились поджаренные до красноты ржаные сухарики, что подавали к наваристому из говядины борщу. Бабка Нюра, повар Антонина Антоновна Долгова, выпекала из ржаной муки хлеб и сушила в печи, эта русская печь сохранилась в доме-музее

писателя. Выпекался хлеб только на хлебных дрожжах, хмель рос на изгороди усадьбы. Аромат борщу придавали ржаные сухарики – аромат необыкновенный. Сам Михаил Александрович любил крошить ржаные сухарики в бульон, который варили из рубца овцы.

Почему я пишу подробно об этом, потому что о литературной деятельности писателя написаны тома, а вот о его быте, о его семье, о его увлечениях (кроме рыбалки и охоты) известно мало, но житейские факты характеризуют его как человека строгих казачьих традиций. Он был не только знаком с этими традициями, но и тщательно их соблюдал.

В ста метрах от усадьбы писателя — храм. Все знают, что церковь не разгромили только потому, что вмешался Шолохов. Сам Шолохов не ходил в церковь, но обычаи соблюдал. Куда бы ни поехал писатель (охота, рыбалка, тем более длительная дорога), при проводах все по — крестьянскому обычаю садились — молчали минутку, и когда хозяин говорил: «С Богом!», все направлялись к выходу. Хотя Михаил Александрович не крестился перед обедом, но посты (первую и последнюю неделю) тщательно соблюдал. Понедельник, среда, пятница — обязательно рыбные блюда и любимый взвар (компот, фрукты сушили сами, в том числе вишню, малину).

С первых встреч в семейном кругу я понял, что в семье Шолоховых установился старинный казачий уклад. Никакого излишества во всём, простота, скромность, хлебосольность да и пища традиционно казачья.

Кто отведал приготовленную лапшу из русской печи с цыплёнком, или душистые пропитанные каймаком оладьи («пампушки») с наваристым взваром, с вишнёвым листом, или попробовал знаменитые пирожки с картошкой, сдобренные «шкварками» (топлёный внутренний жир, перекрученный в мясорубке), тот навсегда останется поклонником казачьей кухни, не говоря уже о донской ухе из стерляди. Все это готовилось только в русской печи, а дрова должны быть из плодовых деревьев (яблоня, груша, боярышник).

Дон всегда славился сильными семейными традициями, эталоном в станице Вёшенской была семья Шолохова. Надо заметить, что она — интернациональная, многодетная, по нынешним временам. Муж старшей дочери (Светлана Михайловна, которая сейчас живёт одна в двухкомнатной квартире, ей 91-й год, почти еженедельно встречаемся за чашкой чая) Александр

Максимович Турков служил на флоте (беспризорник – воспитала тётя), прошёл все ступени роста от простого юнги до контрадмирала и скончался в г. Ленинграде. К сожалению, по болезни умер их единственный сын Миша, с бабушкой часто общается сын Миши – внук Светланы Михайловны.

Жена старшего сына — Александра Михайловича — Виолетта Антоновна Югова (девичья фамилия) по национальности болгарка (дочь Югова — предсовмина Болгарии). Познакомился с ней Саша в Темирязевке, где вместе учились и полюбили друг друга. В те времена браки с иностранцами запрещались, они вынуждены были обратиться к самому Сталину за разрешением. Так и поженились, работали в Ялте — в Ботаническом саду, оба кандидаты сельхознаук, жили в ведомственной квартире на втором этаже деревянного дома. Они воспитали трёх дочерей: Машу, Нину и Таню. К сожалению, Александр Михайлович умер в возрасте 62-х лет, через несколько лет скончалась в Москве и Виолетта Антоновна, которая ещё раньше похоронила свою старшую дочь.

Нина и Таня ежегодно бывают в Вёшенской, не забывают свою родословную.

Вторая сноха Шолоховых – Валентина Измайловна – родом из Дагестана, жила в Махачкале. С Михаилом Михайловичем они познакомились в университете, поженились. Воспитали единственного сына – Александра, который работает директором Вёшенского музея-заповедника им. М. А. Шолохова. У него свой дом, человек он уважаемый, ведёт большую работу по изучению наследия деда и по воспитанию молодёжи. Сам Михаил Михайлович не дожил до 80 лет, похоронен, как и все Шолоховы, на гражданском кладбище в станице Вёшенской. Валентина Измайловна (Ляля – так её звали в семье) живёт в собственном доме.

Младшая сестра Мария Михайловна (с ней я учился в старших классах средней школы) родила сына Андрея и дочь Машутку, живёт в Москве – на Большой Филёвской улице.

Всем детям оказывалось одинаковое родительское внимание. Они получили высшее образование, студентами жили в общежитиях. На работу поехали по распределению. Только младшая дочь – Мария Михайловна – осталась в Москве, когда вышла замуж.

Можно по-разному относиться к советского периоду, но факты подтверждают, что все Шолоховы привилегиями не пользовались, богатеями не слыли. Оба сына Шолохова купили ав-

томашины с выходом на пенсию, все дети жили на виду своих соседей. Никто не имел дач, в отпуск ехали в отчий дом, вместе с отцом уезжали на рыбалку на реку Хопёр, где и охотились, жили в папатках

Все Шолоховы – большие любители донской природы, не говоря о старших Шолоховых, которые почти не ездили на курорты в шумные места, а предпочитали Дон, Предуралье, казахстанские степи, там, среди озёр, они были в родной стихии.

Нельзя не сказать о Марии Петровне Шолоховой – удивительной, обаятельной женщине. В семье Шолоховых в бытовых вопросах царил матриархат, сказывалась природная мудрость, смекалка этой хозяйственной женщины. В ключевых вопросах – патриархат, решающее слово за «отцом», как говорили в семье.

Мария Петровна посвятила любимому мужу всю свою жизнь: она делила с ним нужду в 20-е годы, когда он приехал в Москву, брался за разную работу и упорно, настойчиво занимался самообразованием, посещал кружки, много писал и «бегал по редакциям». Мария Петровна всячески ему помогала, а когда приобрели пишущую машинку — печатала написанное. На её плечи легла тяжёлая забота по воспитанию детей: два сына и две дочери — немалая семья. А там — военные годы, эвакуация, снова трудности быта.

На своём 80-летнем юбилее (1983 г.) в кругу близких и приглашённых она откровенно поделилась:

– Многие мне завидуют, что я прожила в материальном достатке (хотя и нам досталось в голодные годы), но, поверьте, как сложно жить с писателем, ведь он без меня никуда, и на рыбалку и на охоту только вместе (надо сказать, что стреляла Мария Петровна отменно – И. Г.).

Мне-то по-бабски хотелось бы поговорить с сёстрами, братом, но, увы,...такой возможности не было, я всегда рядом с мужем.

А в 30-е годы уедет в Москву, я ночами не сплю, жду звонка, ведь знаю, что он там ни перед кем не станет на колени, будет защищать правду, а времена были сложные. Вскоре война – ему обязательно надо быть на передовой, увидеть всё своими глазами, познать правду войны... И так всю жизнь.

Он любил порядок Подъём в четыре утра, после чаепития – газеты или писал до шести утра, лёгкий отдых, до восьми – завтрак, работа – до часу. Обед и отдых до 17, затем снова чаепитие, а там отдых. Режим был строгий. А какая почта – до 50-60 писем в день!

О взаимоотношениях Марии Петровны и Михаила Александровича написано много, меня удивляло одно: они всегда были рядом, никогда «не надоедали» друг другу, наоборот, Михаил Александрович без Марии Петровны чувствовал себя не в своей тарелке. А Мария Петровна всё делала, чтобы «отец» (как ласково она его называла), был всем доволен. Однажды мы с Н. Ф. Каргиным не были дня четыре у Шолоховых и вечером получили от Марии Петровны нагоняй, она с упреком сказала:

- Отец беспокоится, хоть бы позвонили.
- Исправимся. был дружный ответ.

Как-то вызывает в конце рабочего дня первый секретарь Н. А. Булавин, человек строгий, но справедливый, профессионал высочайшего класса — до мозгов сельхозник. Сразу, без дипломатии, в лоб:

- Вы там, на квартире, не болтаете лишнего о районных делах?
 Отвечаю:
- Николай Александрович, за карточным столом всегда помощник Михаил Власович он в курсе всех разговоров. Лично я бываю потому, что наша информация приносит удовлетворение Михаилу Александровичу, он забывается от болезни, светлеет душой... Потом он сам часто выезжает с помощником по району и видит плюсы и минусы в хозяйствах.
- Думал сократить ваши визиты, но продолжайте встречаться,
 это на пользу Михаилу Александровичу,
 заметил Булавин.

Семейную, спокойную обстановку, конечно, создавала Мария Петровна, и Михаил Александрович это чувствовал, знал, ценил и любил её за все хлопоты. Перед смертью, а умирал в полной памяти, он положил свою остывающую руку на руки Марии Петровны, будто прощаясь с любимой женщиной, в знак благодарности за прожитую жизнь.

Семья Шолоховых и в советское, и в постсоветское время пережила столько, что и врагу не пожелаешь. Удивляли сплетни, слухи...

Помню, как зашёл к начальнику главка Г. А. Калязину с резолюцией председателя Центрсоюза В. Ф. Ермакова об оказании помощи Вёшенскому району по просьбе депутата Верховного Совета СССР. Отложив письмо, он стал задавать вопросы: зачем для одного самолёта Шолохова в станице Вёшенской строят аэродром? где подземные гаражи писателя?..

Пришлось объяснить, что писатель имеет две автомашины – Волга-24 и ГАЗ-69, на которой отправляется на рыбалку, охоту и объезжает поля во время уборки урожая.

Самолёт ему не нужен, когда надо, он заказывает рейс. Я рассказал, как мне приходилось сопровождать Шолохова, когда он вылетал на лечение в Москву. Обычно это решается так. В «районке» сообщается дата дополнительного рейса Вёшенская — Москва, продаются билеты всем желающим. Привёл интересную деталь: когда пролетали Воронеж, сопровождающий врач-хирург Г. Н. Журавлёв, замерив давление, сказал, что всё в норме, можно попить чаю. Стюардесса принесла несколько стаканов и попросила автограф на книге.

- Кому? спросил Михаил Александрович.
- Света Могильная, ответила девушка.

Улыбнувшись, писатель написал: «С. Могильной. С пожеланием быстрее сменить фамилию. С уважением, М. Шолохов».

Выслушав, хозяин кабинета снова задал вопрос:

– А зачем охрана в доме писателя?

Какая осведомленность!

 Охрана есть, – говорю. – Дело в том, что в 1980 году одна душевнобольная женщина в августовскую ночь проникла в дом.

В полночь Шолохов, как чуткий охотник, услышал шаги постороннего человека. Милиционер-охранник, а в ночное время был дежурный, прошёл все комнаты, никого не нашёл. Но через час снова тревога — в доме есть посторонний!..

Нашли несчастную в подвале среди ящиков с продуктами. Случай пошёл по верхним инстанциям: областная власть решила сделать усадьбу М. А. Шолохова охраняемым объектом вопреки возражениям писателя.

Не знаю, что побудило Калязина вызвать секретаршу и попросить два стакана чаю, но наша беседа дальше была уже теплее и дружелюбнее. Он попросил рассказать, как прошло 75-летие со дня рождения писателя.

Присутствовало 75 человек – руководство СП СССР во главе с Георгием Марковым, руководители соседних краёв и областей. Меню согласовывали с Михаилом Александровичем и Марией Петровой, сервировка стола – за мной. Накануне докладываю о готовности большого зала (там 75 мест). Предлагаю налить в графины квас с мёдом и хреном – образец я привёз. Мария Петровна возражает, есть минеральная вода, компот, но Шолохов говорит:

– Поставьте на каждый стол по графину.

К нашему удивлению, мы не успевали менять графины с квасом – гостям понравилась новинка, за что я получил благодарность при подведении итогов работы.

Праздничный обед проходил четыре часа – каждому выступающему минут семь на поздравление. Гости разъехались, но наша работа продолжилась.

Теперь надо обслуживать уже обслуживающий персонал — таков закон в доме. Только убедившись, что всё сделано, Михаил Александрович на коляске поднимается отдыхать.

Мне приходилось организовывать и проводить дни рождения и детям, и Марии Петровне; замечу, что приглашённые приходили без всяких подарков – только с цветами, все расходы семья брала на себя, таково правило, даже делегации, а их хватало, обслуживали за счёт писателя, не говоря уж об одиночных приглашённых. Хлебосольные хозяева всегда были рады гостям.

Писатель никогда не говорил среди знакомых о литературе, никого не поучал. Однажды мы сидели за столом — ждали Марию Петровну. Невыдержанный, суетливый, темпераментный партнер по картам Н. Ф. Каргин, председатель рыбколхоза, вынул пачку папирос, Шолохов пододвинул пепельницу, разрешая закурить здесь, на втором этаже. Через несколько минут остановился лифт — Мария Петровна села в своё кресло, недовольно обронила: накурили, хоть коромысло вешай.

Пока я тасовал колоду карт, Михаил Александрович заговорил:

– Кажется, в начале декабря 41-го года меня, Фадеева и Полевого вызвали в Москву. На самолёте быстро долетели, приземлились и на машине добрались до гостиницы «Националь». Условились – собираемся поужинать у меня в номере. На правах хозяина стал готовиться к приёму гостей. И вдруг продолжительная трель звонка. Поднимаю трубку: «Шолохов слушает».

«Товарищ Шолохов, с вами будет говорить товарищ Сталин». Шорох – и слышу хрипловатый голос:

Товарищ Шолохов, здравствуй. Если можете, приезжайте.
 За Вами пошла машина.

Растерявшись, с волнением спрашиваю:

- Товарищ Сталин, какой номер машины?
- Не беспокойтесь, вас найдут выходите к подъезду.

Через несколько минут я вышел к парадному подъезду, навстречу полковник:

- Шолохов! Садитесь, устраивайтесь поудобнее.

Ехали не менее часа – это был КП Верховного Главнокомандующего.

Сопровождающий долго вёл меня по коридорам, открыв дверь, пропустил в комнату. Я не различал лица людей. Здесь стоял дым коромыслом, только слышал разговор Сталина с командующими фронтами.

– Не соединяйте... Чаю, – сиплый голос Сталина, и сразу – к главному. – Война, товарищ Шолохов, будет нами выиграна, это показала битва за Москву. Сделан первый, но важный шаг. Но войну надо выиграть с наименьшими потерями для нашего народа, надо написать, чтобы ещё больше вызвать ненависть к фашизму не только у солдат, но и стариков, старушек и детей. Вы должны это сделать, и подумайте о большом полотне о войне. К сожалению, у нас нет времени поговорить об этом подробно – время напряжённое... Желаю успеха.

Вскоре появился рассказ «Наука ненависти», его читали солдаты в окопах и люди в тылу, вероятно, в те годы родилась идея написать роман о войне.

Немало сказано о взаимоотношениях Сталина и Шолохова. Бесспорно, это были два незаурядных человека. По многим вопросам они расходились, каждый имел своё собственное мнение. Взять хотя бы переписку писателя и Генсека по вопросу колективизации, хлебозаготовок в начале 30-х годов, да и защита «врагов народа» — руководителей северных районов области, в кабинете у Сталина — всё это говорит об одном: не такие уж были безоблачные взаимоотношения двух ярких личностей XX века.

Но когда Н. С. Хрущёв сделал доклад о культе личности Сталина, писатель проронит слова:

– Да, культ – был, но была и личность.

Он не побоялся покритиковать Хрущёва за события в Новочеркасске в 1962 г., когда на Пленуме в Ростове сказал, что необдуманное повышение цен на продукты питания и привело к новочеркасскими событиям и, в первую очередь, виновен Н. С. Хрущёв, который не посоветовался с членами ЦК и принял единоличное решение.

Шолохова любили за правду. Писатель критиковал министров – Фурцеву, Зверева – на съездах партии, критиковал своих коллег по перу за серые произведения, он принципиально судил о работе чиновника любого ранга.

Особенно щепетильно относился Шолохов к близким и знакомым. В доме часто можно было видеть семью Борщёвых: Валентина Ивановна, медсестра, делала по назначению врача уколы Михаилу Александровичу, иногда дежурила у постели больного. Её муж, Иван Николаевич, учился с детьми писателя, часто ездил на охоту вместе с Шолоховым, его детей крестили дети писателя. Долго работал в отделе внутренних дел, с выходом на пенсию был рыбинспектором. Ему выделили участок под строительство дома, на этом участке росли три сосны из госфонда, а он их тайком спилил. Разразился скандал, приехала авторитетная комиссия.

Валентина Ивановна попросила писателя помочь, но получила отказ:

- Сажал сосны твой муж? спросил Шолохов.
- Нет.
- Так пусть и отвечает по закону.

Дело кончилось крупным штрафом, но уголовного преследования не было.

Многие жители станицы и хуторов были благодарны писателю-депутат: одним помог со стройматериалами, других защитил от незаслуженного наказания, третьим похлопотал за жилье и т. д. У Шолохова был природный дар — помочь человеку.

На 75-летие Шолохова от Л. И. Брежнева пришёл подарок – золотые часы с дарственной подписью. Рассматривая подарок в нашем присутствии, писатель сказал:

 Спасибо, не забыл. Жаль, что ему сделали операцию, очень жаль.

Мы (секретарь-помощник, секретарь райкома Н. А. Булавин) переглянулись – ведь сообщения об операции не было. Шолохов добавил, видя наше недоумение:

– Операция груди – награды некуда вешать.

Здесь весь Шолохов, этим сказано всё.

Как члену ЦК партии ему спецсвязью доставили пакет («секретное» письмо). Кратко описывались события в Польше, перечислялись действия, которые предпринимало Политбюро, намечались конкретные меры оказания помощи. Шолохов должен был дать ответ, но писатель прикован к постели: высокая температура, озноб, частое сердцебиение, высокое давление. Семья, лечащий врач настаивают на госпитализации, но Михаил Александрович категорически против.

Ответ на письмо готовит Михаил Власович Коньшин – секретарь-помощник и секретарь райкома. Текст получился в один абзац – 10-12 строчек.

Писателю стало чуть полегче: восстановилась речь, спала температура, он попросил чаю. Принесли ответ. Прочитав первые строчки, поняли: не в шолоховском стиле. Лицо Шолохова стало строгим, вена на высоком лбу расширилась, запульсировала, писатель тихо проговорил:

- Где тонко - там и рвётся. Согласен на любые виды помощи.

В двух предложениях весь ответ.

В народе говорят – политика – грязное дело. Наверное, это так. В памяти 1975 год – 70-летие Шолохова. Старшее поколение помнит – какая была подготовка!

Поговаривали, что на юбилей приедет премьер страны А. Н. Косыгин, труд писателя будет отмечен по достоинству. О том, что Шолохов и Косыгин были в дружеских отношениях, все знали, да и дочь Людмила Алексеевна с мужем часто отдыхали у Шолоховых, поэтому такая версия не исключалась.

Вдруг, ближе к юбилейной дате, писатель срочно выехал в Москву, а вскоре пришло печальное известие — Шолохов в больнице — инсульт. В круглосуточном режиме работала почта — корреспонденции шли со всех уголков СССР и зарубежья. Телефон не смолкал. Так продолжалось полмесяца, пока не стало известно: речь Шолохова восстановилась, он с помощью тросточки начинает ходить по палате. Вскоре писатель вернулся домой, но врачи предписали строгий режим.

Теперь уже не секрет, что в 1980 году только под напором общественности М. А. Шолохову вручат вторую «Золотую Звезду» Героя Соцтруда с установкой бюста в станице Вёшенской.

Писателю сообщили, что изготовить бюст поручено скульптору В. П. Новикову и архитектору А. П. Климову. Мы с Н. А. Булавиным выехали в Москву, чтобы встретиться с ними. Побывали в мастерской скульптора. Поразили её убогость, мастерская располагалась в тесном полуподвальном помещении, и большая загруженность этих талантливых людей.

Скульптор и архитектор приступили к работе и выполнили её в срок, на что ушёл ровно год. И вот эскиз в станице Вёшенской

Вечером во главе с секретарем обкома партии М. Е. Тесля собрались в доме писателя. По выражению лица Шолохова заметно, что работой он доволен. Теперь надо уточнить некоторые детали, в частности, Н. Ф. Каргин и М. В. Мельникова (лечащий врач писателя) высказали мнение, чтобы бюст был

установлен лицом в сторону станицы, но решено: бюст должен был развёрнут к Дону – вся жизнь Шолохова – это служение родному донскому краю. Жаркий спор разгорелся вокруг обыкновенной верхней пуговицы гимнастёрки.

- Михаил Александрович, я просмотрел все фотографии, два раза прочитал ваши произведения. Вы в гимнастёрке с растёгнутой верхней пуговицей, как поступить? сказал скульптор.
- Оставить в оригинале сказал М. Е. Тесля, все поддержали секретаря обкома.

После чаепития писатель вдруг сказал:

- За работу спасибо, но пуговицу - застегни.

Меня поражало одно — несмотря на преклонные годы, тяжелейшую болезнь, несмотря на строжайшие запреты врачей, Шолохов продолжал вести активную общественную работу. А сколько делегаций, встреч было у писателя! Всегда сердечные приёмы, душевные беседы, как будто и не было болезни, но мыто понимали, как это непросто для Михаила Александровича.

Помнится встреча с норвежцем Гейра Хьетсо. Гость высказал предположение о зависти собратьев по перу. Шолохов ответил:

- Зависть? Но организованная...

Наверное, в основе этой зависти была политика и несгибаемый характер Шолохова — он никому не кланялся, писал и говорил то, что считал нужным. О своём раннем творчестве как-то проговорил:

– Тогда правда ломилась в глаза.

Сейчас порой пишут о том, что якобы Шолохов негативно относился в Советской власти. Да, писатель критиковал безхозяйственность, безразличие, резко выступал против нарушений законности в стране – прочитайте его переписку со Сталиным. Однако человек, рождённый в ту эпоху, отдавший всю свою жизнь ради народа, страны – не мог быть противником строя, да об этом говорят многие факты.

Неординарность Шолохова проявлялась во всём: даже в быту, в повседневной жизни он жил заботой о людях.

Конец октября 1982 года, писатель в Москве — на лечении с Марией Петровной. По их просьбе выезжаем в Москву с Коньшиным, останавливаемся на квартире младшей дочери писателя на Малой Филёвской улице. Утром со Светланой Михайловной едем в больницу, входим в палату: Шолоховы вдвоём, о чём-то беседуют.

Радостная встреча. Рассказываем о вёшенской погоде, о трудностях в пути. От Воронежа до Москвы был ураганный ветер, местами дождь со снегом, в Липецкой области поваляло телефонные столбы, на фермах посрывало крыши – стихийное бедствие.

Выслушав, Михаил Александрович тихим голосом сказал:

– Приедете домой, позвоните, как ликвидированы последствия стихии: накрыты ли фермы? Восстановлена ли связь?

Время бежит незаметно: два раза медсестра заглядывала в палату, подошло время процедур. Прощаясь, Михаил Александрович сказал:

 Вам выпишут пропуск на парад, побывайте и расскажете на обеде, меня отпускают на двое суток.

К сожалению, 7 ноября 1982 года был последний семейный обед писателя среди своих близких. За обедом никакого уныния, хотя видно, что больной угасает – почти не ел, много курил.

Мы поделились своими впечатлениями о параде. Атмосфера праздника чувствовалась во всём, и особенно, во взаимоотношениях людей, как будто это одна семья, никаких бытовых проблем, весёлые светлые лица москвичей, гостей. И, если бы мне сказали, что через десять лет рухнет всё это — я бы не поверил.

Непредсказуем Шолохов был даже в поездках по району – обычно всегда в неделю хотя бы раз выезжал во время уборки урожая. Однажды мне довелось сопровождать его с помощником-секретарём. Как правило, он ездил по правобережью Дона на поля совхоза «Тихий Дон» и на родину в х. Кружилинский. Подъезжал к комбайну – все узнавали машину Шолохова, сразу глушили агрегат и окружали его. Доброжелательно писатель расспрашивал об урожае, о заработках, интересовался бытом механизаторов. Слушал рассказы людей о культурном досуге после работы, о личных подсобных хозяйствах. Такие поездки были физически для писателя трудными, но морально он был доволен, да и забывал о болезни.

Закрывая дверцу автомашины, Михаил Александрович вдруг увидел обыкновенный бутовый камень, попросил его принести. Камень, пролежавший десятки лет на солнце, с углублениями-ямками от влаги, таил в себе некую таинственную мощь – не сдался на милость природы.

- Заверните в газету, возьмём домой предложил Шолохов.
- Зачем он нужен, будет под ногами валяться, ворчал водитель Сергей Дмитриевич Колмыков. Но уже решение принято. Вскоре вернулись домой. Мария Петровна с беспокойством

ждала возвращения и, видя приподнятое настроение Михаила Александровича, поняла, что поездка удалась.

Посадили писателя в коляску, но он тут же попросил камень:

 Смотри, Мария Петровна, пролежал бедняга десяток лет, как его разделала природа, а он не сдался, целёхонек, хоть и раненый.

Они уединились и долго о чем-то говорили, он показывал на уникальный природный камень, так его заинтересовавший.

К великому горю всей семьи, родственников, близких, знакомых, было видно, как болезнь цепко держала крепкий организм писателя – и прогрессировала: стало меньше встреч, аппетита нет, временами поднималось давление и температура. Врачи настояли на госпитализации, снова писатель улетел в Москву. А вскоре выяснилось, что лечение не помогает. Михаил Александрович сказал лечащему врачу: «Решил ехать домой».

Узнав о временн прибытия лайнера ЯК-40 рейса Москва—Вёшенская своего земляка вышли встречать многочисленные толпы людей родной станицы, приехали люди из хуторов района, ибо догадывались, что это последняя встреча с любимым писателем.

Вдоль дороги нарядные люди с букетами цветов приветствовали близкого человека. Погожий, даже жаркий день бабьего лета, стекло автомашины опушено до отказа, еле заметный взмах слабой руки... Через каждые 80-100 метров машина останавливается, Михаил Александрович делает попытку закурить, зажигает спичку (зажигалка на панели автомашины) и смотрит на зеленеющие стволы соснового бора, смотрит на пожухлую осеннюю траву и, конечно, на лица встречающих, как бы показывая, что он рядом с милыми людьми и сердцем и душой, но не в его силах выйти, как раньше, и поговорить о жизни с земляками.

Частые остановки подтвердили переживания Михаила Александровича: возможно, его интересовал красивейший пейзаж родного края, а может, он вспоминал своё раннее полуголодное детство, безотцовщину, тяжелейшие годы гражданской войны, сложные, до драматизма, годы коллективизации, а может быть, думал о своём тернистом пути, который вынес его на вершину славы не только донского края, а огромной страны, мировой славы.

Всем было ясно одно, что Шолохов последний раз едет по милой донской, родной земле, политой «нержавеющей казачьей кровью».

А вот и родной дом-усадьба. На второй этаж дома не пробиться: кругом близкие люди, слышу голос Коньшина:

– Иван Петрович, подойдите к Михаилу Александровичу.

Спешу, расталкивая людей, и вижу добрый отречённый взгляд, бледное исхудавшее лицо, заострённый от болезни нос с горбинкой, глубоко сидящие, но добрые, приветливые голубые глаза. Михаил Александрович сказал:

 Нас сопровождали медики, их четверо – отблагодарите людей. Реши вопрос с помощником и Марией Петровной.

И в этом весь Шолохов – в тяжелейшие минуты он не забывает о людях.

Это была последняя просьба писателя и наша последняя встреча, хотя, как и раньше, вечером пили чай, говорили о текущих делах, но всех интересовало одно — здоровье писателя. Только о каком здоровье можно говорить, если он в первую неделю дома съедал за день сначала одну котлету, затем полкотлеты, затем четверть котлеты... Это были страшные дни.

21 февраля 1984 года – предутренний телефонный звонок междугородки, в трубке взволнованный, дрожащий голос:

– Иван Петрович, это я – Коньшин.

И я сразу понял: всё – перестало биться сердце Шолохова.

... В один из сентябрьских дней, когда чувствовался запах пожухлой травы и застоявшейся воды в озере Мигулянка, я с букетом цветов пришёл на могилу Шолохова.

На скамеечке возле трёх берёз, к удивлению, незнакомые люди, по одежде видно – приезжие. Разговорились. Один из мужчин стал эмоционально рассказывать о том, как Михаил Александрович принял участие в его судьбе:

– Ведь я уголовником был. В третий раз меня осудили на 12 лет – приписали то, чего вообще не было. По совету сокамерников написал Шолохову, сумели письмо передать. И объявили новое расследование – вскоре я вышел на свободу. С прошлым завязал. В городе Братске встретил свою любовь, вот она рядом со мной, родили детей, теперь приехали на Тихий Дон, чтобы поклониться праху великого Человека.

Долго мы стояли на усадьбе Шолохова, думая каждый о своем, но нас объединяло одно: в судьбе каждого из нас Шолохов сыграл важнейшую роль.



Издаёт ООО «Донское книжное издательство»

Учредитель и главный редактор Виктор С. Петров

Редколлегия:

Анатолий Аврутин г. Минск Владимир Алейников п. Коктебель Лев Аннинский г. Москва Владимир Берязев г. Новосибирск Валерий Дударев г. Москва Наталья Калинина х. Пухляковский Диана Кан г. Новокуйбышевск Пётр Краснов г. Оренбург Виктор Лихоносов г. Краснодар Игорь Михайлов г. Жуковский Александр Нестругин с. Петропавловка Михаил Попов г. Архангельск Вячеслав Сухнев г. Москва Аршак Тер-Маркарьян

Адрес редакции и издателя: 344000 г. Ростов-на-Дону, Красноармейская, 23 Телефон: 8-928-152-59-45 E-mail: donliter@yandex.ru

г. Москва

Регистрационный номер ПИ № ТУ61-00771 от 28.05.2012 (зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ростовской области)

Редакция рассматривает все обращения, но вправе не рецензировать и не возвращать рукописи



Свободная цена

Дата выхода 10.06.2017 Тираж 500 экз. Заказ № Отпечатано: ЗАО «Книга» 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57



Подписаться на Российский литературно-художественный журнал «Дон» можно по Объединённому каталогу Пресса России (зелёного цвета), индекс 42258.

Интернет подписка на журнал «Дон» также на сайте www.arpk.org.

Журнал «Дон» представлен на порталах: Читальный зал – reading-hall.ru Мегалит – promegalit.ru Журнальный мир – журнальныймир.рф

КУЛЬТУРО

Газета выходит к читателю с 2004 года и соединяет культурное пространство донского края. Тематика – музыка, искусство, литература, краеведение, профессиональное и самодеятельное творчество...

Адрес редакции: 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 23. Тел.: 8-928-152-59-45

E-mail: donliter@yandex.ru